КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

1925

КНИГА
ПЯТАЯ
ИЮНЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 5

ИЮНЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1925 ЛЕНИНГРАД

Гиз № 9961. Главлит № 37803. Напеч. 10.000 экз.

1-я Образцовая типография Госиздата Москва, Пятницкая, 71.

Лисья шуба и любовь.

Поэма.

Василий Казин.

Жизнь! Громадина! Громадина разноглазая!
Радуга чумазая! Небо и подвал!
Сколько раз, о, радуга чумазая,
О тебя я думы, о тебя я душу разбивал...

Проклинал и славил. Проклинал и заманчивым
Удивлением расцветал опять,
Изумлением брань оканчивал
И опять начинал тебя прославлять.

Жизнь! Ну, и как же тебе, разноглазой громадине,
Не дивиться, чудачка, не дивиться вновь и вновь,
Если вот — о, не шутка ли! — у тебя на одной перекладине —
Лисья шуба и любовь?

Лисья шуба и любовь... Не правда ли — близкая братия?
Не правда ли — хоть куда родня!
Эх, ты жизнь — проклятая ты шатия, —
Ну, за что ты, за что ты тиранишь меня!

И зачем ты меня в зеленя пахучие,
Тротуарного, занесла и — с безумья ль, со зла —
За июнь пахучего благополучия
На года страданий обрекла!..

I.

Да, был июнь, когда поезда громыхание
Прикатило меня... И вот я в лесах и в полях:
Загуляло мое дыхание
У зеленых у новых знакомых в гостях.

Каждый день упоительным изобилием,
Сладостными далями потчевали меня поля —
И, забитый вывесок крикливым железным засилием,
Я глазами, как радугами, по сладостным далям гулял.

Так гулял я, разгуливал, и распахнутым благоуханием
Переулков удушье в груди заливал...
И вдруг — чьим-то тихим дыханием
Мне навстречу пахнула трава.

Незнакомая, знать, с тротуарной шумихою,
Шла, еле поступью шевеля,
Каждый шаг провожая стыдливостью тихою-тихою,
Тихою, как ее поля.

Тихой стыдливостью пышной
Зацепила... смутила меня...
Я молчал... Тихо было... Но было слышно,
Как всходили любви зеленя.

Словно раньше дышал по земным обычаям,
А при ней — словно небом дышал, —
Свежим, трогательным величием
Наливалась душа.

С каждым днем все тесней мы встречались дыханьями,
И, стыдливая, в летнее цветенье дней,
Вместе с летом, с цветами и далями,
Приходила родней и родней.

И величие мое любовное,
Тихо имя любви притая,
Вырастало в величие кровное
И теснило свиданий края.

II.

Дни цвели... И в разгулье дыхания,
Полевою любовью объят,
Я забыл, что на нас, на свиданья,
Словно старого грома раскат, —
Надвигался возврат громыхания,
Мой удушливый, шумный возврат.

Вдруг — и гулкими
Затуманились далями глаза...
И едва я полям «до свиданья» сказал —

Как сграбастал меня, тяжкой сталью связал,
И дышать, оглушать переулками
Покатил меня поезд назад.

III.

Снова жизнь меня в вывески втиснула...
Но любовь — и железо, и сталь —
Словно тайно пространствами вспрыснула,
И всплывала сквозь вывески даль.

Дни неслись... Громоздились шумихою...
А в груди дальний запах бродил,
И душистою поступью тихою
Эти дни проходили в груди.

Лишь томили, что снова не скоро там —
Там, где дали — дыханью гулять,
Что не скоро закованным воротом
Город душу отпустит опять.

И, невольно томясь в ожидании,
Дальним запахом тихо дыша,
О великом, о кровном свидании
Беспокоилась кровью душа.

IV.

Даль, казалось, все ярче, приветнее
Сквозь железо звала в зеленя...
А кругом, для меня незаметнее,
Чем мгновенье забытого дня —
Холодами обличие летнее
Начал кованый город менять.

Словно дух свой, удушьем придушенный,
Он, железный, и сам не взлюбил,
И осенней сквозистой отдушиной
В переулках своих зазнобил.

А потом, за осенней отдушиной,
Чтобы крепче свой дух прохладить,
Начал город морозными стужами
Каждый день по железу гвоздить.

Но ничем — ни железом, ни холодом —
Нет, не мог он виденья унять:
Даль всплывала, всплывала над городом,
Даль всплывала, звала в зеленя,
Зеленями маня, зеленями пьяня,
Даль плескалась в глазах у меня —
И готов был тоскою, как молотом,
Грянуть в поступь морозного дня:
Ах, да скоро ль, да скоро ль, да скоро ль там,
Там, где дали — дыханью гулять...
Скоро ль, скоро ль закованным воротом
Город душу отпустит опять!..

V.

Тосковáл... тосковал... тосковал...
И не даль — стал казаться провал.
День за днем — словно льдышка за льдышкою...
Вдруг — и словно я ветку сорвал,
Словно город свой дух расковал —
Передышкою
Мне повеяли дни Рождества.

VI.

Словно я в разгулье празднества
Переулки распихал —
Я наполнился пространствами
И шагами запорхал.

И дорога стлалась травами,
Распускалась в лад шагам —
Словно город с тротуарами
Отдавал себя лугам.

И не даром над каждой березкою
Там, где дали, голубил глаза —
Хоть и гулкой опушкой, громоздкою —
Показался опушкой вокзал.

И свиданием дыхание,
Как гармонью, веселя,
Снова, снова громыхание
Понесло меня в поля.

VII.

Ах, и какими же обворожительными, обольстительными бреднями
Разукрасил глаза любовный запой —
Так, что дали казались соседними,
Так, что, полный видений, я был до блаженства слепой.

Ой, да где же вы, душистые мои друзья-приятели,
Пестрой памяти цветистые луга!
Словно все цветы свои, все запахи свои растратили
И белесо выдохлись в снега.

Эх, да что там за беда! Свидание... Свидание...
Что с свиданием снега лугов?
И в груди так и бродило ожидание,
Что вот-вот пахнет и со снегов —
Тихое благоухание
Полевых ее шагов.

Но лишь только ветер оторопью ломкою
Набегал, метался и снега трепал
И белесою поземкою
Ожиданье осыпал.

А потом, скрепляя память с городом,
И морозы вперлись на снега
И принялись так вгрызаться холодом,
Что себя и ветер застегал.

И вцеплялись, вгрызались морозы в запой очарованный мой,
И за пазуху ветер совал опасение,
Что с июньской мечтой и с любовью самой
Я продрогну, простыну, как нищий с сумой.
Но зима хоть и мне не была ни сестрой, ни кумой —
Нет, не мне было мнить опасение:
Научило пальтишко весеннее
Беззаботно справляться с зимой.

VIII.

Вдруг — и там, словно резвые птенчики,
Там, где хаты впятнились в путях,
Зазвенели весельем бубенчики,
Мне навстречу сквозь холод летя.

И, взметаясь замашками бойкими
Вдруг поля саданули меня
Расписными нарядными тройками,
Святкам пьяную славу звеня.

И, чтоб словно и я был обласканным святками,
Шибче бились бубенчики и, летя по снегам,
Прозвенели любезной подсказкой шагам;
Там она, о, любимая, там, —
Там, где хаты впятнились заплатками,
Там, где праздничных радостей гам.

IX.

Поля обрастали беззвездною тьмой,
Как будто крестьянские святки
Пустились играть с одиноким, со мной
В какие-то хитрые прятки.

Но пахло распахнутой гарью кутил,
И пьяно взгорались окошки,
И прямо неистово тьму теребил
Заливистый голос гармошки.

Была бесшабашная пляска слышна.
Шарахалась вскриков ватага.
И тихая-тихая, там — и она,
Она, моя тихая тяга.

Быть может, томится гуляньем лихим,
А может быть, праздника ради,
Бойчится стыдливым дыханьем своим
И пляшет в цветистом наряде.

И, плавно смиряя горластый надсад,
И сладко крутясь ветерками,
Кружится она — и цветистый наряд
Исходит венками, венками...

X.

Долго и, быть может, бесполезно
Мне пришлось бы путаться во тьме,
Если бы бубенчикам любезно
Вдруг к ее крыльцу не прогреметь.

Видно, нет — не мне судила доля
Эту честь — сегодня быть у ней,
Как подснежнику весной у поля,
Первым гостем из гостей.

XI.

Скрипнула последняя ступенька —
И замглился в сумрачных сенях.
Лишь на миг примнилось мне: маленько
Засветились сени в зеленях.

Словно дом был мой, и вход был взломан
И грозил угрозою потерь —
Трепетный, нетерпеливый гомон
Торопил скорей отдернуть дверь.

Распахнул я тяжесть плотной двери...
Распахнул — и будто бы в глаза
Вдруг шарахнулись, вгрызаясь, звери:
Благостно целуя образа,
На коленях, преданная вере,
Наклонялась... За слезой слеза
Скатывалась — и от двери
Я едва до ней свой путь связал.

И, разбрасывая волненье,
Как в стремительный провал,
Под отцовское благословенье
С ней, заплаканной, упал.

И с мольбой, да с болью, да с приветом
Начал я уламывать отца:
— Эх, давно, еще минувшим летом
Тихо чокнулись любви заветом
Наши юные сердца.

Ах, не дай ты нам расстаться, мучась,
Нас другою кровью разделя...
Не крои ты нам другую участь:
Разливая сладких трав пахучесть,
Нас давно сосватали поля...

— Иль ты больно прост, иль больно тонкий —
Ишь чего ты, парень, захотел!
Ты бы прежде, чем дурить с девчонкой,

Прежде, чем обзаводиться женкой, —
Обзавелся теплой одежонкой,
Поприглядней свататься летел.

Много вас чадит чудным туманом
И любовью драною своей
Подбирается к приданым
Легковерных дочерей...

И отпрянул я, и не ответил...
Я не мог ни звука сдвинуть с губ...
И, в затменьи пятясь, лишь заметил,
Как все те, кого приход мой встретил,
Мне бросались жаром лисьих шуб.

XII.

Ах, июньские травы! Ах, лучше бы прочего
Вам, поля, и в мечтах не взмущать!
Ах, так вот чем вы начали потчевать,
Вот как стали меня угощать!..

И зачем вам отравою грубою
Надо было любовь отравить —
Словно только пушистою шубою
Согревается сила любви?!

Кто бы — кто, ну, а вы ли не ведали,
Как я вашу роднушу любил!
И за что вы любовь мою предали,
Чем я вам, о, поля, нагрубил?

Эх, поля вы, поля! Я ведь травами сладкими.
Так всю душу свою напитал,
Что и сам полевыми повадками,
Тротуарный, как луг, расцветал.

Как я вкуса любви не пригубливал —
До сих пор в сердце спор не погас:
То ли вас в честь ее приголубливал,
То ль ее я любил из-за вас.

К ней вздымалась в томительной продыми
Самых благостных грез дороговь,
И по ней, как бродяга по родине,
Тосковала заботливо кровь.

И, толкаясь страстями любовными,
Знаю, бредилось крови не раз —
Словно нашими скрепами кровными
Были крепки и скрепы пространств.

И тихонько, тихонько, тихонечко
Сквозь полночное забытье
Часто брезжил мне облик ребеночка
Моего и далекой ее...

XIII.

Ожидал ли подобного лиха я
На великом любовном пути!
О, любимая, тихая-тихая,
О, заплаканная, прости...

Ах, прости ты меня — думой хмурою
На меня ты, мой друг, не сердись:
Я не знал, что звериною шкурою
Управляется мудрая жизнь.

Лисья шуба... Разлучница дикая,
Где ж теперь мне тебя раздобыть?
С детских лет горе бедности мыкая,
Знать, судьба — мне любовь загубить

Лисья шуба... Обшита... обкутана
Лисьим мехом сукна полоса...
Лисьим мехом... Ах, значит, припутана
К этим бедным мученьям лиса!..

Ах ты, листа, лиса!
Золотая краса!
Эх, да ринусь-ка прямо в леса,
Прямо кинусь к лисе за подмогою,
Разрыдаюсь на все голоса,
Разметаюсь одежкой убогою,
Лисью совесть любовью растрогаю —
И, быть может, поможет лиса.

XIV.

Шагал, как простой побирушка,
Шарапал шагами снега.
Бедняжка лесная опушка
Была, как сиротка, нага.

И остро деревья глядели,
Как будто влюбленные все —
Березы и сосны, и ели
Пришли приодеться к лисе.

Ах, где ты — далеко иль близко?
В белесых снегах отзовись,
Явись, моя милая лиска,
Явись, дорогая, явись!

Вот кто-то глухой перепрыжкой
В снегах огонек показал...
И вдруг — как сверканьем гроза —
Шарах — и пушистою вспышкой
В снегах опалил я глаза.

И вскриком дыханье затискал...
Но — ах! — я и рта не раскрыл,
Как скрылась пугливая лиска
В незримом прорыве норы.

XV.

— Ах, не бойся! Ах, мордочку высунь-ка!
Ах, да выслушай боли мои
И звериную милость яви:
Ах, пожертвуй пушистые силы свои
Ради правды — ах, лисанька, лисанька! —
Человеческой бедной любви.

Цепким нюхом своим, как бы лапою длинною,
Ах, поймай ты мучения нить,
Ах, пойми ты смекалкой звериною,
Как мне надо людям угодить,
Как мне надо твоею пушниною
Пред людьми свет любви нарядить.

Дивным светом любви, знать, подобился небу я,
Хоть средь вывесок долго и чах,
Я не чаял, что, бедностью гребуя,
Этот свет омрачат, облича, —
Но вломился любимой родимый очаг
И, глумясь над любовью, сиявшей в лучах,
Заграбастал любимую, требуя,
Чтоб любил я — с лисой на плечах.

Ах, да глянь из прорыва незримого!
Ах, да выпрыгни, вспыхни опять!
И, как сына родимая мать,
Пожалей ты судьбиной казнимого:
Из-за лисьей пушнины любимого
Человека навек потерять!

Пожалей ты, ах, сжалься, пожалуйста,
Хоть над ней-то, тишайшею, ты,
И, быть может, на время и в малости,
Взвеяв нежностью зверя черты,
Пожалей ты величием жалости
О ребенке людские мечты.

Ах, отдай... подари... сделай мне одолжение...
Помоги, хоть и помощь лиха, —
Скинь пушное свое украшение!..
Ах, не дай мне дойти до греха, —
Лишь одна ты живое спасение...
Не останься ты к просьбе глуха:
Ты смени мне пальтишко весеннее
На свои золотые меха.

Лиска! Милая! Дорогая!
Золотая! Лисичка! Лиса... —
Как ни кликал, лаская, рыдая —
Клич обратно бросали леса.

XVI.

Ах, ты гибель надежды обманчивой!
Хоть в могилу с любовью ложись...
Видно, как ни проси, ни выклянчивай —
Не на жертве покоится жизнь.

Видно, жизнь и снаряжена иначе,
Видно, каждому ближе лежит
Безобидность своей волосиночки
Всех великих страданий чужих.

Знать, любви упованья красивые —
Разных праздных напраслин былье.
Знать, кровавою хваткой насилия
Добывается право свое.

Что ж! Влюбленного и любимого
Веским правом послушаем жизнь.
Эх, лиса! Из прорыва незримого
Лучше мне ты теперь не кажись.

Сгиньте прахом, плачевные нежности!
Жаркой силою боль отогрев,
Закипай в боевой неизбежности,
Брат насилья — спасительный гнев!

Ах, любовь, ты любовь!.. Ах, ты бедная странница...
Сменим снова на город леса.
И вернемся не клянчить, не кланяться,
А как только лишь мордочка взглянется —

Грянем выстрелом — и роса
На белесых снегах зарумянится,
И растянется, и расстанется
С золотыми мехами лиса.

XVII.

Ах, грохай, ах, грохай, ах, грохай,
Терзай, как и раньше терзал,
Ломай городской суматохой
Истому страданья, вокзал!

Любезные, томные вздохи —
Любви и не в блеск, и не в честь.
В стальной городской суматохе
Любви надо дерзость обресть.

XVIII.

Улицы, как бабы-краснобаи,
Людные, орали там и тут.
Звончато долдонили трамваи,
Волоча чугунный душный гуд.

Черствою скороговоркой
Мчался гром извозчичьих колес,
И, чеканя камень, дробью оркой
Кованое цоканье неслось.

И в сполошном зыке обезличась
Двигалась, туда-сюда снуя,
Торопливых, говорливых тысяч —
Пестрых пешеходов толчея.

Зычный город! Знать, меня увлек ты.
Пробираясь до житейских мест,
В толчее обталкивали локти
Полевых пространств привычный жест.

Словно были рады новой встрече,
Обнимали здания тесней,
И наваливались на плечи
Тяжкие громады этажей.

Где же ты, о, кровное объятье?
Вдруг — и вздрогнул я дыханьем сам:
О мехах и о готовом платье
Закричала вывеска глазам.

И обширнейшего магазина
Прямо, прямо предо мной
Ослепительная витрина
Заметалась радугой пушной:

Полыхали пышные лисицы;
Сединой, блистательней рубля,
Лоснились бобры, цвели куницы,
И сияли знатно соболя.

И, слегка свое сиянье застя,
Знак цены мне соболь показал.
Миг — и очарованным ненастьем
Задымились бедные глаза...

Лишь одна бы ладная лисица —
Я бы камни с гор таскать готов, —
А в лучах витрины чьи-то лица
Зарывались в роскоши мехов.

Эх, да мне на что же за мехами
Ударяться в дальние леса,
Если вот и здесь, и в тяжком гаме
Хоть богатый соболь, хоть лиса!

Если мудрость мира век от века —
Добывать насильем благодать,
Все равно: лису иль человека
Року этой мудрости предать.

Ах, поймать того, кого расперло
Роскошью мехов, в глуши ночной,
И теплынь закутанного горла
Туго-туго стиснуть пятерней.

Чтоб не в силах было и перечить
Нападенью бедственной любви,
Чтоб скорей сорвать меха на плечи,
На мои на плечи, на мои.

Эх, да запахнусь в соболью шубку!
Эх, да как рванусь опять в поля:
Выручайте кровную голубку,
Добывайте счастье, соболя!

XIX.

Взирал на соболье сиянье,
И замысел ночи ковал,
И вновь полевое свиданье
Любовной мечтой смаковал.

Ввалиться собольим нарядом
К любимой в родимый очаг —
И голос отца мармеладом
Затает в собольих лучах.

И, сладко меня величая,
Сменяя почтенье на лесть,
К домашней душевности чая
Отец заторопит присесть.

И сам поведет стороною,
Что он-де нисколько не прочь,
Чтоб стала моею женою
Его легковерная дочь.

И звончатым чоком ладоней
Согласье у нас прозвучит,
И с ней, с васильковой тихоней,
Навеки меня обручит...

XX.

Мечтал я... А город, как в похоть —
Громадный, стальной сумасброд —
Бросался и цокать, и грохать,
И тискать прохожих вразброд —
И, тискаясь локоть о локоть,
Теснился прохожий народ...

И, тихо мечтая о счастьи,
Я краем мечты замечал,
Что чуть ли не каждый в ненастьи
Витрину глазами встречал.

Мелькали ненастные лица,
Как длинный мучительный сон...
Ах, значит, мехами томиться
Не я лишь один обречен!

Ах, этим оброком несчастным —
Мне чуть ли не каждый чета!
И вторила взорам ненастным
Невольною тенью мечта.

И было неловко до боли,
Что свет человеческих глаз —
Чудесный и мудрый алмаз —
Взирая на шкуры собольи,
В завистливом рабском бездольи
Кривится, как дикобраз.

XXI.

Ах, любовь, ты любовь!.. Я ни разу с опаскою
Не допытывал волю твою.
Но какою досадной повязкою
Обкрутила ты совесть мою.

Ах, ворочай, переворачивай
Наизнанку о счастьи мечты...
Кровной доли приманкою вкрадчивой
Правду счастья зазастила ты.

Ну я стисну мехами распертого,
Разодену страданье свое,
Но останется прежнее чортово
Мехового засилья житье.

Ах, любовь, ты любовь!.. Как твоими зарницами
Теплить радостный праздник души,
Если прежними скорбными лицами
Станет жизнь этот праздник тушить!

Только мог я лишь сердцем измаянным
Примириться покорнее мха,
Что заделались полным хозяином
Человеческой жизни — меха.

XXII.

Чтоб из-за какой-то лисьей шубы —
О, безумье! — не терял навек,
Да притом, когда друг другу любы,
Человека человек!

Чтоб житейских нужд покрой наружный
Не теснил проклятой властью грудь —
Надо взять за шиворот и дружно
Этот мир, как прах, перетряхнуть.

И рукой, быть может, и суровой,
Но скроить из мира мир иной,
На иной покрой, на новый, новый,
На счастливый, солнечный покрой!

Версаль.

По этой
дороге,
спеша во дворец,
бесчисленные Людовики
трясли
в шелках
золоченных каретц
телес
десятипудовики.
И ляжек
своих
отмахав шатуны,
по ней,
марсельезой пропет,
плюя на корону,
теряя штаны,
бежал
из Парижа
Капет.
Теперь
по ней
веселый Париж
гоняет
авто рассияв —
кокотки,
рантье, подсчитавший барыш,
американцы
и я.
Версаль.
Возглас первый
«хорошо жили стервы!»
Дворцы
на тыщи спален и зал —

и в каждой
и стол
и кровать.
Таких
вторых
и построить нельзя,
хоть целую жизнь —
воровать.
А за дворцом
и сюды
и туды,
чтоб жизнь им
была
свежа,
пруды,
фонтаны,
и снова пруды,
с фонтаном
из медных жаб.
Вокруг,
в поощренье
жантильных манер,
дорожки
полны статуями —
везде Аполлоны,
а этих
Венер
безруких, —
так целые уймы.
А дальше —
жилья
для их Помпадурш
— Большой Трианон
и Маленький —
Вот тут
Помпадуршу
водили под душ,
вот тут
помпадуршины спаленки.
Смотрю на жизнь —
— ах, как не нова! —
красивость —
аж дух выматывает.

Как будто
влип
в акварель Бенуа,
к каким-то
стишкам Ахматовой.
Я все осмотрел,
поощупал вещи.
Из всей
красотищи этой
мне
больше всего
понравилась трещина
на столике
Антуанетты.
В него
штыка какого-то
клин
вогнали,
пляша под распевку,
когда
санкюлоты
поволокли
на эшафот
королевку.
Смотрю,
а все же —
завидные видики,
сады завидные —
в розах.
Нам бы
культуру
такой же выделки,
но в наш
в машинный рбзмах.
В музеи
вот эти
лачуги б вмссти,
— Сюда бы —
стальной
и стекольный
рабочий дворец
миллионной вместимости,
— такой,
чтоб и глазу больно.

Всем,
еще имеющим
купоны
и монеты,
всем царям,
еще имеющимся —
в назидание.
— с гильотины неба,
головой Антуанетты,
солнце
покатилось
умирать на зданиях.
Расплылась
и лип
и каштанов толпа,
слегка
листочки ворся!
Прозрачный
вечерний
небесный колпак
закрыл
музейный Версаль.

Вл. Маяковский.

Песня.

Есть одна хорошая песня у соловушки —
Песня панихидная по моей головушке.

Жила — забубенная, жила — ножевая,
А теперь вдруг свесилась словно неживая.

Думы мои, думы! Боль в висках и темени.
Промотал я молодость без поры, без времени.

Как случилось-сталось, сам не понимаю.
Ночью жесткую подушку к сердцу прижимаю.

Лейся, песня звонкая, вылей трель унылую.
В темноте мне кажется — обнимаю милую.

За окном гармоника и сиянье месяца,
Только знаю — милая никогда не встретится.

Эх, любовь-калинушка — кровь — заря вишневая,
Как гитара старая и как песня новая.

С теми же улыбками, радостью и муками,
Что певалось дедами, то поется внуками.

Пейте, пойте в юности, бейте в жизнь без промаха —
Все равно любимая отцветет черемухой.

Я отцвел не знаю где. В пьянстве, что ли? В славе ли?
В молодости нравился, а теперь оставили.

Потому хорошая песня у соловушки,
Песня панихидная по моей головушке.

Жила — забубенная, жила — ножевая,
А теперь вдруг свесилась словно неживая.

Сергей Есенин.

Золото — текучее луны,
Запах олеандра и левкоя
Хорошо бродить среди покоя
Голубой и ласковой страны.

Далеко-далече там, Багдад,
Где жила и пела Шахразада.
Но теперь ей ничего не надо.
Отзвенел давно звеневший сад.

Призраки далекие земли
Поросли кладбищенской травою.
Ты же, путник, мертвым не внемли,
Не склоняйся к плитам головою.

Оглянись, как хорошо кругом:
Губы к розам так и тянет, тянет.
Помирись лишь в сердце со врагом
И тебя блаженством ошафранит.

Жить — так жить, любить — так уж влюбляться.
В лунном золоте целуйся и гуляй.
Если ж хочешь мертвым поклоняться,
То живых тем сном не отравляй.

Это пела даже Шахразада, —
Так вторично скажет листьев медь,
Тех, которым ничего не надо,—
Только можно в мире пожалеть.

Сергей Есенин.

Заря окликает другую,
Дымится овсяная гладь...
Я вспомнил тебя, дорогую,
Моя одряхлевшая мать.

Как прежде ходя на пригорок,
Костыль свой сжимая в руке,
Ты смотришь на лунный опорок,
Плывущий по сонной реке.

И думаешь горько, я знаю,
С тревогой и грустью большой,
Что сын твой по отчему краю
Совсем не болеет душой.

Потом ты идешь до погоста
И, в камень уставясь в упор,
Вздыхаешь так нежно и просто
За братьев моих и сестер.

Пускай мы росли ножевые,
А сестры росли, как май,
Ты все же глаза живые
Печально не подымай.

Довольно скорбеть! Довольно!
И. время тебе подсмотреть,
Что яблоне тоже больно
Терять своих листьев медь.

Ведь, радость бывает редко,
Как вешняя звень по утру,
И мне — чем сгнивать на ветках,
Уж лучше сгореть на ветру.

Сергей Есенин.

Ну, целуй меня, целуй,
Хоть до крови, хоть до боли.
Не в ладу с холодной волей
Кипяток сердечных струй.

Опрокинутая кружка
Средь веселых не для нас.
Понимай, моя подружка, —
На земле живут лишь раз.

Оглядись спокойным взором,
Посмотри: во мгле сырой
Месяц словно желтый ворон
Кружит, вьется над землей.

Ну, целуй же! Так хочу я.
Песню тлен пропел и мне.
Видно, смерть мою почуял
Тот, кто вьется в вышине.

Увядающая сила!
Умирать так умирать!
До кончины губы милой
Я хотел бы целовать.

Чтоб все время в синих дремах,
Не стыдясь и не тая,
В нежном шелесте черемух
Раздавалось: «я твоя».

И чтоб свет над полной кружкой
Легкой пеной не погас —
Пей и пой, моя подружка:
На земле живут лишь раз!

Сергей Есенин.

Ответ...

Я не ведал муки тяжелее —
Слушать «нет», — обычный твой припев.
Потому так зло, как жалят змеи,
Я ушел, остынуть не успев.

И с досады, будто не был скромным —
Оскорблял тебя, а ночью выл,
И нигде не мог, как вор бездомный
Приклонить уставшей головы.

(Я писал тебе, но что — не помню,
Кроме обращения на «вы»).

Ты уйдешь... Хоть сад тебя не тянет,
А меня, наверно, не простишь.
Разве вспомнить, что и я крестьянин,
Что любил соломенную тишь.

(Это чувство ляжет и на строки
И невольно грустью породнит
С тем, кто нам, как полымем широким,
Озарял утраченные дни.

Как и он, любил и я послушать
Теплый говор предвечерних стад
И под хриплый стон и квак лягушек
Песни девок на старинный лад.

Песни те в селе давно отжили,
Вместо них агитка и гармонь.
А в избе послушный медной жиле
Большевистский светится огонь.

И с таким огнем там все же проще.
Там любовь не расцветает в ложь.
Плещут всем поклоном тихим рощи
И в закате розовая рожь.

Но, закат и рожь моя... Ну что же?
Вновь обман. Ведь и в родном краю
Не найду я облика дороже,
Не услышу песенку твою.

Взвоет ветер стоголосым хором
В ржавую осеннюю трубу.
И с небес кочующие горы
Вдруг начнут оплакивать судьбу.

Не найти нигде тогда покоя
И, под вечер, под протяжный свист
Упаду, охваченный тоскою,
Как с березы почерневший лист.

Если так, то лучше здесь... Быть может,
Я увижу, как с другим пройдешь.
Это все на нас с тобой похоже,
Как и ты на зреющую рожь.

Ты пройдешь, а следом с тихой болью
Я скажу, но словно ветру, в синь:
— *„Ты прости меня своей любовью*
И своим величием простым“ [1]).

В. Наседкин

[1]) Слова Вас. Казина.

Все реже городской прибой,
Все тише гул московских улиц,
Иду — и будни надо мной
Знамена вяло развернули.

Где раньше пламенный оратор
Питал надеждой хмурый взгляд,
Кирка кривая и лопата
Теперь насмешливо торчат.

Мне помнятся иные дни —
Нам пушки музыкой звучали,
Знамена шумные! — Они
При свете солнца трепетали!..

Нам дан в удел воловий труд
И двух времен немая сила,
Гордясь, потомки не поймут,
Где праздник был и где могила.

Упорствуя, пригну я шею
И вновь пойду и прям и смел,
Но петь, но петь все тяжелее
Средь пышных дум и малых дел.

Михаил Голодный.

Видение.

Пантелеймон Романов.

I.

Учитель музыки давал урок, а в соседней комнате, надрываясь, кричал ребенок. Потом его кто-то стал пороть, он еще сильнее закричал.

— Ну, вот, чорт его возьми, каждый раз так!

Учитель бросил в угол потухшую папироску и сказал:

— Какая тут, к чорту, может быть культурная жизнь в такой обстановке! Ведь это все моя квартира была. А теперь нагнали сюда посторонних людей, — видите, что̀ делается. Тут бы нужно наорать на них как следует, а я деликатничаю, молчу.

— Напрасно, — сказал ученик.

— Я сам знаю, что напрасно. Но не могу... Пользуются моими вещами, посудой. Все это ужасно раздражает, а сказать неловко. Мой приятель Василий Никифорович, тот, что привез мне в начале революции эту обстановку, бежал с женой за границу. Звал и меня, а я не решился. И вот теперь живешь в стране дикарей, где нет ни права, ничего.

В дверь постучали. Учитель вышел в переднюю. Там стояла молодая женщина, изящно одетая. У нее было робкое, несмелое выражение.

— Вы Андрей Андреич Сушкин? — спросила она.

— Да, — сказал учитель музыки, невольно остановившись взглядом на ее лице. Ее лицо — тонкое, хрупкое, точно освещалось огромными черными глазами.

— Я от Василия Никифоровича, — сказала молодая женщина.

— От Василия Никифоровича?! Да где же он? Приехал?..

— Нет, он не приехал... я приехала.

— Простите, а вы кто же?

— Его жена... — сказала она не сразу.

— Его жена?.. Но, простите, у него была другая жена...

— Я вторая...

— Ах, вторая?.. Ваше имя и отчество?

— Вера Сергеевна.

— Что же я вас держу здесь, вот так гостеприимный хозяин! Идемте сюда.

— У меня извозчик, ему нужно отдать пятьдесят копеек, — сказала, смутившись, молодая женщина, — а я забыла у знакомых сумочку и в ней письмо к вам от Василия Никифоровича.

— Ах, какая большая сумма — пятьдесят копеек! — и, сбегав вниз, он отпустил извозчика.

— Не успела приехать, как уже заставляю людей тратить на себя деньги.

— И очень хорошо,—говорил Андрей Андреич, снимая с нее пальто и чувствуя какую-то необыкновенную, непривычную для себя свободу в обращении с женщиной, как будто этот заплаченный за нее полтинник дал ему право свободного и дружески покровительственного обращения с этой незнакомой женщиной. — Вот как мы живем здесь, в одной комнате. Вам, наверное, странно и дико?

Молодая женщина, войдя в комнату и не снимая шляпы, осмотрелась.

— Я так себя браню, что не уехал из этой чортовой страны. Каждый год ждали, что все у них полетит к чорту, — нет, выплыли каким-то родом,— говорил хозяин, а сам смотрел на эту красивую молодую женщину. Ее шляпа с острыми краями и красным пером, изящный весенний костюм, — в боковом кармашике которого торчал уголок шелкового голубого платка, — точно внесли в его одинокую комнату струю свежего весеннего воздуха.

— А я, представьте, только что говорил сейчас о Василии Никифоровиче, — продолжал возбужденно Андрей Андреич, и с этим возбуждением он смотрел в глаза молодой женщине, с которой он чувствовал, что может говорить тоном близкого знакомого, как друг ее мужа, и встречаться с ней глазами, как с интересной женщиной, приехавшей сюда без мужа.

Ученик ушел. А хозяин взял стул, поставил его против гостьи, севшей на диван, и почти придвинув свои колени к ее коленям, улыбаясь смотрел на нее несколько времени, точно они давно были знакомы, долго друг друга не видели и теперь нечаянно встретились.

Ее глаза, большие и серьезные, тоже смотрели на него. И, наконец, она, как бы поняв простую и чистую душу собеседника и поверив ему, улыбнулась какой-то светлой улыбкой.

— Вы точно светлый луч из другой, прекрасной жизни. Я сейчас сидел здесь в раздражении, в унынии, и вдруг являетесь вы, смотрите с простой, милой улыбкой, точно вы только вчера здесь были. Я себя не узнаю: ведь я дикарь ужасный и женщин боюсь. Сижу один в своей скорлупе. И вот досидел до 40 лет.

— А мне странно и... тепло от такой милой встречи, — сказала она, задумчиво глядя на него. — Я очень много боли пережила от... людей. И привыкла в них видеть или зло, или корысть.

— Да, это правда, теперь особенно стало много черствости, расчета и эгоизма. Может быть, оттого, что жизнь тяжела. Теперь уже совсем и следа не осталось былой радости жизни, романтизма, беспечности. Разве вот

только мы, старые хранители былых традиций, еще держимся. Да и то, хоть меня взять, думал ли когда-нибудь я, — композитор, — что буду торговать мебелью, бояться выйти из бюджета. А когда-то все мы, интеллигенты, были только непрактичными романтиками, вечно влюбленными, вечно в мечтах...

— Мне кажется, вы и сейчас такой же, — с ноткой нежности сказала молодая женщина.

— Дай бог, если такой. Я, правда, все-таки мало изменился. Но вообще наш брат, интеллигент, сильно поддался: все, кто прежде были непримиримы, теперь стали как-то необычайно пугливы, шкурно-податливы... вообще, некрасиво. Нет, но как я вам рад! Как будто я вас ждал! — сказал Андрей Андреич, сжав перед грудью руки и откинувшись на спинку стула и глядя удивленно-радостными глазами на молодую женщину.

— А для меня это вдвойне неожиданно, я ехала сюда со страхом.

— Почему?

Она замялась.

— ... Жутко очутиться одной среди чужих людей. И я никогда не забуду, как вы меня встретили. Это какой-то символ: я думала, что здесь я — одна во всем мире, а оказалось... Ну, как же вы живете здесь? — спросила она, точно желая переменить слишком взволновавший ее разговор.

— Как живу?.. Живем кое-как. На одного хватает. Конечно, отказываешь себе во многом. Композиторство мое мне ничего не дает, но зато уроки довольно прилично. Да что же вы в шляпе! Снимайте скорей.

Вера Сергеевна покорно сняла шляпу и подошла к зеркалу. Каким-то домашне-простым движением поправила волосы.

А он от этой ее простоты почувствовал почти умиление.

— Как здесь свободно все-таки в сравнении с заграницей, — сказала она, заложив сбоку в волосы резную черепаховую гребенку, — там много лжи и ханжества, и притти к незнакомому мужчине в комнату, значит, совершить преступление.

— Да, в этом отношении у нас теперь все просто. Сейчас устроим музыку: чайник на спиртовку, чашки — на стол. Вспомним милую, беззаботную студенческую юность, когда жизнь представлялась легкой, прекрасной, полной романтических грез.

Когда чай был готов, он сбегал в лавочку и принес конфект и закусок. Они, смеясь, развертывали кульки, и молодая женщина раскладывала на тарелочки колбасу и сыр.

Он смотрел на нее, чужую, незнакомую, как она, точно своя, близкая, хлопотала у стола, разливала чай своими холеными руками. И то, что она была чужая жена; жена его приятеля, который, вероятно, еще не скоро приедет, пробуждало неясные волнующие мысли о том, что эта встреча, не требуя никакой ответственности, может быть удивительной.

— Если бы мне за пять минут до вашего прихода сказали, что в мой монастырь холостяка придет молодая, прекрасная женщина, я бы испугался.

— А теперь?..

— Теперь вот что!.. — Он взял ее руку и поцеловал. — Теперь я юноша, теперь мне двадцать лет. Хочется по-студенчески петь, играть и дурачиться.

Она смотрела, как он целовал ее руку, и у нее вместе с улыбкой блеснули на глазах слезы. Он заметил их.

— Что с вами? — спросил он так тревожно и тепло, что его самого тронула эта прозвучавшая в его тоне теплота по отношению к незнакомой женщине.

— Ничего, ничего... Я очень беспомощный человек и, очутившись здесь одна, почувствовала было страх перед жизнью и перед людьми, но мне вдруг стало так хорошо, оттого что вы такой...

Она не договорила.

Ему хотелось сесть рядом с ней на диван, но после ее недоконченной фразы пришло соображение о том, что он может этим разбить у ней сложившееся о нем представление. А ему хотелось, чтобы она увидела, какая у него простая, чистая и в то же время интересная душа. Может быть, гораздо более интересная, чем у Василия Никифоровича.

— Но ведь вы на время только одна. Вероятно, Василий Никифорович скоро приедет, — сказал Андрей Андреич, с целью узнать, сколько времени будет продолжаться их встреча.

Но Вера Сергеевна вздохнула и почему-то ничего не ответила. Потом стала убирать посуду, и от этих спокойных, домашних ее движений он опять почувствовал то же, что чувствовал, когда она при нем оправляла перед зеркалом прическу. Он подошел, поцеловал ей руку в ладонь и сказал:

— Вот бывает так: живет человек одиноко, скучно, душа его постепенно заволакивается серостью жизни, повседневными заботами и тревогами о куске хлеба... И вдруг светлое видение!.. Он чувствует, как что-то давно забытое шевельнулось в его душе, просияло... Он смотрит вокруг себя и с удивлением говорит: «Так вот какой мир, оказывается! Так вот каким я мог бы быть: светлым и радостным юношей!»... И вот вы явились таким видением для меня. Вы промелькнули, потом уйдете к другому человеку, которого вы любите... Но то, что мы с вами сидели сегодня вечером, это у меня останется на всегда. Потому что вы, несмотря на любовь к тому, другому... что-то оставили здесь своего. Быть может, и для вас эта встреча была не безразлична и не скучна...

Он говорил, а она, бросив руку на стол, смотрела своими огромными грустными глазами куда-то мимо него перед собой. Потом закрыла рукой глаза и тихо проговорила:

— Да... эта встреча для меня не безразлична и не скучна... И напрасно вы думаете, что душа ваша заволоклась серостью жизни. Такие души не поддаются этому...

— И слава богу, если так. Сегодня все чудесно! И я рад, у меня такая обстановка; как будто мы — богатые люди, принц и пр цесса. Для таких моментов нужна и красивая обстановка.

— Сыграйте что-нибудь, — сказала Вера Сергеевна.

Он сел за рояль и стал играть. Когда он оглядывался, молодая ж щина, сидя с блюдцем и полотенцем в руках, забывшись, смотрела пе собой. Почувствовав его взгляд, она переводила глаза на него, и он ви ее мягкую, грустную улыбку и иногда блеснувшие непокорные слези на глазах.

И опять Андрей Андреич чувствовал необычайную радость присутствия этой женщины с грустными глазами и волнистой тяже прической.

Наконец, она встала, подошла к нему, положив руку на спинку ст на котором он сидел, и смотрела через его голову в ноты. А он изре, закинув голову, взглядывал снизу на нее, чтобы видеть ее лицо...

II.

Он кончил играть, а она посмотрела на свои маленькие висев у пояса часики и испуганно воскликнула:

— Боже мой, уже второй час! Как же я пойду? Вам придется пр жать меня.

— Нет, не придется...

— Почему? — спросила озадаченно Вера Сергеевна.

— Потому что вы попросту останетесь у меня.

— У вас?..

— Ну, да. Сразу видно, что приехали из-за границы. Никаким ос блениям и посягательствам вы не подвергнетесь. А от этого наша вст будет еще необыкновеннее.

Молодая женщина некоторое время колебалась.

— Нечего раздумывать!

— Может быть, это — судьба? — сказала она, несколько смуще улыбнувшись, но улыбка сейчас же сошла с ее лица, и она несколько секу серьезно, вдумчиво смотрела на него, как будто в этой встрече она действ тельно видела веление судьбы.

— Ну, вот, и прекрасно: раз судьба, тут долго разговарива не приходится. Вы ляжете на этом диване, я — на том. Поставим эт ширму.

— В жизнь свою никогда ничего подобного не испытывала...

Она даже взялась рукой за голову, и хотя она улыбалась, н видно было, что ее волновала создавшаяся обстановка.

— А я-то!.. Я говорю, что вы светлое видение, — прилетели, внесли с собой что-то прекрасное и опять улетите. Сон!

Они стали устраиваться на ночлег.

Когда Андрей Андреич смотрел, как в его комнате старого холостяка молодая красивая женщина, нагибаясь, стелила постель, он испытывал такое чувство умиления и радости, каких не испытывал никогда.

Постелив с его помощью постели, Вера Сергеевна подошла к зеркалу и, оглянувшись, сказала:

— Можно попросить вас на минутку выйти?

Но ему хотелось, чтобы она совсем не стеснялась его.

— Зачем? — Мы уже так просто относимся друг к другу, и вы ведь ни в чем не можете упрекнуть меня. А, кроме того, мы живем в стране диких. Будем же на один вечер дикими.

— Ну, хорошо... Только вы все-таки не смотрите, — сказала Вера Сергеевна с улыбкой, сделав глазами и головой движение, как бы прося о маленькой уступке.

Он зашел за ширму и закурил папиросу. Прислушиваясь к тому, как она, распустив волосы, клала на стол шпильки, гребенку, он подумал о том, сколько он в своей жизни пропустил таких чудесных мгновений.

— Теперь выходите, — сказал ее голос.

Андрей Андреич вышел из-за ширмы. Она сидела с заплетенной на ночь по-девичьи тяжелой косой. И с какой-то несмелой, как бы признающейся улыбкой смотрела на него. В ней была еще большая простота, близость и доступность оттого, что она модную прическу с гребенками заменила косой.

Вера Сергеевна встала, выпрямив после долгого сиденья спину, и, осмотревшись, как бы проверяя, все ли приготовлено на ночь.

— Ну, теперь спать?

— Может быть, ширму не нужно ставить, просто погасим огонь и будем раздеваться?

— Нет, нет, — сказала она, покраснев, — я не привыкла.

Он поставил ширму.

— Теперь гасите огонь.

— Уже?

— А что же?.. — спросила она с милой застенчивой улыбкой, приподняв брови.

— Мне хотелось бы не спать всю ночь и говорить, говорить без конца.

— Мы ляжем и будем говорить, пока не заснем.

— Ну, хорошо. Только давайте подольше не спать. Ну, раз, два!..

И он погасил свет.

Они стали ложиться. Она — на угольном диване. Он — около чайного стола на другом диване.

Раздеваясь, Андрей Андреич напрягал слух, стараясь уловить каждое ее движение, каждый шорох. С бьющимся сердцем он слышал, как она долго расшнуровывала высокие ботинки и осторожно ставила их, как бы стараясь не стукнуть. Потом слышал свистящий шелест шелкового платья, очевидно, снимаемого через голову. А он, когда снимал башмаки, нарочно стукнул ими, бросив их на пол, как будто ему хотелось, чтобы она

— И слава богу, если так. Сегодня все чудесно! И я рад, что у меня такая обстановка; как будто мы — богатые люди, принц и принцесса. Для таких моментов нужна и красивая обстановка.

— Сыграйте что-нибудь, — сказала Вера Сергеевна.

Он сел за рояль и стал играть. Когда он оглядывался, молодая женщина, сидя с блюдцем и полотенцем в руках, забывшись, смотрела перед собой. Почувствовав его взгляд, она переводила глаза на него, и он видел ее мягкую, грустную улыбку и иногда блеснувшие непокорные слезинки на глазах.

И опять Андрей Андреич чувствовал необычайную радость от присутствия этой женщины с грустными глазами и волнистой тяжелой прической.

Наконец, она встала, подошла к нему, положив руку на спинку стула, на котором он сидел, и смотрела через его голову в ноты. А он изредка, закинув голову, взглядывал снизу на нее, чтобы видеть ее лицо...

II.

Он кончил играть, а она посмотрела на свои маленькие висевшие у пояса часики и испуганно воскликнула:

— Боже мой, уже второй час! Как же я пойду? Вам придется провожать меня.

— Нет, не придется...

— Почему? — спросила озадаченно Вера Сергеевна.

— Потому что вы попросту останетесь у меня.

— У вас?..

— Ну, да. Сразу видно, что приехали из-за границы. Никаким оскорблениям и посягательствам вы не подвергнетесь. А от этого наша встреча будет еще необыкновеннее.

Молодая женщина некоторое время колебалась.

— Нечего раздумывать!

— Может быть, это — судьба? — сказала она, несколько смущенно улыбнувшись, но улыбка сейчас же сошла с ее лица, и она несколько секунд серьезно, вдумчиво смотрела на него, как будто в этой встрече она действительно видела веление судьбы.

— Ну, вот, и прекрасно: раз судьба, тут долго разговаривать не приходится. Вы ляжете на этом диване, я — на том. Поставим эту ширму.

— В жизнь свою никогда ничего подобного не испытывала...

Она даже взялась рукой за голову, и хотя она улыбалась, но видно было, что ее волновала создавшаяся обстановка.

— А я-то!.. Я говорю, что вы светлое видение, — прилетели, внесли с собой что-то прекрасное и опять улетите. Сон!

Они стали устраиваться на ночлег.

Когда Андрей Андреич смотрел, как в его комнате старого холостяка молодая красивая женщина, нагибаясь, стелила постель, он испытывал такое чувство умиления и радости, каких не испытывал никогда.

Постелив с его помощью постели, Вера Сергеевна подошла к зеркалу и, оглянувшись, сказала:

— Можно попросить вас на минутку выйти?

Но ему хотелось, чтобы она совсем не стеснялась его.

— Зачем? — Мы уже так просто относимся друг к другу, и вы ведь ни в чем не можете упрекнуть меня. А, кроме того, мы живем в стране диких. Будем же на один вечер дикими.

— Ну, хорошо... Только вы все-таки не смотрите, — сказала Вера Сергеевна с улыбкой, сделав глазами и головой движение, как бы прося о маленькой уступке.

Он зашел за ширму и закурил папиросу. Прислушиваясь к тому, как она, распустив волосы, клала на стол шпильки, гребенку, он подумал о том, сколько он в своей жизни пропустил таких чудесных мгновений.

— Теперь выходите, — сказал ее голос.

Андрей Андреич вышел из-за ширмы. Она сидела с заплетенной на ночь по-девичьи тяжелой косой. И с какой-то несмелой, как бы признающейся улыбкой смотрела на него. В ней была еще большая простота, близость и доступность оттого, что она модную прическу с гребенками заменила косой.

Вера Сергеевна встала, выпрямив после долгого сиденья спину, и, осмотревшись, как бы проверяя, все ли приготовлено на ночь.

— Ну, теперь спать?

— Может быть, ширму не нужно ставить, просто погасим огонь и будем раздеваться?

— Нет, нет, — сказала она, покраснев, — я не привыкла.

Он поставил ширму.

— Теперь гасите огонь.

— Уже?

— А что же?.. — спросила она с милой застенчивой улыбкой, приподняв брови.

— Мне хотелось бы не спать всю ночь и говорить, говорить без конца.

— Мы ляжем и будем говорить, пока не заснем.

— Ну, хорошо. Только давайте подольше не спать. Ну, раз, два!..

И он погасил свет.

Они стали ложиться. Она — на угольном диване. Он — около чайного стола на другом диване.

Раздеваясь, Андрей Андреич напрягал слух, стараясь уловить каждое ее движение, каждый шорох. С бьющимся сердцем он слышал, как она долго расшнуровывала высокие ботинки и осторожно ставила их, как бы стараясь не стукнуть. Потом слышал свистящий шелест шелкового платья, очевидно, снимаемого через голову. А он, когда снимал башмаки, нарочно стукнул ими, бросив их на пол, как будто ему хотелось, чтобы она

слышала, что он тоже раздевается, и так близко от нее, что их разделяет только темнота.

И пока они раздевались, каждый на своем диване, они не произносили ни слова.

Он всеми силами души старался представить себе, что она может чувствовать, и из всех сил напрягал зрение, чтобы увидеть ее сквозь темі но от напряжения в глазах появлялись зеленые круги, и он ничего не в.. Как она, вероятно, удивляется, что с ним все легко и нет никакой неловкости. А не будь он таким, могло бы получиться глупо, неловко... Если представить себе, что она, оскорбленная и возмущенная, встала бы, оделась и ушла.

— Если бы все это видел Василий Никифорович, — сказал Андрей Андреич, — что бы он подумал?

— А я думаю о том, что подумают ваши соседи, — сказал голос молодой женщины.

— О, мне совершенно все равно, что подумают обо мне эти слизняки. Вам удобно?

— Очень. Говорят, что на новом месте плохо спят. Не думаю.

— Если это так, то тем лучше. Сплю я каждые сутки, а вот это со мной случается не каждые сутки. Вернее — первый раз в жизни.

Он говорил, а его слух был все напряженно насторожен. Он ловил каждое ее движение, каждый малейший шорох и задерживал дыхание, когда слышал, как она поправляла подушку или отдохновенно вздыхала, как вздыхают, когда, устроившись, лягут на спину, закинув за голову обнаженные руки на подушку.

— Я хочу курить, спичку зажечь можно?

Он спросил это не потому, чтобы ему действительно хотелось курить, а для того, чтобы осветить комнату.

— Можно...

Андрей Андреич зажег спичку и посмотрел в ее сторону. Ее не было видно за ширмой. Только виднелись снятые ботинки, и на спинке стула белели части ее одежды.

— Не мало подушек? — спросил он с безотчетной надеждой, что она отодвинет ширму и взглянет на него. Ему до остроты хотелось, чтобы она, лежа там на своем диване, смотрела на него и разговаривала с ним. Но спичка догорела, а она не выглянула и только сказала из-за ширмы:

— Нет, мне хорошо.

И так они лежали и переговаривались, пока незаметно оба заснули.

На утро он проснулся раньше. И долго лежал, стараясь не шевелиться, чтобы не разбудить ее. У него было необъяснимое чувство нежности, какое бывает у не испытавших чувства отцовства людей по отношению к чужому ребенку, о котором им пришлось заботиться и оберегать его.

Потом она ушла, сказав, что письмо Василия Никифоровича пришлет ему, а сама придет вечером.

III.

Когда Андрей Андреич остался один, он несколько времени ходил по комнате, возбужденно ерошил волосы, подходил к зеркалу и рассматривал свое лицо в нем. Он впервые увидел, что спина у него стала сутуловатой, а зачесанные назад волосы просвечивали на макушке.

«Но для таких женщин душа важнее наружности», — подумал он.

Как неожиданно, точно в самом деле какое-то видение, в его серые дни вошла прекрасная женщина. Он перебирал момент за моментом и удивлялся себе, как у него все хорошо, все чудесно вышло. Ведь обыкновенно бывало так, что с посторонней женщиной он не находил, о чем говорить, стеснялся, с усилием придумывал тему для разговора, а потом краснел и мучился при воспоминании о действительных и мнимых неловкостях.

В этот же раз все вышло необычайно! Точно нашло вдохновение: был прост, естественен, нескучен и не только не скучен...

Вероятно, воспоминание об этой встрече будет долго, долго храниться в ее памяти...

Эти отношения были тем обаятельны, что их совесть была спокойна, так как они знали, что долг перед мужем и другом не допустит ничего лишнего. И потому они на основании этого могли отдаваться тому необычайному чувству, какое они испытывали от этой совершенно безопасной близости.

В первый раз за все эти ужасные годы он почувствовал во всей силе очарование и близость женщины, почувствовал себя человеком в полном значении этого слова!.. Это такое счастье, о котором он не имел ни малейшего понятия!

Конечно, если бы ему предложили теперь жениться, — на это было бы страшно решиться, ввиду необеспеченности, когда все его богатство — в этой обстановке, которая может пригодиться только на черный день в случае болезни или отсутствия уроков.

Он десятки раз представлял себе, что̀ будет вечером. Останется она опять у него или нет?

Когда он проходил по коридору, то заметил удивленный взгляд, какой на него бросили соседи. А жена соседа-делопроизводителя, сплетница и скандалистка, остановившись у порога кухни, даже проводила его взглядом до самой двери.

Но он чувствовал в душе праздник и какое-то злорадное торжество. Эти узкие мещане, в конце концов, только завидуют ему. А он плюет на их подозрительные взгляды. И невольно подумал о том, что̀ было бы, если бы это случилось лет десять назад, какой скандал подняли бы эти люди и его уважаемые знакомые, если бы узнали, что приехавшая к нему молодая женщина, жена его приятеля, осталась в первую же ночь у него.

И он, часто жаловавшийся на новый порядок и за чашкой чая рассказывавший ходячие анекдоты о «господах положения», теперь вдруг сам себя почувствовал чем-то вроде господина положения, потому что неожиданно оказался торжествующим нарушителем морали мещан.

И, конечно, они не поверят, что он переночевал с молодой женщиной в одной комнате и не тронул ее... Эти слизняки в каждом свободном движении видят только одну мерзость. А, когда она придет опять сегодня вечером и опять останется у него, тогда уж, конечно, их не разубедишь. И ему было даже приятно, что они будут так думать.

«Думать, что угодно, можете, а сказать ничего не смеете, — подумал он, — наступили мы вам на хвост».

В это время позвонили. Андрей Андреич вышел в переднюю. Там стоял мальчик с письмом и запиской от Веры Сергеевны.

Он взял письмо и записку и, дрожащими руками разорвав конверт, стал читать.

Она писала, что никак не опомнится после всего, что было, что таких вещей все-таки делать нельзя. И что вперед она будет осторожна, так как это для н е к о т о р ы х не проходит безнаказанно. Но что он так держал себя, что она ни в чем не может его упрекнуть...

Слова записки говорили о том, что таких вещей делать нельзя, а сквозь эти слова прорывалась взволнованная необычной встречей женская душа, которая и боялась, и хотела еще раз пережить то, что было ею пережито в прошлый раз. Это несомненно. «Для н е к о т о р ы х это не проходит бесследно»... — перечитал он еще раз это место. Значит, для нее не прошло бесследно.

И Андрей Андреич решил, чтобы не пугать ее и заставить сделаться менее настороженной, согласиться на словах, что этого больше не будет. Ведь женщины больше всего боятся слов. Если им пообещать, поклясться, что ничего не будет из того, что в прошлый раз было, то они, успокоившись, позволят гораздо больше, чем в прошлый раз.

«О, милая, — она взволнована, она сама испугалась того, что пробудилось в ней».

То, что она была скромная, целомудренная женщина, да еще жена его приятеля, это еще более увеличивало цену их близости.

И чем тоньше, чем длительнее будут у них такие отношения, тем больше будет неиспытанных переживаний.

Он сам предложит сегодня проводить ее и ни слова не скажет о том, чтобы она осталась у него. И какое наслаждение будет увидеть в ее глазах мелькнувшее желание остаться.

Андрей Андреич вдруг вспомнил про письмо Василия Никифоровича и, распечатав его, стал читать. Несмотря на то, что письмо было коротенькое, всего в один листок, он читал его очень долго. Потом положил на стол и утер платком выступивший на лбу пот.

IV.

Василий Никифорович писал о том, что он разошелся с своей второй женой, она едет в Россию, чтобы найти себе какую-нибудь работу. Отчасти он сам виноват в этой истории, и просит его, как друга, передать ей оставленную обстановку и вещи, так как не в состоянии дать ей много денег. А она может оказаться в безвыходном положении, не имея ни родных, ни знакомых.

Когда пришел ученик, он заметил в своем учителе какую-то странную перемену. Учитель был тих, молчалив, точно чем-то пришиблен.

— Андрей Андреевич, что с вами?

— Так, неприятность...

— В чем дело?

Андрей Андреич рассказал, что его приятель семь лет тому назад, уезжая, оставил ему свои вещи и обстановку с условием, что, если он через год не вернется, вещи переходят к нему. А теперь приехала его жена и требует их обратно. То-есть не она требует, а он просит вернуть и передать их ей.

— Шлите к чорту, — сказал ученик. — Основание для этого: первое то, что он сам сказал, что через год можете вещи и обстановку считать своими. Это, так сказать, моральное основание. Второе то, что определенно существует декрет, по которому лица, не заявившие в течение шести месяцев со дня объявления декрета о желании получить свою собственность от тех, у кого она находится, лишаются права на нее. Это — юридическое основание.

— Ах, все это не то... Тут совершенно другие обстоятельства и другие отношения, — сказал, поморщившись, Андрей Андреич. — А то, что вы говорите, так грубо, — и моральное и юридическое, — что совершенно сюда не подходит. Я ни одной секунды не задумываюсь о том, что обстановка должна быть возвращена. Тут вообще и разговоров никаких не может быть. Она не моя, и я должен отдать. Тем более я связан с владельцем приятельскими отношениями и, кроме того...

Он замялся и не договорил. Потом сказал:

— Но тут вот какая досадная вещь: если бы я знал, что придется возвращать, я не продал бы своей обстановки, и у меня были бы хоть какие-нибудь деньги на черный день. Но, с другой стороны, что же делать, он сам не знал, что так получится. А я не дикарь и не большевик, чтобы не понимать, что если вещь — чужая, то сколько бы времени ни прошло, она так и останется чужой, а не моей.

— Напрасно, — сказал ученик. — Архаический взгляд. А если бы, скажем, вас не было и приятелю вашему некому было бы передать обстановку и пришлось бы ее тут бросить на произвол судьбы, она цела была бы или нет?

— Странный вопрос... раз бросил на произвол судьбы, конечно, она тогда пропала бы.

— Значит, если бы вас не было, то для него она все равно пропала бы. Следовательно, вы имеете имущество, не принадлежащее вашему приятелю, а как бы какое-то другое. Ergo: не выпускайте из рук и шлите к чорту.

— Оставьте!.. Говорю же вам, что здесь совершенно особые обстоятельства и отношения.

— Архаический взгляд, — сказал опять ученик.

— Ну и пусть архаический. Вам меня в свою веру не перекрестить. И я горжусь тем, что у меня архаический взгляд. Слава богу, что у нас, у крошечной кучки уцелевшей от разгрома интеллигенции, осталась моральная крепость.

— Тогда хоть за хранение возьмите, — сказал ученик, пожав плечами. Он проиграл свой урок и ушел.

А учитель, как-то сразу осунувшийся и побледневший, стал ходить по комнате, каждую минуту болезненно морщась. Весь разговор с учеником был настолько груб и оскорбителен для того чувства, какое было у него к этой женщине, что он испытывал какую-то моральную тошноту, когда вспоминал отдельные выражения из этого разговора.

— Этот толстокожий, лишенный души и всяких идеалов, про н е е говорит: «Шлите к чорту... декрет»!..

В самом деле, пережить такое чувство, какое он пережил несколько часов назад и потом эти грубые, отвратительные слова услышать в применении к н е й.

Но, главное, он чувствовал, что теперь вся непосредственность, вся прелесть отношений нарушена. Вместо того, чтобы ждать ее с радостью и замиранием сердца, теперь он будет думать о том, всю ли обстановку передать сразу, или можно по частям, чтобы не остаться без всего. И потом как перейти от того тона отношений, какой у него был к ней, к разговорам о возвращении вещей? Не подумала бы она, что ему жаль этой обстановки. И каким тоном заговорить об этом? Простым, теплым и дружеским или сказать об этом в шутливой форме? А вдруг шутка выйдет натянутой? Потому что в самом деле остаться без всего — это не так уж весело.

— Как все-таки в одном отношении счастливы эти толстокожие. Для них не существует никаких мучительных вопросов, никаких неловких положений, они рубят с плеча и ладно. У них все просто и определенно.

Андрей Андреич ходил по комнате и положительно не мог представить себе, каким же все-таки тоном начать разговор?

Сказать просто, что все это имущество и обстановка в ее распоряжении. При этой мысли ему стало легко и радостно. Чем меньше слов, тем сильнее всегда действует на людей. Она наверное будет поражена и растрогана. А он скажет ей, что моральная крепость — это все, что есть теперь у нас, у оставшейся после разгрома ничтожной кучки интеллигенции. И что это не заслуга с его стороны, а долг... Может быть, только в самом деле... за хранение... Боже, какая нелепость может лезть в голову!–сейчас же воскликнул он.

Андрей Андреич посмотрел на часы. Было шесть. Через два часа она придет. У него забилось сердце при мысли о том, что будет в сегодняшний

вечер. Их близость наверное еще подвинется. И как это жутко и сладостно следить обостренным чувством за каждой новой переходимой гранью... Но вдруг ему пришла мысль, которую он совершенно упустил из вида: именно, что она уже не жена Василия Никифоровича и, значит, совершенно свободная женщина. И что всякая вновь перейденная черта близости для него, как для честного человека, должна означать принятие на себя ответственности за судьбу женщины. Потому что, что̀ бы ни говорили эти представители новой жизни, по отношению к женщине он навсегда останется тем, что он есть.

А может ли он при своей необеспеченности принять на себя ответственность за другого человека? Тем более, что она сейчас без работы, без родных. Следовательно, она сама ничего не в состоянии заработать. Если, положим, она продаст его обстановку, то все равно этого не надолго хватит.

А он с чем останется, если она продаст обстановку?

— Ни туда, ни сюда! — сказал он в отчаянии, остановившись посредине комнаты. — И нужно же, чтобы к такому чудесному светлому видению его жизни примешалась эта мерзость!

Но вдруг его точно ударила мысль: а почему она не отдала ему сама письма? Почему она прямо не сказала, что̀ в нем? Неужели она не знала его содержания? Нет, знала, потому что, иначе, на что же она надеялась, когда ехала сюда без всяких средств? А эта обстановка и все имущество могут дать тысячи две. С такой суммой можно умеренно и аккуратно прожить два года. И может быть она была так ласкова и проста с ним именно поэтому... а он, представитель кучки, сыграл роль святого чудака, попросту осла... Это неистребимое наследие прекраснодушного идеализма каждому слову заставляет верить так, как оно говорится, и забывать, что у людей могут быть и всегда есть свои расчеты...

Но эта мысль была так отвратительна и противна, что он, сморщившись, как от боли, крикнул:

— Глупо! Гадко! Это невозможно!..

Было уже около восьми часов, а он все еще не мог никак остановиться ни на одном решении относительно тона, каким с ней говорить по вопросу об обстановке, какое взять к ней отношение — продолжать относиться сердечно или быть более официальным и холодным? В голове спутался целый клубок противоречивых мыслей, позорных для него, оскорбительных для нее и невозможных с общечеловеческой точки зрения.

Он чувствовал себя, как ученик на экзамене за решением письменной задачи: сейчас войдет преподаватель и спросит работу, а она у него еще и не начата.

V.

Когда раздался звонок, Андрей Андреевич с забившимся сердцем вышел в переднюю, ничего не успев решить.

Он только знал одно, что он отдаст эти вещи тому, кому они принадлежат, а в данном случае тому, кому пожелал отдать их владелец, т.-е. **ей**.

Он как-то торопливо и суетливо стал помогать раздеться молодой женщине, точно он был в чем-то виноват перед ней. А виноват он был в тех скверных мыслях, которые против воли, помимо сознания выскакивали у него в голове, вроде платы за хранение.

— Вот я и опять у вас...—сказала молодая женщина, входя в комнату и прикладывая к холодным щекам руки.

— Очень рад, очень рад... Ну, вот, все великолепно, — сказал Андрей Андреич и потирал руки, точно не она, а он пришел с улицы.

Вера Сергеевна подошла к зеркалу и, не оглядываясь на хозяина, стала поправлять прическу и в то же время говорила о своих планах поступления на службу.

На него почему-то неприятно подействовало, что она так просто и свободно при нем оправляет прическу, как будто, благодаря ночевке здесь, она уже имеет какое-то близкое отношение к нему и к его комнате.

Опять в голове промелькнула одна из отвратительных мыслей: «Кто она? Может быть, она очень бывалая особа?».

Если бы она была простая, искренняя женщина без всяких задних мыслей, она бы хоть спросила про письмо, получил он его или нет. А у нее такой вид, что как будто она ничего не знает, или этот вопрос с возвращением обстановки такие пустяки, что все подразумевается само собой и говорить об этом нечего.

И значит, если бы он торжественно объявил ей, что он, как представитель... держит свое знамя высоко и потому возвращает ей обстановку, она приняла бы это как что-то вполне естественное, и он попал бы в глупое положение со своим торжественным тоном.

Она вообще, очевидно, совсем не представляет себе общего положения и того, что слово «собственность» здесь никак не звучит. А тем более собственность эмигранта.

— Ну, вот, будем по-русски пить чай. Где же спиртовка? Я буду за хозяйку.

При слове хозяйка Андрей Андреич постарался улыбнуться ласково и гостеприимно. Но улыбка вышла натянутой и неестественной.

— Спиртовка в буфете, я сейчас подам.

— Сидите, сидите, с этим я справлюсь, — сказала она и, подойдя к буфету, открыла дверцы и достала спиртовку, прежде чем он успел встать.

Ему опять только осталось улыбаться и сказать что-то невнятное о ее способностях как хозяйки.

— Здесь мне, очевидно, придется к этому серьезно привыкать,—ответила она.

Андрей Андреич на это не нашел, что ответить, так как подумал о том, в каком смысле она говорит это?.. И что подразумевает под этим?

Вчерашние мечты о том, как они вдвоем будут сидеть уже вместе на диване, для него рассеялись, как дым, потому что это могло самым отчетливым образом повести к тому, что между ними незаметно возникнет близость. А она—незамужняя, сидит без места и без работы.

— А что у нас к чаю есть? — спросила Вера Сергеевна, улыбнувшись, как будто ей самой было странно, что она говорит: «у нас».

Андрей Андреич при этом даже не улыбнулся, а, как-то заторопившись и засуетившись, встал и неловко сказал, что сейчас принесет. Он вышел в коридор, с тем чтобы итти в лавочку, и почти столкнулся с соседкой, которая сделала вид, что делает что-то у вешалок.

«Наверное, подслушивала», — подумал он с неприятным чувством. Оглянувшись в дверях, он увидел, что соседка, задержавшись на повороте коридора, смотрит ему вслед тем противным двусмысленно-подозрительным взглядом, каким смотрят такого сорта женщины-хозяйки, любопытные до всяких историй, а потом разносящие о них грязные догадки и сообщения на всех перекрестках.

Андрей Андреич пришел домой, постаравшись незаметно проскользнуть через коридор, чтобы не столкнуться с соседкой.

— Уже? — сказала Вера Сергеевна, повернувшись к нему с улыбкой от стола, с которого она сметала щеточкой крошки.

— Да, я скоро.

Подойдя к нему, молодая женщина стала близко около него и начала вместе с ним развертывать покупки. Ее можно было бы тихонько обнять за талию, и она наверное не оскорбилась бы, а только с удивленной лаской, как нежданная, своя, близкая, оглянулась на него и, покраснев, продолжала бы развертывать, отдаваясь его несмелой ласке.

Но насколько вчера каждое ее движение в его сторону вызывало в нем ощущение необычайного, неожиданного счастья, настолько теперь всякое такое движение пугало его, как повод к ответственности.

Если же все предоставить силе стихийного влечения и судьбе, — будь, что будет, — а потом уйти от нее, отдав ей обстановку?

Но это было бы хорошо, если бы он был у нее, а здесь она у него. Что же ему из собственной комнаты уходить?..

И чем дальше, тем больше он чувствовал себя связанным и неестественным, потому что при каждом ее движении у него мелькала какая-нибудь отвратительная мысль о ней, о ее намерениях, о том, что он, кажется, попал в историю... в особенности, когда он вспомнил, что она вчера что-то говорила про судьбу.

Если бы в нем было меньше хрупкости и идеализма, то он чувствовал бы себя свободнее и не был бы таким подлецом по отношению к ней, каким он внутренно себя чувствовал. Он прямо сказал бы ей: «Вот что, мол, барынька, содержать я вас не могу, будем рассуждать трезво, ежели я вам нравлюсь, как мужчина, что ж, пожалуйста, обстановку берите себе, но, кроме этого, я ничего не могу предложить и в мужья не гожусь, потому что привык жить аккуратно, и то едва-едва свожу концы с концами, а вот ежели так каждый день в лавочку будем бегать да сыр с конфетами покупать, то совсем прогорим»...

И, конечно, ученик его так бы и сказал. А он не мог так сказать, благодаря своей излишней деликатности, и поэтому он говорил и делал то,

чего как раз не хотел делать и говорить. И вследствие этого катастрофически шел к все большей и большей близости.

— Ну, вот, сейчас я приготовлю все, и будем сидеть, говорить и пить чай, — сказала Вера Сергеевна.

Она, точно молодая новобрачная, приколов на грудь, как фартучек, салфетку, резала сыр, стоя перед столом изящная и красивая в лаковых туфельках с шелковыми чулками и в изящном платье, плотно облегавшем ее округлые бока.

Она внесла с собой особенную атмосферу женской чистоты и порядка: стол накрыт был чистой скатертью, везде расстелены были салфеточки, чайник она покрыла вышитым петухом — все вещи Василия Никифоровича, лежавшие обычно без употребления.

— Вы верите в судьбу?—спросила она без улыбки, взглянув на хозяина.

— А что? — спросил Андрей Андреич, покраснев.

— Нет, ничего... Ну, садитесь сюда, на диван, со мной.

Он насильно улыбнулся и сел около нее, но зацепился за ножку стола и так близко сел, что его бок пришелся вплотную к ее боку.

Вера Сергеевна с улыбкой оглянулась на него. А он, покраснев, сделал вид, что ему нужна пепельница, стоявшая на другом конце стола. Он приподнялся за нею и сел так, чтобы не прикасаться своим боком к ее боку.

— Боже, как здесь все изменилось, — сказала Вера Сергеевна, — и люди, и все. Кто был богат, тот стал почти нищим.

— О, ужасно! Ведь я прежде жил так, что и на двоих хватило бы, а теперь один вертишься едва-едва...

— И нравы, вероятно, изменились?

— Ужасно, — опять сказал он. — За границей считается чем-то невероятным отобрать, например, у человека дом, вещи, а здесь это освящено законом. Часто бывало так, в особенности в первое время, что люди, уехавшие по делам на несколько месяцев и даже недель, возвращались и находили в своей квартире новых обитателей. И ничего не могли сделать. Приходилось искать нового угла и перебираться туда, в чем приехали.

Он как-то полубессознательно сказал это затем, чтобы она, когда он ей скажет, что возвращает ей обстановку, не думала, что это такая простая и обыкновенная вещь в стране, где попрано всякое право, а — редчайшее, благороднейшее исключение, свойственное только ничтожной кучке.

— Ну, это уж, наверное, самые отъявленные негодяи, — сказала она.

Эта фраза убила Андрея Андреича.

— Да не негодяи, а таковы здешние законы, не признающие никакой собственности! Вы смотрите на все глазами западного буржуа, а этот взгляд здесь совершенно неприемлем.

— И, все-таки, негодяи, — повторила опять Вера Сергеевна.

Андрей Андреич утер платком лоб и замолчал. Он понял, что ей трудно будет дать почувствовать, что̀ он делает для нее, возвращая без вся-

ких разговоров обстановку, когда она с наивностью буржуазной куколки не может и не хочет понять, что такие вещи здесь — исключение, что он, в конце концов, по декрету не обязан ей возвращать. И у него действительно начинало подниматься глухое недоброжелательное чувство к ней. И против воли думал о том, что он здесь перенес все тяжести варварского режима, отгрызался раз десять от посягательств на эту обстановку, а они там благодушествовали, отсиживались в перчаточках да в шелковых чулочках, а теперь приехали, и у них нет даже простого удивления перед тем, что все цело, не продано и все им возвращается, несмотря на то, что в сущности она даже не жена Василия Никифоровича, а так — неизвестно что. И нет ни малейшей признательности. С них за одно хранение в течение семи лет... содрали бы столько, что вся обстановка этого не стоит.

А вот она даже не позаботилась отдать ему полтинник за извозчика, который он вчера заплатил за нее. Конечно, полтинник — ерунда. Но когда человек к чужим полтинникам относится небрежно, он и к рублям будет относиться так же,—думал учитель, с насильственной улыбкой принимая из рук молодой женщины налитый стакан. И так как она при этом, улыбаясь, смотрела на него, — как бы этой улыбкой подчеркивая странность их встречи, — он поцеловал ее руку.

А она перевела взгляд, несколько времени смотрела перед собой, потом вздохнула, как будто задумавшись о чем-то, и сейчас же опять улыбнулась ему, точно боясь его встревожить минутной задумчивостью.

Он попробовал ответить ей улыбкой, но от рассеянности обжегся горячим чаем и расплескал стакан. От этого он еще больше почувствовал себя в мучительно глупом положении и замолчал.

— Что вы, милый друг, странный такой сегодня? Совсем другой, чем вчера?

Он покраснел и неловко, торопливо сказал, что ничего особенного, неприятно подействовала встреча с соседкой в коридоре, потому что эти грязные люди готовы самые лучшие отношения истолковать отвратительным образом.

Вера Сергеевна выслушала и сидела некоторое время молча, глядя перед собой. Потом вздохнула и сказала:

— Больше всего я боюсь человеческой грубости и грязи. — Она опять на секунду задумалась и содрогнулась спиной от какой-то неприятной мысли. Потом встряхнулась и проговорила с улыбкой: — Но нужно стоять выше этого... Однако уже одиннадцать часов.

Андрей Андреич промолчал. У него сейчас же мелькнула мысль, что, может быть, она сказала это затем, чтобы услышать от него приблизительно такую фразу:

— «Не смотрите на часы, устроимся по вчерашнему»...

Но он не сказал этой фразы.

— А может быть она сказала это затем, чтобы напомнить ему, что она ждет от него ответа относительно вещей и обстановки, ведь она, вероятно, заметила, что на салфетках — метка Василия Никифоровича.

И зачем он эти салфетки подал!

Чтобы скрыть неловкость, он встал и сделал вид, что ему нужно позвонить по телефону. Выйдя в коридор, он опять увидел соседку, которая возилась над корзиной в дальнем конце коридора. И когда она оглянулась на стук его двери — он почувствовал почти отчаяние от этого, как ему казалось, упорного преследования.

— Просто сил никаких нет! — сказал Андрей Андреич и, сделав вид, что забыл номер телефона, пошел обратно в комнату. Мог ли он два дня назад предполагать, что он будет ежиться под взглядом этой противной мещанки и быть в моральной зависимости и на каком-то подозрении у этих слизняков!..— Боже мой, ну чего она сидит! — подумал он с раздражением и полным упадком духа о молодой женщине. — Нужно было с самого начала, как она пришла, сказать ей самым простым, деловым тоном, без всякого пафоса и без этой — ни к селу, ни к городу — интимной близости, сказать, что он возвращает ей имущество, несмотря на декрет, и только просит ее, ввиду неожиданности, оставить ему на первое время самое необходимое.

— Да что с вами, милый друг? Какое-нибудь горе? — спросила внимательно и участливо Вера Сергеевна. Она так серьезно, с такой тревогой посмотрела на него, что у него едва не показались слезы от этой неожиданной ласки женщины. Он хотел-было выдумать какое-нибудь несчастие, чтобы отвлечь ее подозрение от истинной причины, но сейчас же подумал: что если она начнет его жалеть и он пойдет навстречу этой жалости и женской ласке, то это будет только лишним шагом к близости.

– Нет, ничего... — ответил он.

Но ответил с таким убитым видом, что она не поверила и, сев около него на диван, стала участливо-тревожно расспрашивать. Это вышло еще хуже, потому что она при этом даже взяла его руку и нежно-успокоительно поглаживала ее.

Потом вздохнула и несколько секунд молчала.

— Я ехала сюда с отчаянием в душе, — проговорила она медленно, как будто его настроение вернуло ее мысли к своей судьбе. — Все, что произошло у меня с Василием Никифоровичем, вышло так нелепо и неожиданно, что я потерялась...

— Уже двенадцать часов... — сказал Андрей Андреич как-то совершенно неожиданно для самого себя и даже покраснел от мысли, что она его слова могла понять, как намек на то, что ей пора уходить.

Вера Сергеевна, замолчав, тоже посмотрела на часы и поднялась.

– Я потому не предлагаю вам остаться, — сказал он поспешно, — что у нас эти люди... соседи, вы не можете себе представить... Лучше пропустить один день.

— Да зачем же, милый друг, у меня есть, где переночевать. А завтра или как-нибудь на-днях вы сведете меня в театр? Я давно не была в московских театрах.

— Да, да, конечно... непременно, завтра же! — сказал Андрей Андреич как-то слишком поспешно, чтобы она не подумала, что ему жаль денег на билеты.

Она уже надевала шляпку, а он все еще не выбрал момента сказать ей про обстановку.

— Я пойду провожу вас, — сказал он, — кстати мне нужно переговорить с вами. Только далеко вас проводить не могу, потому что мне нужно забежать к приятелю совсем в обратную сторону.

Когда они вышли, он проводил ее до ближайшего перекрестка и, собравшись с духом, сказал:

— Приходите завтра между тремя и четырьмя, мне нужно с вами переговорить по одному важному делу.

При прощании она в сумраке слабого фонарного света посмотрела на него долгим задумчивым взглядом и сказала:

— Прежде я не была суеверной и не верила в судьбу, а теперь... теперь верю...

Она сжала его руку и, быстро повернувшись, пошла по пустынному тротуару ночной улицы.

Он долго видел ее тонкую элегантную фигуру, потом, вздохнув, пошел к дому, оглянулся у подъезда, не вернулась ли она, и быстро скользнул на лестницу.

А когда засыпал, то перед глазами вставала она в своем весеннем костюме, и он с бьющимся сердцем снова и снова вызывал в воображении ее тонкую фигуру в свете фонаря, ее последний взгляд и торопливое пожатие руки...

VI.

В три часа она пришла.

Андрей Андреич решил ей коротко сказать только о том, что он возвращает ей обстановку. И при этом дать ей понять, что ему нужно уходить по делу, чтобы не оставаться с ней долго и не стать опять на линию сближения.

Но ему все-таки хотелось дать ей понять, что если он возвращает, — то это является только результатом его личной порядочности, что законы все на его стороне. И другой бы на его месте ни за что не отдал, и сделать с ним было бы ничего нельзя. Даже опасно поднимать этот вопрос, ввиду того, что это имущество принадлежало эмигранту. А она, вероятно, по своему неведению думает, что он о б я з а н отдать и потому отдает ей.

Поэтому он все-таки сначала нарисует ей фон, ту ситуацию, при которой он возвращает, а потом корректно и сухо скажет, что она может брать обстановку когда угодно.

Его только возмущало отношение Василия Никифоровича, главное, тон его письма, в котором он просил об этом, как о какой-то ничтожной приятельской услуге.

Эти господа все-таки великолепно умеют устраиваться: когда было опасно, он улепетнул, а теперь, когда мы тут наладили и своим горбом создали приличную жизнь, он присылает сюда разведенную жену чтобы спихнуть ее с рук и не давать на содержание.

Что ж, у него правильный расчет, он знает, что отправляет к своему брату интеллигенту, которому будет стыдно и неловко не поддержать человека, а тем более женщину, у которой нет ни близких, никого. Это бы я тоже так-то, женился, разводился, а потом бы посылал к приятелям, — делайте, мол, что хотите, хоть женитесь, хоть просто так содержите. Дураков много. Конечно, она — несчастная женщина, что она должна чувствовать, когда очутилась здесь в чужом городе безо всего. И неужели она его любит?

Вера Сергеевна вошла совершенно неожиданно, так как он не слыхал ее звонка.

— Кто же вам открыл? — спросил он удивленно.

— Ваша соседка...

— А... — присядьте, пожалуйста, очень рад, очень рад, — говорил Андрей Андреич и сам чувствовал, что совсем неуместно и нелепо это «очень рад» после тех отношений, какие у них были.

Он указал ей кресло у письменного стола, а сам сел по другую сторону, как садится адвокат, когда принимает пришедшего к нему по делу клиента.

И то, что он сидел по одну сторону стола, а она по другую, делало их разговор как бы строго официальным.

Молодая женщина даже удивленно приподняла брови. Он заметил это, покраснел, но пересилил себя и сказал официальным тоном:

— Я прочел письмо Василия Никифоровича...

Андрей Андреич взял в руки карандаш и, подняв кожу на лбу, продолжал:

— Я должен вам сказать,— продолжал он тем же тоном, решив сначала нарисовать фон, — должен вам сказать, что здешнее законодательство таково, что... если становиться на официальную, законную точку зрения, то обстановка... не может быть возвращена...

Молодая женщина подняла на него глаза, и он видел, как вслед за выразившимся на ее лице глубочайшим удивлением ее щеки побледнели, точно она увидела перед собой совсем другого человека, чем ожидала.

Но он не смутился, потому что знал, что отдаст обстановку, а если она временно подумает о нем дурно, то тем больше будет приятное разочарование у нее потом.

— Теперь есть декрет, который определенно говорит, что лицо, не предъявившее право на свои вещи в течение шести месяцев со дня обнародования декрета, лишается этого права.

— Зачем вы говорите мне это? — сказала, еще более побледнев, молодая женщина и поднялась со стула.

Теперь было самым подходящим моментом сказать ей, чтобы она не беспокоилась, так как он только рисует фон, на котором им приходится

действовать. Но ему хотелось еще упомянуть про Василия Никифоровича, про его бесцеремонное, небрежное письмо. И он стал говорить о том, что у него всегда было подозрительное отношение к этому субъекту.

Вера Сергеевна, уже стоя у стола, лихорадочно, нервно натягивала перчатки, а он, боясь, что она не дослушает, торопясь и чувствуя, что у него выходит совсем не то и он точно летит в пропасть и не может остановиться, стал говорить крикливым голосом:

— Странно рассуждают эти господа, они там отсиделись в самый опасный момент и, наверное, презрительно фыркают на нас, как на перебежчиков... А потом... когда мы... тут с величайшими усилиями создали все... вы, т.-е. он, приезжаете сюда на готовое и вам отдавай все. То у него одна была жена, а теперь вы говорите, что вы его... жена... а там приедет еще жена...

Все это вырвалось у него совершенно вопреки сознанию и желанию. Он на секунду спохватился, увидев, что это уже не ф о н, хотел схватиться за голову, извиняться и умолять простить. Но молодая женщина, с ужасом смотревшая на него, вдруг почти бегом выбежала из комнаты.

У него мелькнуло сознание, что такого позора с ним никогда еще не было и после этого невозможно жить, бросился за ней, чтобы вернуть ее, объяснить... но она уже выскользнула на площадку и бросилась вниз по лестнице.

Тогда он, сам не понимая, как это случилось, — у него только похолодело под сердцем и кровь бросилась в голову, — высунулся на лестницу и крикнул:

— К чорту! К дьяволу!.. Мы на вас не работники. Тю!.. Ай-я-яй!..

Андрей Андреич вбежал в свою комнату, схватил себя за голову обеими руками, весь сморщился, точно от нестерпимой зубной боли, потом, случайно остановившись перед трюмо, несколько времени широко открытыми глазами смотрел на себя в зеркало, все еще держась руками за голову...

Григорий Пугачев.

Рассказ.

Август Явич.

I.

Председатель Чека поднялся с тяжелого, стильного кресла князей Тугоуховых, закрыл серую папку и на клочке бумаги кривыми иероглифами вывел: «в два часа ночи привесть ко мне в кабинет». Дальше следовало имя арестованного.

Затем он одел черную кожаную куртку и нащупал в кармане револьвер.

Во дворе лежал грязный, исхоженный снег, некогда белый и чистый, как детская радость. Холодный, зимний ветер дышал учащенно и горячо, ударяя в лицо мелкой, колючей, снежной пылью.

В дверях Пугачев раздумал и вернулся в свой кабинет; позвонил начальнику III отделения. Когда пришел Груздиков — молодой, высокий человек с прыщеватым лицом, злыми красно-карими глазами, бывший врач и подпольщик, — Пугачев держал в обеих руках по телефонной трубке и раздраженно говорил то в одну, то в другую:

— Да, выпустют... Этого нет. Ладно уж, будет... Никакого разговора быть не может. Жду.

За дверьми ждали тревожно и покорно люди. Было их много. Нетерпеливо дергалась дверная ручка.

Пугачев закрыл правый глаз, так как невыносимо болела голова, вот уж целую неделю.

Несколько ночей Пугачев не спал. Изредка он дремал по два, по три часа в глубоком, громоздком, хмуром кресле. Но, разбуженный звонком, а подчас собственной мыслью, вскакивал и через минуту что-то делал.

В час ночи в комнате было пусто. Высокие каминные часы, показывая 8, тикали равномерно и звучно, напоминая упрямый шопот. Из дальних комнат ворвался стук машинки. Пугачев, не любивший этот стрекочущий, долбящий стук, плотно прикрыл дверь. Телефон молчал. Полевой же аппарат недавно передал: спокойно, операций не предвидится...

Пугачев снова оделся, покачиваясь, вышел во двор. Здесь он два раза глотнул мороз и прошел по недавно выпавшему снегу, оставляя следы тяжелых, тупых сапожищ.

Дома сидела жена его, Клавдия Антоновна, шила большое красное знамя черным на гроб убитого бандитами военкома Мордовцева. Пугачев тщательно вытер ноги о рогожу и спросил сиплым от холода голосом.

— Петька спит?

Петька, сын 12 лет, спал в соседней, темной коморке.

Пугачев опустился на диван — нечто длинное с дырявой клеенкой, вылезшей морской травой и одной оголившейся пружиной.

— Что, Гриша, устал?..

Пугачев молча вытянул ноги и безмолвно просидел с полчаса, устремив глаза в темное окно, выходившее на пустырь. В окно глядела ночная, сероватая бровь, а в ней отражался огонек угольной лампы. Пугачев тряхнул головой и хрустнул пальцами.

— Отдохнул... Голова болит, заснуть не мешало бы... — Он посмотрел на часы. — Еще полчаса... Я, пожалуй, кипятку выпью, холодно. — Он потянулся, затем выбрал из маленького письменного столика времен Екатерины, стоявшего еще не так давно в комнате молодой княжны Тугоуховой, книгу, раскрыл ее и стал читать. Книга была без обложки, изрядно потрепана. На первой странице чей-то кривой почерк коряво вывел: «История Пугачевского бунта». Куплена она была 14 лет назад у старого букиниста на набережной провинциального города за последние 18 коп. Теперь она хранилась в маленьком, изящном, инкрустованном столике, на котором молодая княжна Тугоухова десятого января 1905 года написала следующую записку:

«Дорогой Сергей! Очень прошу вас прислать обещанный журнал за 1876 год. Вчера случилось большое несчастье: петербургский народ был расстрелян; много убитых и раненых. На меня эти вести произвели тягостное, удручающее впечатление. Я не спала. Сегодня очень болит голова. После всех этих ужасов остается одно: уйти в прошлое, там тихо и покойно, и веет сладостной, щемящей печалью. Конечно, вчерашний день ужасен. Но будет ужаснее, когда русская чернь вздумает повторить опыты французской революции. Хороший Сергей, мы без белых, напудренных париков, мы давно забыли кринолины, но шея у нас такая же тонкая и нежная, как и у сородичей Людовика XVI... Ах, Сергей, у меня очень болит голова. Книгу вы, пожалуйста, пришлите...»

Записка эта была написана на французском языке. Но кто-то на обратной стороне приписал русский перевод. Пугачев нашел ее случайно защемленной между ящиком и верхней доской стола. Теперь она опять попала ему на глаза. Он прочел русский перевод и долго старался разгадать таинственные французские буквы, столь четко и красиво выведенные черными, помутневшими чернилами. Он ухмыльнулся, отложил записку, затем снова вооружился книгой.

«Историю Пугачевского бунта» он знал хорошо и часто перечитывал. Однажды жена спросила его:

— Ты зачем ее читаешь так часто?

— А чтобы не забыть.

— Чего забыть?..

— Да того самого... Читать не мешай!—И Пугачев продолжал читать.

«Я не ворон,—возразил Пугачев,—я вороненок, а ворон-то еще летает... Панин... ударил самозванца по лицу до крови и вырвал у него клок бороды...»

Пугачев положил серую ладонь свою на страницу и повернул голову к Клавдии Антоновне. Щетинистое, усталое лицо его — красные воспаленные глаза, глубоко впавшие щеки — стало надменным, жестоким. Зрачки расплылись и блестели точками, будто в них воткнули по иголке.

— Голову отрубили...

— Кому? — подняла брови Клавдия Антоновна, выразив всей своей фигурой назойливое непонимание.

— Потом народу показывали... А он раньше на все четыре стороны кланялся... — И вдруг Пугачев залился детским, веселым смехом. Глаза его стали глубокими, темными, как провалившееся в бездну небо. Потом смех сорвался, точно недоскрипевшая дверь. Он поднялся.

— Ты пока кипяти, а я сейчас... — Он подошел к двери, толкнул ее. В тени как-то нелепо вырос широкий, словно морда бульдога, нос сапога.

Клавдия Антоновна ничего не ответила. Она слышала грузные шаги Пугачева на лестнице. Когда затихло, она прислушалась к подозрительной тишине. Заерзала под половицей мышь. Потом снова стало тихо и мертво. Внизу под ногами, глубоко и далеко что-то щелкнуло раз, другой, третий, будто там уверенно и быстро перебрасывали костяшки на счетах. Клавдия Антоновна слушала. Вздохнул спящий Петька, забормотал со сна.

На столе же лежало вышитое черным красное траурное знамя и смотрело холодными буквами вверх: «спи спокойно, дорогой товарищ, дело твое в верных и крепких руках!».

II.

Пугачев спустился тяжелой, усталой походкой вниз, пробежал мимо патруля и ударил дверь, обитую войлоком. В первой комнате подвального помещения было душно, накурено и грязно. Шелуха семячек скрипела под ногами; потому-то здесь никогда не было тишины. Сквозь едкий дым, как в бане, горела тусклая лампа. Прошел, остановился в низеньких дверях, пригнул голову, чтобы не удариться и спросил:

— Здесь кто?

В углу за столиком сидел, опустив голову на грудь, комиссар Чека Сверлов, старый балтийский матрос. Рядом лежал большой «Маузер». Пугачев внимательно посмотрел на комиссара и сощурился.

— Спишь, что ли?

Сверлов поднял голову, взглянул опустевшими зрачками на председателя. На лице его, изъеденном оспой, чернел прогнивший рот, охваченный с двух сторон глубокими, горькими складками.

...В следующей комнате было людно. Следователь Пришвин, тонкий, худой, в дырявых сапогах, с большим шрамом через все лицо, что разделяло его лицо на две совершенно разных части — допрашивал арестованного. Последний, выпучив испуганные с поволокой, черные, бараньи глаза, уставился в рот Пришвину, ежеминутно хватался за голову и издавал все время один звук: у-у-у, точно пугал ребенка.

Во второй комнате без окон горела, как и в первой, такая же скучная, пыльная лампа. Молодой парень Митька держал в руке «Наган», смотрел устало на потный, в предсмертной агонии, свет, и на лбу его бродила тень от упавших волос. Когда допрашиваемого увели и звук у-у-у донесся в последний раз глухо, будто кто-то кричал в подушку, Митька, не отводя глаз от лампы, спросил следователя:

— Когда Карпову разменяют?

— Неизвестно. А тебе зачем?

Митька оторвал глаза, устремленные вверх, бросил их в сторону Пришвина, затем в пол и ответил:

— Да, так... — он щелкнул пальцами. — Хорошая баба... — Показал улыбку, оголив белые зубы. Но в следующую секунду смех растаял под угрюмым взором Пришвина. Следователь махнул рукой вверх, потом вниз и выкрикнул скрипуче на горле.

— Ты, того... Не балуй! Смотри, еще самого разменяют... — Он круто отошел к Пугачеву, шагавшему вдоль стены, усеянной серо-белыми засохшими бугорками и кочками человеческих мозгов.

Ввели человека в темно-серой рубахе, и рукав у него был засучен по локоть. Волосы, взъерошенные, дыбились и лезли друг на друга. Казалось, что на голове его одет парик. Пришвин сказал:

— Коровин!

Человек молча прошел к стене, стал, откинулся затылком в большой теневой круг своей же головы, широко перекрестился и прохрипел:

— Есть! — Это был морской офицер. Пугачев, стоявший в дальнем углу, украденный тьмой, поднял «Наган». У бывшего морского офицера дергался левый глаз. Когда же плюхнул выстрел, Пугачев услыхал, как звонко треснул череп, точно гнилой грецкий орех. В соседней комнате кто-то взвыл протяжно, страшно: — Ай, ай, ай... — Это инженер Гринбаум, полный мужчина лет 40, страдающий одышкой, ожирением и сахарной болезнью, приседал, будто собирался пуститься в пляс и бил кулаками себя по голове. Потом Гринбаума потащили красноармейцы мрачно и грозно. Четверо солдат приложили к плечу винтовки. Повторился выстрел, еще один, еще, как крупозный кашель. Этот кашель пролезал сквозь потолок и шмыгал по комнате, где, прислонясь к окну, стояла Клавдия Антоновна, закрыв уши обеими руками. Когда щелкание умолкло, она опустила руки;

неуверенно, с тоскливым ожиданием прислушалась к истерзанной ночной тишине.

Через час Пугачев поднимался по скрипящим лестницам. Он дошел до верхней ступени, остановился и, вспомнив, как перекрестился морской офицер, сказал себе:

— Жирно крестится... — Сам того не сознавая, Пугачев поднял вдруг руку и по старой многовековой привычке, переданной ему неведомо кем, чуть было сам не перекрестился. Три пальца его сошлись так, как сходились людские пальцы в течение 19 веков. Но он разжал руку, толкнул кого-то ненавистного в темноте и крикнул: — Ишь, сволочь, даже забыть не могу.

III.

В три часа зимней декабрьской ночи, когда мороз скрипел и рассыпался песочным снегом, Пугачев сидел и слушал, как следователь Пришвин допрашивал арестованного графа Панина. Следователь добросовестно и подробно записывал показания графа. Пугачев же сидел поодаль, смотрел, не мигая и не отводя глаз, в лицо допрашиваемому. Взгляд этот был до того неподвижен и слеп, что Панин то-и-дело поворачивал голову из стороны в сторону. И все же возвращался к остывшим глазам Пугачева, пугался их мертвого блеска, странного, жуткого, ерзал, запинался, путался и, наконец, искаженным голосом шептал:

— Да, да... То-есть, я никакого участия не принимал... Мне и лет много.

— А что вы скажете о письме генерала Постовского, найденном в стене?.. — спросил равнодушно следователь.

Лицо Панина вытянулось, напомнило сразу лошадиную морду, мелко задрожали усы. Панин стал отчаянно озираться. Но с одной стороны— были страшные глаза Пугачева; с другой — глухонемое лицо часового, непринужденно облокотившегося о спинку стула. А Пришвин выжидающе супил брови. Тогда Панин потер рукой ногу и бессвязно прошептал:

— Не знаю, не знаю... Делайте, что хотите!

Пугачев крепко ворочал мысли в голове. Он спрашивал себя: мог ли думать граф Панин, что Гришка Пугачев, пятнадцать лет назад служивший в графских конюшнях, будет допрашивать его сиятельство?.. Не узнает, да и не знает он меня. А отца моего знал, и деда, прадеда...

Липкая испарина выбилась на теле Пугачева. Пугачев вспомнил, что в имениях Панина отец его был убит в 1906 году во время крестьянских восстаний и был брошен в ров, где его сожрали голодные волки. Пугачев вспомнил, что дед его был засечен по приказанию деда Панина до смерти за одно только сходство с Емельяном Пугачевым. Пугачев вспомнил, что прадед его был собственноручно повешен графским предком на суку сосны, за то, что не уследил за зайцем, хотя, возможно, и за то, что бунтовал. И, совершенно неожиданно в его мозгу возникли подлинные слова

любимой книжки:.. «ударил самозванца по лицу до крови и вырвал у него клок бороды»... Тоже ведь Панин.

Пугачев поднялся. Панин стал вдруг скучным, плоским и совсем обыденным, как привычка, словно расстрелянный час назад спекулянт золотом. Тот мародер и враг, а этот заговорщик, граф и тоже враг. Оба одинаково опасны.

Долгие годы Пугачев думал над тем, что он потомок Емельяна и что знаменитый предок его не умирал, а, казненный, прошел века и остался живым поныне. И если его, Григория Пугачева, казнят вторично,— раз он был уж обезглавлен на Болоте в лице Емельяна,— то все равно он не умрет, он вечен...

...Побледневшая ночь убегала от окна. Рассвет боролся с ночью за обладание четырехугольником окна.

В комнате густело нестерпимое молчание. Пугачев читал протокол графского допроса, а между строками оживали другие показания. Последние складывались четко и жестко: потомок Емельяна Пугачева, чью судьбу впервые решил Панинский удар, теперь перерешал ее сызнова; вынося смертный приговор ярому вековому врагу своему, потомку Панина, любовника Екатерины... Вся эта живая история времени прошла перед Пугачевым, словно перед его глазами тянули нитку. Когда же нитка оборвалась, он сказал:

— Самое злое — дворяне. Их, белую эту кость, жалеть нельзя... У нас буржуи еще не крепки, а вот дворяне, они крепкие, они... если революция может погибнуть, так только через них...

Пришвин положил голову на руку и смотрел вдоль стола.

— М-да... Верно, пожалуй... Только сила их никакая...

Оба умолкли, очевидно, о чем-то упрямо задумавшись. Пришвин закрыл глаза. Из продранного локтя его рукава вылез клок грязной рубахи. Пугачев поглядел на Пришвинский локоть и неожиданно спросил:

— Ты зачем рваный ходишь? Мороз лютый, а ты в какой-то кацовейке... Дырки везде...

— А не все ли равно, — спокойно ответил следователь. — Все одно, что так, а что и не так... Тут вот вчера одного мужика я допрашивал, а он, знаешь, вдруг и говорит: скажи, говорит, товарищ, что есть такое человек? Слыхал? И почему, говорит, у одного мозги — целая голова и ум во всего человека, а другой умом не в голову, а в обратное место... Отчего один Ленин и один Троцкий, и отчего нас, холуев, так много?.. А мужичок-то из бандитов, восемь коммунистов сам зарезал... Хорош, а?.. Вот где дырка, настоящая дыра, пусто, понимаешь?..

— Ты все мудришь, — перебил его Пугачев. — Ты лучше вот что: утром возьми себе комплект обмундирования, — совестно смотреть на тебя... Сейчас черкну.

Следователь поднялся и виновато посмотрел на Пугачева.

— Пугачев, а Пугачев, отпусти меня на фронт, будь товарищем, по-коммунистически, отпусти, брат, душа, понимаешь, тоскует... Я знаю, там

коммунисты, распределение, где важнее... Но ведь это теория, а я по-товарищески, будь другом, уважь!.. Не могу больше допрашивать. Окопался здесь и подлость чувствую в себе... Отпусти!

Пугачев молча сел, откинулся на спинку кресла, взглянул устало, бегло на выжидающие морщинки на следовательском лбу и сказал:

— Знаешь, кто Панин?.. Не знаешь? Это ведь... — председатель неуверенно улыбнулся и погладил бумагу. — Я-то сразу узнал его...

Пришвин, смутно понимая слова Пугачева, спросил:

— Ну, так что?..

Тогда Пугачев схватил его за руку и заговорил быстро, поспешно, глотая набегающую слюну. Потом он начал рассказывать спокойнее. В комнате же становилось серо, сумрачно. Из угла выступил тяжело и напористо желтый шкаф, заваленный книгами.

Есть на берегу Волги маленькая деревушка. Лет ей много, очень много. Сжигали ее десятки раз, никак она умирать не хотела. В этой-то деревне во время Пугачевщины жил старик Аким Худой. Имел он красавицу внучку. Как звали девку, неизвестно.

Однажды ночью, когда за узеньким окном, выходившим на Волгу, бушевала непогода, а старик Аким Худой тихо охал за печкой, в дверь кто-то постучал. Путника пустили в избу и дали ему ночлег. Старик же Аким, хоть ничего не говорил и ни о чем не спрашивал, долго глядел на гостя и все время открывал рот, желая, очевидно, что-то спросить. Но, видимо, голоса не хватило. А девушка, уйдя в соседнюю парадную горницу, украдкой смотрела в щелку на блестящие, черные, колючие глаза пришельца и белое пятнышко у левого его виска. Потом она услыхала, как гость что-то шепнул деду, после чего старик бухнул на колени, уткнулся головой в ноги пришлому и шепелявил:

— Государь мой, батюшка, прости!..

Приглянулась ли гостю с первого взгляда девка, может статься, что и она его полюбила, только ночевала она в его горнице. А старик Аким крестился на печи беспрестанно в течение всей ночи и мурлыкал:

— Господи, господи!.. — и грел свои старые, совсем уж высохшие кости.

Рано утром гость подошел к окну, посмотрел на приутихшую Волгу, нежившуюся под бледным, хилым солнцем, и сказал:

— Ширь-то, ширь какая, благодать... Матушка Москва, гостя жди званого!.. — Он погладил черную свою бороду и обернулся к девушке. Через некоторое время он снова посмотрел в окно. Солнце скрылось, прибежала туча; Волга почернела, как лицо человеческое в горе. По реке плыла баржа, на которой стояла виселица и покачивались трупы... Гость приложил лицо к окну и простоял так очень долго, пока не скрылась баржа из виду. Об этих повешенных ему говорили, но увидеть их только сейчас

пришлось. Он отошел от окна. Перед ним выросла девушка; скрестивши руки на груди и, пригнув голову, она следила за тем, как изменялось его лицо. Тогда гость бледно улыбнулся, и у него задрожала скула.

— Ну, прощай, — сказал он, хмуро смеясь, — мне пора... Верно, буду в стороне твоей не скоро. Жди меня! А может, я тебя ждать буду... — Он поцеловал девку и вышел к старику. Девушка слышала, как старик с гостем о чем-то шептались, затем вздохнула тяжко дверь, и в окне на минуту мелькнул дорогой человек. Потом дед ее, Аким Худой, стал перед ней на колении и долго не желал подняться.

— Матушка, государыня!.. — твердил Аким и тряс худой шеей.

Вскоре деревню сожгли. Аким Худой с девушкой ушли неведомо куда. О госте никто не знал. Через год из пепла и грязи снова выросла деревня. У девки родился сын; сама же она умерла. Мальчика отдали людям. Старик Аким перед своей смертью покаялся и все рассказал. Приезжал правительственный чиновник, но старик уж был мертв, и с него не спросилось, а ребенка переправили к киргизам. Мальчик вырос. Звали его Емельян Емельянович Пугачев, вольный уральский казак. У него, как и у отца, было белое пятнышко на виске, только на правом. От него и пошли Пугачевы.

Пришвин отодвинулся. Каждое слово входило в его мозг не ясным, ползущим зверьком. Он смотрел в глаза Пугачеву и вяз в них, будто в бархатной, синей тине.

Пугачев рассказывал о том, как пытали Емельяна, как за кисти рук привязывали к виселице, как стегали плетью и как бабы в обморок падали от взгляда самозванца.

— Панин знал, что делал... — говорил страстно Пугачев. — Отца, значит, во рву, деда до смерти розгами, этого на суку, а того на Болоте... Век шел одной дорогой. А Емельян не дурак... Понимал он, может, и плохо, а понимал, что к чему... Весь смысл отгадывал, не даром на смерть воевали... Не умер он. — Торжествующе закончил Пугачев. — Жив, жив... Голову ему отрубили, а ну-тка, мою пусть рубанут, попробуй!.. — Он указал на шею и покачал головой. — Не отрубят... А теперь, что с ним, с Паниным этим делать?..,

— Ты что говоришь, — привстал следователь, — ведь то бунт, понимаешь, бунт, а сегодня восстание, победоносное восстание класса... Разница тебе ясна?..

— Так-то так, — покачал головой председатель, — только корень он там, глубже... Корень один, с того и началось, пожалуй, даже раньше...

Оба долго молчали. На уровень с окном встала снежная глыба. Следователь рассматривал чернильное пятно и щурил глаза, Пугачев сказал:

— Посмотрел на Панина, пакостно стало... Жить умел, а умирать не может, не умеет... Дрянь человек, и бледнеет, и синеет, совсем паршивец. Вроде как потертый пиджак, грош ему цена...

Пришвин ткнул пальцем в чернильное пятно.

— Ах, чорт,— воскликнул он,— так человек страдать нынче изловчился, так к нему привык, что перестал понимать значение самого страдания... Ты пойми, его, человека-то, сотни лет разные писатели учили понимать страдание... Всю жизнь на это ухлопали. Хвать и ничего, точно оглоблей по голове... Ах, чорт!.. — Он сжал рот и начал усиленно стирать пятно с бумаги.

IV.

Рано утром привели женщину, бившуюся долгие часы в комендантской за свидание. Была она старенькой, седенькой и сморщенной, как сильно потрепанная книга. Маленькая, хрупкая, игрушечная, точно из воска вылепленная, она так долго и жгуче выплакивала молча свои слезы, не отводя глаз от лица коменданта, что последний, наконец, дал ей пропуск к Пугачеву.

Как вошла она к председателю, так и бросилась на колени. Ничего не говорила, а только тряслась, и половица под ней поскрипывала.

Пугачев усадил ее в мягкое, большое кресло. Сидела она словно маленький ребенок, влезший на чересчур большую вещь (и сидеть страшно, и слезть боязно). Терла одной рукой другую; дрожала у нее ресница на левом глазу; голос срывался после каждого слова. Пугачев посмотрел внимательно на ее ресницу и вспомнил серого человека с засученным рукавом. Он явственно услыхал неповторимый треск черепа и отрывисто спросил:

— Вы по какому делу? — Старушка сразу стала меньше и тоньше, будто тающий воск.

— Я... Я по делу... — она проглотила слюну, — Коровина, морского офицера, 8-й день сидит...

Пугачев прервал ее.

— Ну, что же, ему плохо?..

Она безнадежно смотрела в лицо председателя и беззвучно плакала. Черты ее лица совсем не менялись. Гуськом сползали слезы по желобкам морщинок, и старая, запыленная, давняя пропускная бумага на столе начала промокать в разных местах.

— Я на счет свидания... Увидеть сына. Еды ему немного и подушку, отнести подушку, он без подушки, так я... подушку отнести...

Пугачев взглянул на окно, затем на старуху.

— Сыну много лет?

— Двадцать девять. — Старуха ожила, и все ее морщинистое лицо выразило безмерную благодарность.

— А по какому делу взят?

— Заговор будто...

Пугачев сорвал с лица своего выцветшую улыбку, и лицо старухи сразу же стало мутным и скорбным.

— Хорошо, хорошо, — сказал председатель, — подумаю... Пока свидания дать нельзя... Невозможно. — И вдруг он опять услыхал незабываемый треск черепа. Тогда он резко поднялся, вышел из-за стола. — Коровин, говорите, сын ваш? Так сказали?.. — Расстрелян сегодня в ночь... Расстрелян, — повторил он жестоко и просто. Старушка пощупала пыльный плюш кресла, поспешно сползла на пол, подошла медленно, вяло к плотно прикрытой двери, взялась за медно-рыжую ручку, потянула к себе. Когда дверь скрипнула, старуха вздрогнула, будто испугалась. Она быстро обернулась.

— Так свидание будет... Мне ведь только подушку отнести, подушку...

Ей показалось, что это не она сказала, а кто-то рядом стоящий. То же самое почудилось и Пугачеву. У нее дергалась ресница, а на рукаве болталась большая пуговица, висевшая на последней нитке. Она постояла несколько секунд, потом боком вышла в дверь. Деревянный каблук три раза простучал в соседней комнате. И вдруг стук оборвался, что-то тяжелое, тупое и страшное грохнулось на пол. Через пять минут мечущуюся старуху уносили красноармейцы. Она выла пронзительно тоненько и жутко одной нотой, как кошка, на которую наступили ногой. Когда ее проносили в дверях, упала оторвавшаяся от рукава пуговица и покатилась.

Пугачев же выслушивал хилого, маленького, веснущатого человека, с облезлой волосяной шкурой на лице, руках, голове — брата вчера ночью расстрелянного инженера Гринбаума — и барабанил пальцами по столу.

— Так, так... — сказал он, когда проситель умолк.

V.

Раненько, когда петухи — только-только криком своим вспутнули первый рассвет, нескольких арестованных женщин погнали из подвала мыть полы в Чека.

Лидия Карпова, перебегая двор, продрогла от холода и еще от того, что не успела отрезвиться со сна. В дверях она зевнула уверенно и бодро, хрустяще потянулась и потерла серый, красивый глаз. Лидия Карпова, или Лидка Карповна, была арестована пять дней назад. Во время пребывания белых в городе она пошла служить машинистской в контр-разведку и предала коммуниста Х. Когда же город снова заняли красные, она пряталась у друзей и знакомых в продолжение двух месяцев, пока черноокий Ливанов, чекист, не увидел ее в окне. Она же его не успела заметить, оттого арест был неожидан как для нее, так и для друзей.

Лидка Карпова пятый день сидела в подвале и не знала, что подпоручик Игнатьев, кому она выдала коммуниста Х, повешенного затем на Смоленской площади, — уже давно «разменен» белокурым, молодым Митькой.

Она знала, что белые наступают и фронт находится в 25 верстах; об этом передавали каждые полчаса и все по новому, разному, так что в голове была невероятная путаница. Лидка надеялась на то, что в Чека не знают

о ее предательстве и еще на то, что белые придут раньше, нежели ее... выговорить последнее слово и даже подумать о нем было беспримерно страшно. И Карпова царапала ногтями свою потемневшую ладонь. За первые два дня, проведенные в подвале, Лидка сильно похудела, глаза ее упали глубже в черепную коробку, а возле прямого носа сели две старенькие морщинки.

Шпоры подпоручика, белый околыш, прекрасные цветы и шоколад «миньон» потеряли и цвет, и вкус. Давно забытые, они валялись в памяти невысказанным проклятьем. Вспоминая танцы на балу, когда в душных объятьях Игнатьева так сладостно кружилась голова и изнывала еще упругая почти девичья грудь под кофточкой, Лидка закрывала глаза и видела пустую дыру, залитую кровью. Заплетая на ночь толстые белокурые косы она с ужасом шептала: почернеет в земле. И плакала так, как в те дни, когда не хотела итти в гимназию. Все же где-то в глубоком, потаенном уголке души ее, маленькой злобной души, жила убогая, но яростная надежда — авось не расстреляют, авось придут белые раньше... А подпоручика Игнатьева уж наверное не поймают.

Днем среди женщин шли разговоры и долгие ссоры из-за пустяков; ночью же сон одолевал на грязном полу у сырой стены, с которой немилосердно стекали холодные, тучные капли воды, как слезы. Утром болела голова до того, что Карпова просила смерти. Обхватив ноющие ноги руками, она сидела и часами покачивалась.

На четвертый день, ночью погнали мыть полы. Она тонкими пальчиками холеных, белых рук, с остренькими загрязнившимися ноготками, подолгу выкручивала тряпку. Затем смотрела в окно на взошедший зимний день, и сердце ее сжималось, как льдинка в тепле, от вкрадчивого страха и мучительной жажды жить. На сырой пол падали жирные слезы и смешивались с грязной водой. Потом раздавался хриплый окрик человека, лицо которого почернело от угрей и грязи, а уши оттопырились, будто собирались отвалиться.

— Чего стала? Ты мой пол!..

Лидка снова склонялась над полом, держа в руках отяжелевшую от грязи тряпку и изможденно думала о старой матери, пропавшей два года назад, маленьком братце, корчившемся сейчас от голода, белых, больших хризантемах и о своей страдальческой, загубленной молодости.

В это утро, как вчера и третьего дня, Лидку оставили в комнате наедине с опухшим, ржавым ведром и большой, разодранной тряпкой. Лидка нагнулась над ведром, увидела в воде свое качающееся, вздрагивающее отражение. Ей показалось, что там барахтается живая голова. Она поправила мокрой рукой волосы, посмотрела на исколотый, потемневший большой палец, горечь незаслуженной обиды захлестнула ее.

— За что, господи, за что? — спросила она громко.

В это утро за работами следил Митька — белокурый парень со вздернутым носом, редкими усиками и карими глазами. Он увидел через открытую дверь изогнутый женский зад, оглянулся и пошел в комнату.

Недавно 18-тилетний Митька во главе отряда в 40 человек зарубил целую казацкую сотню; теперь же он ступал крадучись и думал:

— Не надо, не надо!..

Подойдя к Лидке, он дотронулся до ее бедра, поскользнулся окрепшей, возбужденной рукой в сторону ляшек и почувствовал сладкую дрожь в коленях.

— Тебе что? — обернулась Карпова.

— Я... Тебе сказать хочу... — со свистом произнес Митька. Глаза его блестели, а в уголках рта пенились слюнные пузырьки.

Лидка знала его давно, часто шутила над его молодым задором и ненавидела его глубоко и полно. Она отодвинулась. Митька вытер рукой рот и мерцающим голосом проговорил:

— Тебя расстреляют... Знают все, ты выдала...

Лидка попятилась назад, ухватилась руками за блузку, потянула ее. Треснула кнопка и оголенное плечо бурно заплясало. Митька же, наклонясь вперед, задыхался.

— Игнатьев того... Ты слушай, я все могу... Во дворе яма есть, я холостым выстрелю, а ты в яму упади, понимаешь, в яму... Что рот разинула?... Сегодня в ночь, готовься... — Он подвинулся совсем близко и трудно задышал. Взял ее мертвую, словно приклеенную руку и опять пьяно зашептал: — Поняла? Согласна, говори...

Она посмотрела на его блестевшие глаза, потом на отвисшую губу, залитую слюной и увидела пустую дыру в кровавом окружении.

Тогда Митька потянул ее к двери. В соседней комнате стоял диван. Карпова скользнула по нем взглядом, потом увидела танцующие Митькины руки и взялась за кофточку.

Он отстегнул застежку на спине ее и вдруг схватил Лидку дико и цепко, повалил на пол и стал рвать узкое белье...

Она оправила юбку, вытерла ногу, поднялась... Потом вернулась к оставленному ведру, поглядела в грязную воду и улыбнулась тихо и безумно.

— Спасет.

Стоявший сзади Митька услышал этот шопот. Он почувствовал сухость своих губ. Тогда он сильно ударил себя по ноге и выбежал в коридор.

— Вымыто, — донесся его окрик.

Лидка намочила тряпку, выжала ее, бросила на пол. Снова подняла, расправила и опять сунула в воду. И вдруг схватилась за голову и неистово закричала.

Прибежавшие женщины нашли Карпову лежащей посреди лужи ничком. Она билась головой и скрежетала. Изредка вырывался вопль.

— Боюсь!.. — на оголившейся ноге, словно приутюжено, лежал хвост загрязненного белья с вычурной бахромой.

Митька взглянул на голую ногу, рисунки вычурной бахромы и впервые почувствовал страх. Он твердо понял, что она его предаст. Он съежился,

будто от холода, и с суровой тоской посмотрел на обнаженное тело Карповой. Почувствовав в душе отвращение и страх, он отвернулся.

Через два часа Лидка Карпова, сидя в углу подвала, захлебываясь говорила:

— Он спасет... Так и сказал: яма, говорит, вырыта, ты упади в нее, а я холостым стрелять буду...

Какая-то простоволосая женщина — спекулянтка с впавшим носом и красными, мясистыми щеками, размахивала, несоразмерно с телом, огромными ручищами и гундосила, показывая синеватые десна:

— Ты что его, кобеля, слушала?.. Он только так, молодостью твоей сиротской не погнушался... Теперь какие времена?.. Не то, чтобы слово выговорить по-людски, нет же, сразу, сволочь, юбку задрал на голову и хвакты хватает... Весь разговор тут...

Карпова побледнела и отодвинулась.

— Н-нет... он не солжет, правду сказал...

— А мы посмотрим, — резонерствовала спекулянтка, — ежели тебя чиркнут, значит сбрехнул... — Женщина кликушечьи заголосила: — сирота ты моя разнесчастная, и какая тебе выгода, теперь любовь только промежду ног бывает, чего ждешь?..

Рядом сидела другая женщина с широким ртом мопса и золотым зубом, желтевшим в ряде черных, сгнивших корней.

— Вы бы, Лидия Алексеевна, отписали куда следует, хоть самому Пугачеву, а там видно будет... Может, и поможет...

— Правду... Он правду... — тянула неуверенно Лидка.

Из угла раздался злой, надменный голос:

— Чего кудахчете? Что она мужчину не видала? Курва она — вот что. Она и мужчин имела больше, чем у тебя, старая ведьма, волос на голове... Чего кричите, зачем паренька губите, вороны, стервы!..

Через пять минут арестанток разнимали красноармейцы. А часовой, худой, прыщеватый, толкал в спину спекулянтку, приговаривая:

— Конца нет на вас...

Спустя немного арестантки снова пристали к Карповой с требованием «отписать, кому след». Лидка посмотрела на сгрудившихся женщин, перевела взгляд на решетчатое под потолком подвальное окно и тихо, упрямо сказала:

— Врете, не солгал... — Она подняла с пола спичку и начала подчищать остренькие, грустные ногти.

VI.

Приложив щетинистую щеку к холодной, сморщенной, масляной краске стены, сидел Панин и беззвучно шептал землистыми губами. За ночь он постарел, стал пепельным, дряхлым. По виску прошла глубокая цара-

пина, из нее сочилась кровь. Он скосил глаза на тупой угол и страдал. Изредка как бы невзначай, он стирал рукой кровь с виска и размазывал ее по всему лицу так, что вскоре лицо его напоминало кровоточащую маску.

Напротив Панина сидел рыжеватый, сгорбленный еврей с седлообразным носом, усеянным множеством красных жилочек и ниточек, и смотрел себе под ноги. Ему недавно принесли провизию, и узелок лежал тут же, насторожив свои белые уши, словно испуганный заяц. Еврей, арестованный за покупку пяти краденых гаек, думал над тем, что у него дома в настоящее время много и горько плачут. От этой мысли ему стало непомерно тяжко, он сгорбился еще пуще. Вся его тщедушная фигура выражала столько безмолвной тоски, столько крутого отчаяния, что соседи невольно старались отвернуться и не глядеть на него.

Однако все здесь сидевшие, как и лежавшие, над чем-то молча думали; печально и страшно ворочали в своих головах боязнь поверить в то, что подвал этот есть и будет концом нелепым, жутким, но концом. Недавно передали последние сведения: фронт в 10 верстах, все коммунисты мобилизованы. Эти известия принесли крохотную надежду и потрясающее опасение: а что если этой ночью придет конец... Самое же ужасное для человека — не говорить, а думать о смерти.

Сквозь решетку окна вполз день, двинулся в темные углы, желая осветить их. Напрасно,— до мрачных концов этой четырехугольной обширной могилы свету не суждено было добраться. Он погибал на половине пути. А у стен было черно и смрадно, и несло затхлой сыростью. Люди потеряли свои очертания, приобретя уродливые формы теней. И сгустки тоски, как крови, лежали возле них.

Человек седеющий говорил медленно, тихо, будто баюкал ребенка. В такт своей речи он ударял себя по сапогу. Уши его при каждой паузе хлопали, как у лошади.

— Рискуешь сегодня, рискуешь завтра... А для чего? Был раньше фабрикантом, разорили меня... Стал торговцем, арестовали, так... Потом освободили, и я занялся торговлей на лотке. Вы ж, понимаете, человеку с фантазией и способностями — лоток. Это ведь все одно, что адвокату заикаться, так... Но ведь жить надо. Жена, трое детей, старуха мать, что поделаешь?... Я ведь ни к чему не способен, как ремень без пряжки, не гожусь никуда так.— Человек взмахнул рукой, погладил затылок.— Вшей, извините, наберешься здесь — на мертвеце столько этих пакостей не бывает. Вошь — в пятак величиной. Три дня назад арестовали. Говорят, завод расхищали. Откуда, спрашивается, я знаю, что мне продают, краденое или нет... Вот и Зильберберг по этому делу, так. — Человек умолк и выжидающе уставился на соседа. Видно было по его унылому подбородку, что он ищет успокоения. Сосед его поправил солдатскую шапку с поломанным козырьком, порылся волосатыми руками в корзинке и задумчиво проговорил:

— Говорят, дезертир, ну, а дальше что?.. Я, может, людей жалею...— Он вытащил две помятые папиросы, разгладил их, протянул одну соседу идобавил: — Покурим.

будто от холода, и с суровой тоской посмотрел на обнаженное тело Карповой. Почувствовав в душе отвращение и страх, он отвернулся.

Через два часа Лидка Карпова, сидя в углу подвала, захлебываясь говорила:

— Он спасет... Так и сказал: яма, говорит, вырыта, ты упади в нее, а я холостым стрелять буду...

Какая-то простоволосая женщина — спекулянтка с впавшим носом и красными, мясистыми щеками, размахивала, несоразмерно с телом, огромными ручищами и гундосила, показывая синеватые десна:

— Ты что его, кобеля, слушала?.. Он только так, молодостью твоей сиротской не погнушался... Теперь какие времена?.. Не то, чтобы слово выговорить по-людски, нет же, сразу, сволочь, юбку задрал на голову и хвакты хватает... Весь разговор тут...

Карпова побледнела и отодвинулась.

— Н-нет... он не солжет, правду сказал...

— А мы посмотрим, — резонерствовала спекулянтка, — ежели тебя чиркнут, значит сбрехнул... — Женщина кликушечьи заголосила: — сирота ты моя разнесчастная, и какая тебе выгода, теперь любовь только промежду ног бывает, чего ждешь?..

Рядом сидела другая женщина с широким ртом мопса и золотым зубом, желтевшим в ряде черных, сгнивших корней.

— Вы бы, Лидия Алексеевна, отписали куда следует, хоть самому Пугачеву, а там видно будет... Может, и поможет...

— Правду... Он правду... — тянула неуверенно Лидка.

Из угла раздался злой, надменный голос:

— Чего кудахчете? Что она мужчину не видала? Курва она — вот что. Она и мужчин имела больше, чем у тебя, старая ведьма, волос на голове... Чего кричите, зачем паренька губите, вороны, стервы!..

Через пять минут арестанток разнимали красноармейцы. А часовой, худой, прыщеватый, толкал в спину спекулянтку, приговаривая:

— Конца нет на вас...

Спустя немного арестантки снова пристали к Карповой с требованием «отписать, кому след». Лидка посмотрела на сгрудившихся женщин, перевела взгляд на решетчатое под потолком подвальное окно и тихо, упрямо сказала:

— Врете, не солгал... — Она подняла с пола спичку и начала подчищать остренькие, грустные ногти.

VI.

Приложив щетинистую щеку к холодной, сморщенной, масляной краске стены, сидел Панин и беззвучно шептал землистыми губами. За ночь он постарел, стал пепельным, дряхлым. По виску прошла глубокая цара-

пина, из нее сочилась кровь. Он скосил глаза на тупой угол и страдал. Изредка как бы невзначай, он стирал рукой кровь с виска и размазывал ее по всему лицу так, что вскоре лицо его напоминало кровоточащую маску.

Напротив Панина сидел рыжеватый, сгорбленный еврей с седлообразным носом, усеянным множеством красных жилочек и ниточек, и смотрел себе под ноги. Ему недавно принесли провизию, и узелок лежал тут же, насторожив свои белые уши, словно испуганный заяц. Еврей, арестованный за покупку пяти краденых гаек, думал над тем, что у него дома в настоящее время много и горько плачут. От этой мысли ему стало непомерно тяжко, он сгорбился еще пуще. Вся его тщедушная фигура выражала столько безмолвной тоски, столько крутого отчаяния, что соседи невольно старались отвернуться и не глядеть на него.

Однако все здесь сидевшие, как и лежавшие, над чем-то молча думали; печально и страшно ворочали в своих головах боязнь поверить в то, что подвал этот есть и будет концом нелепым, жутким, но концом. Недавно передали последние сведения: фронт в 10 верстах, все коммунисты мобилизованы. Эти известия принесли крохотную надежду и потрясающее опасение: а что если этой ночью придет конец... Самое же ужасное для человека — не говорить, а думать о смерти.

Сквозь решетку окна вполз день, двинулся в темные углы, желая осветить их. Напрасно, — до мрачных концов этой четырехугольной обширной могилы свету не суждено было добраться. Он погибал на половине пути. А у стен было черно и смрадно, и несло затхлой сыростью. Люди потеряли свои очертания, приобретя уродливые формы теней. И сгустки тоски, как крови, лежали возле них.

Человек седеющий говорил медленно, тихо, будто баюкал ребенка. В такт своей речи он ударял себя по сапогу. Уши его при каждой паузе хлопали, как у лошади.

— Рискуешь сегодня, рискуешь завтра... А для чего? Был раньше фабрикантом, разорили меня... Стал торговцем, арестовали, так... Потом освободили, и я занялся торговлей на лотке. Вы ж, понимаете, человеку с фантазией и способностями — лоток. Это ведь все одно, что адвокату заикаться, так... Но ведь жить надо. Жена, трое детей, старуха мать, что поделаешь?... Я ведь ни к чему не способен, как ремень без пряжки, не гожусь никуда так. — Человек взмахнул рукой, погладил затылок. — Вшей, извините, наберешься здесь — на мертвеце столько этих пакостей не бывает. Вошь — в пятак величиной. Три дня назад арестовали. Говорят, завод расхищали. Откуда, спрашивается, я знаю, что мне продают, краденое или нет... Вот и Зильберберг по этому делу, так. — Человек умолк и выжидающе уставился на соседа. Видно было по его унылому подбородку, что он ищет успокоения. Сосед его поправил солдатскую шапку с поломанным козырьком, порылся волосатыми руками в корзинке и задумчиво проговорил:

— Говорят, дезертир, ну, а дальше что?.. Я, может, людей жалею...— Он вытащил две помятые папиросы, разгладил их, протянул одну соседу идобавил: — Покурим.

В двух шагах сидел мужичок в армяке и лаптях, держал рукой остренькую бороденку, глядел голубыми глазами в муть стены. Он спросил:

— Что есть человек такое? Откеда вышел ен?..

Мужик повернулся к рыжему еврею, дотронулся до его рукава и повторил:

— Что есть человек такое? Откеда вышел ен?... — И, устремив глаза в потолок, поджал губы.

Рыжий еврей открыл узелок и вынул кусок хлеба. Панин приподнялся, поглядел воспаленными глазами на еврея, затем схватил его за руку, конвульсивно сжал пальцы и заговорил крикливо, резко. Он картавил, было похоже, что каркает ворона.

— Так и расстреляют... И все значит... Граф Панин, десятки тысяч крепостных, весь юг России мой, горы золота, блеск, слава, и... — он задыхался. — Пустота, понимаете, господин еврей, пустота и ничего больше... Ведь это жутко ...— Он стал крепче цепляться за рукав еврея, который сам являл собой груду горя и маленькую птичью голову.

Панин ухватился обеими руками за совершенно больного, ослабевшего Янкеля (Якова) Цинмана, рыжего еврея с седлообразным носом и вопил:

— Так, что же делать, господин еврей, что делать? Расстреляют, и ничего не будет, ничего... — Он затряс руку Цинмана. Последний сбросил хлеб на пол. Но во рту его остался непроглоченный и неразжеванный кусок. Он давился им и, выкатив глаза, качал головой в знак подтверждения графских слов.

— Ничего, значит, больше, ничего... — повторял Панин.

Он закашлялся, и на губы выступила густая кровь. Спускались сумерки, цеплялись за решетки. Панин поднял валявшийся на полу клок газетной бумаги, вынул из кармана карандашный обгрызок и что-то быстро записал. Затем спрятал записку в карман.

VII.

Митька чистил револьвер. Пришвин сидел, укутавшись в свою рваную шинель, усердно кашлял и не мог оторваться от большой, черной кожаной тетради.

— Ну и написал, и написал... — твердил следователь про себя.

— Кто написал? — обернулся Митька.

— Да, вот этот, граф-то...

Пришвин отложил тетрадь, вытянул из кармана жестяную коробку из-под сапожной ваксы, щелкнул крышкой. Затем скрутил «козью ножку» и долго, сосредоточенно насыпал в нее табак. По какой-то странной ассоциации он шептал латинские предлоги. Закурил, пустил струю дыма и снова взялся за графские записки.

Митька молча прочистил револьвер, собрал его, зарядил, сунул в кобуру, висевшую над задом. Он окинул взглядом мутноватую комнату и подошел к следователю.

— Ты ничего не знаешь? — запнулся он.

Пришвин поднял голову, глянул на пушистое лицо Митьки.

— Не мешай!.. Знаю.

— Что знаешь?

— Все знаю. И Пугачев знает, письмо получил...

У Митьки рьяно задрожали волосы на висках.

— Да ты скажи, в чем дело-то?.. Я ведь понимаю, глупость сделал, даже хуже... и как спутался, — он оттопырил руки, — не знаю... Две ночи не спал, из головы баба не выходила, а как... — Митька бросил руку, — противна стала.

Пришвин перелистнул страницу, не поднимая головы, придушенно ответил:

— Не глупость, преступление... Весь город об этом говорит. В Чека, мол, баб насилуют, за этим и арестовывают... — Следователь вскочил, лицо его налилось кровью, он ударил кулаком по столу. — Голова у тебя, дурак, где была?.. О чем ты думал, подлец!.. — Осекся, постоял, хрипло дыша, погладил шею у раскрытого воротника и уж совсем тихо добавил:— Твое дело. Иди к Пугачеву, пока не вызвал...

Митька перебирал рукой револьверный шнур. Нечаянно он наступил на шнур штепселя. Погас свет.

— Не балуй! — бросил Пришвин, прилаживая штепсель. — Отвечать сумеешь? — спросил он строго. Митька утвердительно кивнул головой и медленно побрел. Верх охотничьего сапога на одной ноге пригнулся, а сзади на брюках зияла маленькая белая дырка. Следователь проводил неподвижным взглядом уходящую спину, увидел мелькнувшую дырку и подумал:

— Такой величины дырка бывает от пули. Дурак!..

Митька вошел в кабинет председателя. Остановился возле дверей, разглядывая угрюмо и молча толстую ножку письменного стола. Пугачев, писавший приказ, поднял голову, сощурился и встал.

— Ты зачем это сделал?

Митька молчал. Тогда председатель вышел из-за стола, подошел вплотную в Митьке и шопотом спросил:

— Знаешь, что будет?

— Знаю, — глухо ответил Митька.

Пугачев отвернулся, увидел в окне пляшущее отражение лампочки и представил себе, что Митьки больше нет и не будет и что вместо него маленький кусочек свинца. Тогда Пугачев крикнул:

— Зачем бабу трогал?.. Что тебе... — он выругался, схватил Митьку за плечо и крепко сжал. — Дал бы я тебе два раза, чтобы неделю пролежал... — Он отошел к столу и позвонил. Нетерпеливо ожидая ответа, он забарабанил пальцами.

— Да, я, — злобно крикнул он в трубку. — Что так долго, арестовать прикажу...

Чей-то боязливый голос ответил, даже из трубки слова выскочили:

— Работы много.

— Конвоира прислать!.. — не вешая трубки и не оборачиваясь, добавил: — оружие положи на стол.

Митька, приплюснутый тяжестью так, что все тело его стремилось упасть в охотничьи сапоги, вынул револьвер из кобуры, повертел в руках и стал отвязывать шнур, который, как змея, обвился вокруг его ноги. Долго не умел развязать толстый узел. Потом, глядя себе под ноги, двинулся к столу, положил револьвер, погладил рукоятку, словно любимую женщину, нежно и ласково, дрожащими пальцами и вернулся к дверям. Оперся о косяк, прикрыл рукой то место, на котором минуту назад висело оружие.

Пугачев взял со стола револьвер, осмотрел его.

— Вывез я тебя с фронта, хороший был боец, учиться ведь собирался... Эх, ты, зачем подгадил, а? — В голосе председателя Митька уловил сгущенную тоску. Он ясно осознал всю важность своего поступка и важность того, что ему еще следует сделать. Тогда он нахмурился, плотно сжал губы, и на подбородке его обозначилась ямка—не то детская, не то страдальческая. Он почуял, что скоро будет конец, и ему совсем не стало от этого страшно. Он вспомнил степи, по которым пришлось день и ночь отступать под зноем летнего, палящего солнца, и ему стало тупо больно, будто от укуса.

— Молчишь, выходит?..—спросил Пугачев. — Хорошим был чекистом... — Председатель придвинулся к Митьке совсем близко. — В городе много болтают, а фронт, знаешь ведь, совсем близок. Понял?..

Митька еле заметно пошевелил губами. Ему хотелось спросить Пугачева только об одном: является ли его поступок предательством. Но сказал он совсем другое.

— Прости, товарищ Пугачев, я ведь... — он откашлялся и заговорил уверенно, но с легкой дрожью в голосе.

Когда вошел конвоир, Пугачев стоял возле Митьки, смотрел неподвижно на ухо последнего и слушал спотыкающиеся слова, а Митька говорил о том, что он коммунист, настоящий большевик, что он имеет старуху мать, о которой он только сейчас вспомнил и что ему очень страшно, что приходится погибать от бабы...

— Лучше, как партизаном был, белые разменяли б, легче. — Он умолк и долго вытирал рот, полный кисловатой слюны.

— В первый подвал его сведи,—сказал председатель красноармейцу,— не в комиссарский, а в первый... — повторил он упрямо. Пугачев сел, бросил последний взгляд на бледный лоб Митьки, затем уставился на исписанный лист бумаги и замер.

В комнате звенела тишина. Сопел красноармеец, безучастно посматривая то на Митьку, то на Пугачева. Потом конвоир наклонил лицо и равнодушно сказал:

— Так что пойдем, товарищ!..

Пугачев долго писал, отодвигал от себя исписанные страницы, над чем-то думал, крепко наморщив лоб, и снова брался за перо. В мозгу его Митька сменял Панина. Когда Пугачев думал о Панине, было скучно. Когда же выплывал Митька, на мозг ложилась грозная тяжесть. Митьку Пугачев нашел в дивизии. Митька побывал с ним везде. В астраханских песчаных пустынях он вырос и окреп, обожженный солнцем и пулей. Для Пугачева он стал близким. Глядя на него, Пугачев часто думал, что вот этот сменит и крепко будет драться, не уступит. Свой под Царицыным, свой под Камышиным и Ершово, Шипово и Уральском, Одессой и Астраханью — он рос на глазах у Пугачева. Два года изо дня в день, два года, как непроходимая чаща, воспоминаний. А теперь пришла какая-то бессмысленная девка Лидка и все два года полетели в пропасть. Митька уж совсем не Митька, а что-то новое, ненужное, тревожное. Но ведь ему еще нет 18-ти лет. Пугачев снова придвинул к себе бумагу и начал писать крупными, уродливыми буквами:

> «Он, Митька Ксенофонтов, с китайцем продержался на церковной колокольне 16 час., как подоспели наши, и через это целая операция белых погибла, и еще полностью полк белый нами окружен был...»

Поставив последнюю точку, председатель закурил пайковую папиросу, немедленно же придушил ее и, вспомнив о Пришвине, поднялся.

Следователя, бывшего студента и сына мелкого буржуа, романтика и скептика, Пугачев очень ценил и любил. Иногда Пришвин был скуп на слова, а иногда говорил много. В дни «разговорные» он бывал подвижным, живым и весьма веселым. Мягкий по натуре, он в то же время был неумолимо жесток, когда дело касалось его логических рассуждений. В жизни он, наверное, мухи не убил. Но расстрелял лично много человек, ибо «логически выходило, что это необходимо». Раньше он был следователем при ревтрибе, но потом его назначили в Чека. Из помещения Чека следователь выходил очень редко. Проводил там круглые сутки, смотрел, слушал, записывал в маленькой тетрадке, а ночью, разостлав на столе рваную шинель, чутко спал, бормоча сквозь сон странные, непонятные слова. Однажды его Пугачев спросил:

— Ты что пишешь?

— Да так, для себя... Историю записываю. Всему свое оправдание...

— Опять брешешь?..

— Как сказать, не совсем, по-моему, тебе интересно будет прочесть лет через пять о красном терроре... Ну, не тебе, так комсомольцам учиться надо будет. Людей здесь всяких много было, ты их, небось, как куропаток, пострелял...

Пугачев улыбнулся.

— Много, это так.

— А ты зачем все сам делаешь? — спросил неожиданно следователь.

Пугачев посмотрел на свой ноготь и озабоченно ответил:

— Людей у нас мало, на фронтах нужны. Надо так, чтобы никаким делом не брезговать, черное, белое—все одно... И та и другая—революция.

...Пугачев застал следователя за чтением записок. Наклонясь над тетрадью, Пришвин изредка хихикал, сохраняя даже в смехе нахмуренный, вдумчивый лоб. Пугачев сел, расправил руки.

— Ты что читаешь?

Пришвин поднял голову и, глядя куда-то в сторону, ответил вопросом:

— С Митькой как?

Пугачев прикрыл чернильницу, плотно придерживая пальцами крышку, сказал:

— В городе неспокойно. Сколько времени?

— Четыре. Светать не скоро... Видишь, записки читать тебе стоит,— интересные; Панин писал, и про тебя...

В дверь просунулась голова.

— Товарищ Пугачев, к прямому проводу просят.

Председатель поднялся.

— Ладно, прочту. Днем не так усталость забирает. — Он потянулся. — А ночью чувствуешь...

VIII.

Была оттепель. Снег стал рыхлым, сырым и вытаптывался под ногами в белый асфальт. Кое-где на нем соткала узоры желтизна смерти. С крыш падали плашмя капли и ударялись о землю. Голые деревья, как живые существа, стояла под зимним чахоточным солнцем, покачивая белыми, стриженными головами.

Утром заседала коллегия Чека. Говорили отрывисто и кратко. В каждом слове была тревога, ибо там, — за Островской заставой — так называлась она — взметала рыхлый, холодный снег вражеская конница.

Также отрывисты и кратки были приговоры. На Митьке задержались немного дольше. Пугачев, хрипя не то от простуды, не то от тяжести, говорил о заслугах и молодости Митьки.

Аггеев, председатель губисполкома, наклонив голову, копался в большой черной гриве волос и говорил, слегка растягивая слова:

— Нельзя. В городе слухи разные идут. Все население мобилизовано на фронт, волнуется... Нельзя. Белые в 6 верстах. Пощадить Митьку нельзя, нельзя.

Пугачев желал было сказать совсем другое, ему хотелось рассказать о Митьке, спасшем целый полк от гибели, о белой кавалерии, гнавшейся за Митькой по пятам, о своем, близком, как собственное сердце, парнишке, столь отважно дравшемся с бандитами. Но Пугачев поморщился и проговорил:

— Что ж, товарищи, голоснем!

Днем по городу разливалась тревога, как желчь. В каждой подворотне кто-то испуганно шептал о том, другом и третьем. Беспрерывно ухала канонада, и пулемет трещал, словно лаял. А люди шли нескончаемой вереницей рыть окопы и вооружаться винтовками. Когда зажглись первые огни зимнего вечера, город, объявленный на осадном положении, притих, будто чего-то ждал. Так же рвались снаряды отчетливо и близко, и винтовочная стрельба отдавалась на жестяных крышах, точно по ним рассыпали горох. Темной ночью в редких местах слезливо блестели на снегу опасливые огни.

По улицам бродили постовые, слушали тревогу и зорко глядели в тьму. К штабу обороны подходили люди, молча брали оружие, так же молча и сурово шли на шоссе, где вражеские пушки рвали, терзали тело революции.

Мороз окреп и щипал, точно кусал. Неожиданно канонада затихла. Поскрипывали на снегу чьи-то спешащие упругие шаги. Изредка раздавался одинокий выстрел. Через час же грянул залп, один, другой, свирепо затявкал пулемет, и большой снаряд ударил в затылок театру. Потом ночь заплыла страшным шумом и визгом. Побежали люди. Зажглись костры, вокруг которых прыгали серые шинели, хлопая себя руками по плечам. До рассвета не умолкала стрельба. Когда же приползло утро с синей поволокой, на стене штаба обороны висел новый плакат:

> «Товарищи! Рабочие, крестьяне и граждане! Мы оставляем город. Белые банды придут расправляться нагайкой и пулей с рабочими и крестьянами...
>
> ...Товарищи, мы вернемся, мы придем освободить вас от белых бандитов».

Во второй комнате подвала сидели Пришвин и Сверлов. Матрос сплевывал большие сгустки черных мокрот. Руки его посинели от холода. Следователь жался в своей рваной шинели и цедил сквозь зубы:

— Холодно.

Тут же стояли красноармейцы, немилосердно матюкали друг друга, курили и дули себе на руки. Изредка они начинали плясать, отогревая окоченевшие ноги, и вспоминали далеких предков бога и апостолов.

В первом часу ночи приехал Пугачев с заседания совета обороны. Молчаливый он прошел во вторую комнату подвала, стены которой побелели от времени и человеческих мозгов. Не проронив ни одного звука, он простоял, созерцая мглу, минут пять. Думал он над тем, что город, очевидно, придется сдать, что нужно скорей кончать и отправляться в окопы и что надо еще хоть раз увидеть Митьку. Неизбежность падения города тесно сплелась в его мозгу с гибелью Митьки. Последняя как бы символизировала первое. Пугачев вспомнил о Панине, но этот образ ничего не вызвал в его душе.

— Через час, — сказал Пугачев следователю, — выступишь с отрядом на Землянское шоссе... Ты, кажется, был офицером.

Ввели Митьку. Он виновато взглянул на Пришвина и остановился, низко потупив глаза. Сверлов поднял стакан спирта.

— Выпей!

Митька покачал головой. Матрос подержал стакан в воздухе, затем опустил его на стол и отодвинул от себя. Пришвин протянул руку.

— Прощай! — сказал он, глядя на землю.

Митька пожал протянутую руку и коряво улыбнулся. Тогда поднялся Сверлов, обнял приговоренного. Поцелуй вышел громкий, оторванный, точно пробка вырвалась из горлышка бутылки. Потом матрос круто обернулся и пошел в угол комнаты, потрясенно покачивая лопатками.

Митька переступил роковой порог. Было полутемно. Сырость жестоко ударила по всему телу, словно человека бросили в груду мокрого белья. Он оглядел погреб, потянул носом сырой смрад и по-ребячески, задушевно рассмеялся.

— Здесь я разменял 30 человек, — сказал он, кривя рот, — а теперь меня... — Лицо его покрылось робкой тенью, а на лбу затолпились складки.

Вошли красноармейцы. Пугачев, все время молчавший, выступил вперед.

— Ты чего хочешь? Последнее свое скажи!

Митька задумался, у рта его легла глубокая капризная морщина, какая бывает у детей или у много страдавших взрослых людей. Он потер лоб тыльной стороной руки и спокойно ответил:

— Последнее?.. Нет последнего.

Он твердо двинулся к стене, отсчитывая про себя количество шагов. Не доходя на поларшина, он быстро обернулся и опустил руки.

Лица были туманными, больными от бессонницы, усталости и тревоги. Тяжело дышал красноармеец, сипел, хрипел и вытирал ежеминутно свое бледное сухое лицо. Митька заметил, что у Сверлова на глазу растет ячмень. Он зажмурился, желая себе представить Сверлова без этого ячменя. Но увидел тину, а в ней старуху-мать, Лидку Карпову, расстрелянную два дня назад, Пришвина, читающего записки Панина, и блестящий «Кольт».

Он широко открыл глаза; в них ожил ужас, заблестев полными, густыми зрачками.

— Товарищ Пугачев, — сказал он хрипло, — дайте покурить!

Пугачев полез в карман, долго рылся там, не находя нужного, наконец, вытянул помятую кожаную табачницу, открыл ее и протянул Митьке. Приговоренный никак не мог уцепиться за кончик папиросы. Потом долго разглаживал курево. Пугачев зажег спичку. Огонь сопротивлялся, не желая разгореться. А когда широкое пламя жадно в конце концов охватило узкое спичечное тельце, Пугачев увидел два выползших из орбит живых глаза, полных ужаса. Он отбросил догоревшую спичку, прижегшую ему палец, далеко от себя. Огонек, валяясь на сырой земле, упрямо боролся за жизнь, но посинел, скрючился, потянулся в сторону и умер.

Митька сделал затяжку, затем другую, втянул в себя дым со вздохом наслаждения, широко открыв рот. Все молча потупились, мучительно стараясь не глядеть на приговоренного, но исподтишка, из-под опущенных ресниц, подсматривали. А Митька курил.

Здесь всегда расстреливали поспешно, без слов, лишних ненужных жестов. Оттого оскаленное лицо смерти с его страшной неизвестностью и пустотой никогда не проглядывало в это сырое затхлое подземелье. Но теперь пауза, заполненная короткими вздохами Митьки, втягивавшего в себя табачный дым, громоздкое, изнурительное молчание, почти остановившиеся, заглохшие сердца людей, — все это вызвало и оживило лицо смерти. Оно выпирало из всех, и всем чудилось, что за спиной Митьки лежит комок мертвого тела, недавно улыбавшегося и курившего, и сплюснутая свинчатка.

Красноармеец приложил палец к носу и робко высморкался. Пугачев рассматривал высокие охотничьи сапоги Митьки и думал над тем, что год назад он видел эти же сапоги. Тогда они лежали друг на друге, а Пугачев сидел над ними и стерег их сонного хозяина, уткнувшегося усталым лицом в пахучий лесной мох.

В папиросе остались еще две-три затяжки. Митька поднес к лицу пожелтевшее курево, нащупал табачный клочок двумя пальцами, нерешительно потянул его ко рту, но вдруг опустил руку, посмотрел жалко вокруг себя на столпившихся людей, потом снова на тлевшую искру.

— Две затяжки, только ведь... Жаль! — Он зло отшвырнул окурок. — Чорт с ним, все равно... — Он решительно выпрямился и коротко сбросил руки по швам. — Готово!

Молчание назрело, как нарыв. Пугачев сказал:

— Руку положи на сердце, чтобы я... не того, Митька!

Приговоренный кивнул головой. Он положил руку на сердце, прислушался к его биению.

— Долго еще простучит, — подумал он. Рука лежала на левом боку спокойно, а из глаз Митьки — ужас ушел, его заменила печаль. И только брови страдальчески и удивленно приподнялись.

Пугачев поднял револьвер. Он спрыгнул с лица приговоренного на грудь, споткнулся о побледневшую, сузившуюся гладкую руку. На этом месте взор его оледенел. Рука Митьки передвинулась чуть-чуть выше сердца.

Он считал удары сердца: 17, 18, 19...

Митька услыхал выстрел и тотчас же почувствовал сильный толчок. Он ударился затылком о стену, и в глазах его поплыла муть. Он увидел цифру 20, потом 21 и, наконец, 22 с оборванным хвостиком во второй двойке. Больше он ничего не увидел.

В дыму стоял Пугачев, опустив низко голову, тупо разглядывал носок сапога.

Пришвин взглянул на севший труп, голова которого свалилась сонно и устало на грудь. Он отвернулся. Шея следователя вдруг удивленно вытянулась.

— Окурок-то не погас... — протянул Пришвин, и наступил ногой на еще тлевшую искру.

Пугачев тяжело, по-бычачьи разъяренно упираясь ногами в землю, вышел.

IX.

Графа Панина втащили на руках двое красноармейцев. Он упирался, вырывал свои локти, кричал изуродованные слова. Через двор он прошел спокойно и гордо. В дверях у него ощутимо и остро дрогнули икры, а потом подогнулись колени. Мелкая дрожь в ногах уж не прекращалась. Перед дверью подвала, обитой войлоком, Панин остановился. Ноги его угерлись, а голос захрипел. Ему было бесконечно жутко вступить хоть еще один шаг вперед.

Из окна он видел темное небо, усеянное звездами, и строго вытянувшийся, гудевший телеграфный столб. Гудение это вязло у него в ушах и неотступно преследовало. И небо, и столб, и назойливое гудение, наконец, хмурая крыша соседнего дома — стали близкими и родными.

Панин посмотрел на толстый волосатый войлок двери и ощутил смерть всем своим липким, потным, холодным телом. Он вцепился в войлок и начал рычать.

Красноармейцы пытались разжать его руки, но это им не удалось. Пришлось оторвать его вместе с кусками войлока, повисшими у него меж пальцев. Его потащили в подвал, как куль муки. Почуяв холод и сырость подземелья он оглянулся в последний раз. Сквозь трещину незакрытой двери он снова увидел неряшливо разбросанные звезды, столб. Пробежала кошка, замяукала, словно захлебнувшееся в плаче дитя.

Тогда Панин укусил красноармейца в мякоть руки. Конвоир крякнул и одновременно рванул сильно руку, ударив локтем в нос Панина. Перед лицом графа поплыли красные пятна, точно глаза его кто-то повязал кровавой повязкой.

Панин накрепко сжал кулаки, боясь выпустить волосатый, теплый, колючий войлок, будто в последнем было спасение.

Когда Панин увидел Пугачева, он на минуту затих.

Но неожиданно с чисто звериной силой вырвался из рук конвойных, сделал прыжок и с воплем бросился на землю лицом вниз.

— А-а-а-а!.. — выл граф.

Пугачев подошел к барахтающемуся телу; красноармейцы кинулись поднимать Панина, но Пугачев сказал:

— Не трогай! — Он склонился над воющей пляшущей грудой. — Вы свободны!

Красноармейцы шагнули к дверям. Пришвин моргнул глазами и проговорил:

— О-о...

Сверлов сдвинул шапку на затылок.

Пугачев повторил:

— Вы свободны!

Сперва прекратился вой и только редкие всхлипывания тревожили оскорбленную тишину; Панин поднял голову, безумно оглянулся по сторонам, пятясь отполз назад и тихо спросил:

— Я жив?.. — Он вскочил и крикнул: — Я жив! — Он рванул свои волосы, погладил заболевшее место, пощупал шею и залился хохотом. — Жив, правда, да?..

В волосах, на пальцах висели клочья войлока. Взъерошенный, с блестящими глазами и широко раздавшимся от смеха ртом, он шатался. Хохот его так же случайно пропал, как и пришел. Он сразу побледнел, осунулся, насупился.

— Правда?..

— Выведите его на улицу! — сказал равнодушно Пугачев и отвернулся.

Панин испытующе посмотрел в профиль председателя, потом на следователя и Сверлова.

— Идем, гражданин! — Красноармеец взял его за локоть. Панин шарахнулся.

— Ай!.. Не надо, не надо... — Он протянул руку, будто защищался. Потом потер лоб. — Да, да... — Повернулся к выходу. И вдруг вспомнил разбросанные звезды, шумящий столб, мяукающую кошку. Он рванулся всем телом и спина его стала властной.

Пуля застигла его на пороге. Одну ногу он занес за порог смерти. Он упал лицом вниз и покатился по ступенькам. Лицо его было радостное, а в открытых глазах застряли неуспевшие умереть миражи жизни и свободы. На пальцах все еще висели остатки волосатого спасения. Лежал он грузно.

Пугачев опустил револьвер.

— Нам не отдельных людей, а класс целый уничтожить надо... Лишней пытки не нужно...

Пришвин, всегда спокойный, выдержанный, подскочил и, обрызгав слова каплями слюны, бросил:

— Это и есть пытка... Чтобы...

— Разве?.. — удивился Пугачев.

Пришвин проглотил слюну, покрутил головой, точно ему воротник жал шею и спокойно добавил:

— Хотя может это и милость с твоей стороны... Кто знает.— Он пожал плечами и замолчал.— Ладно, — добавил он после раздумья,— надо итти на шоссе.

Подбирали труп Панина. Ноги мертвого не хотели сойтись. Из кармана выпала записка. Ее поднял следователь, развернул и под тусклой, безжизненной лампой прочел по складам:

— Пу-га-чев-щи-на. — Он посмотрел на председателя хитро, лукаво и протянул ему бумажку.

— Не забыл, значит... На, тебя касается...

Пугачев поднялся к себе домой. Клавдии Антоновны и Петьки уж там не было. Они сидели в последнем отходящем поезде. Пугачев вынул из столика «Историю Пугачевского бунта», подержал книжку в руках, словно взвешивал, и бросил обратно.

В комнате стало холодно, пустынно. Устало бродила одинокая тень по стене.

Тянулась зимняя ночь, как вязкая конфекта, не было ей конца; запутавшись в темном оконном переплете, она навевала усталость и сон.

Пугачев тряхнул головой. Было тихо. Он посмотрел в окно, затем широкими шагами подошел в угол комнаты, взял винтовку и, не оглядываясь, пошел жестоким, твердым, размеренным шагом на Землянское шоссе.

Цемент.

Федор Гладков.

(Продолжение).

XIII.

Тихий ход.

1.

На повороте.

Опять наступили спокойные, упрямые дни хозяйственных хлопот и будничной незримой работы в отделах, организациях и на заводе. И эти дни были точь-в-точь такие же, как и до восстания белозеленых и казачьих станиц — опять зашелестели бумагами канцелярии, опять — заседания в Исполкоме, в Совпрофе, в Экосо в угарном табачном дыму, с окурками на полу, с бесконечными прениями, резолюциями и планами. Только по ночам уже не было видно блуждающих тревожных факелов в горах. Субботние привозы деревенских продуктов — картофеля, муки, зелени, яиц и мелкой животины — загромождали базарную площадь предместья, и в воздухе пряно запахло лошадиным потом, испражнениями и перегноем. В горных ущельях, по которым не было проходу ни пешему, ни конному, открылись небоязные лесные дороги с людным пешеходом, с тележным скрипом, с дремотной песней землероба.

И опять городские обыватели и деловые люди в гимнастерках, во френчах, в коже с портфелями и без портфелей выползли из ослепших квартир, из подполья, на улицы, и никто не вспоминал об эвакуации, о громе пушек за горами, о пережитых ночных ужасах.

Небесно голубело море в горных берегах, и по набережной грохотали телеги и грузовики, а на рейде, за молами, до самого горизонта, замахали острыми крыльями рыбачьи белопарусники. По утрам, неизвестно откуда, появлялись у каботажей турецкие фелюги и бултыхались на волнах, шоркая по бетонным бокам пристаней и вразнолет чертили воздух тонкими веретенами мачт. Приблудные члены профсоюзов уже не играли бровями при встречах, не шептались, не шипели на перекрестках, в заборы

и панели, а деловито и громко говорили о новой экономической политике, о валюте, о турецких фелюгах и контрабанде.

На главной улице, около магазинов, бывших под складами и базами разных хозорганов, громыхали грузовики и дроги, ревели и дрались лошади, и грузчики по целым дням рычали, матерились и хрипели под тяжестью тюков, ящиков и мешков. Главная улица горела солнцем, пахла весенним небом, чистилась, как курица, в предчувствии новых перемен. Когда-то она цвела нарядами витрин, дышала ароматами духов и шелестом гуляющих модниц, а по ночам волновалась в лучах электрических реклам. Завтрашний день мерещился румяными улыбками сдобных ушедших в прошлое дней — завтрашний день без Чека, без паешного хлеба, без квартирного уплотнения, без регистраций и перерегистраций, без ущемлений, карточек и обязательной трудовой повинности.

Бабы и девки с поднятыми выше колен подолами стояли на подоконниках и лестницах, мыли и терли зеркальные стекла, и застарелая грязь рыжими потоками стекала на тротуар. И из темных сарайных утроб магазинов несло плесенью и затхлой прохладой погреба. Только пустым эхом звенели девичьи песни и раскалывались визгливым хохотом и перекликом. Перед раскрытыми дверями и окнами толпились бродячие люди и долго, с беспокойным любопытством, смотрели в нутро магазинов, на мокрые окна, на голые икры баб. И там, где окна чернели прозрачной пустотой, а внутри грохали молотки и визжали рубанки, на дверях и на стенах фасадов, ослепительно резались квадратами и полосами на солнце аншлаги:

«В непродолжительном времени здесь будет открыт Рабкооп».

«Здесь открывается кофейня».

«Универсальный магазин ЕПО».

«Торговое Т-во Мануфактура».

А на гладких серых стенах Городского дома (Коммунхоз) — аршинными буквами:

«Кто не работает — тот не ест».

«На руинах капиталистического мира мы построим великое здание коммунизма».

«Мы потеряли только одни цепи, а приобретаем целый мир».

На базарной площади сбивались новые лотки и палатки. Там чавкали топоры, вспыхивали золотые стружки, и в городе, по улицам, пахло сосновой смолой и масляной краской.

Около Наробраза с утра до 4-х толпились шкрабы, с сизыми, отекшими лицами. Сбитые в кучки, стояли и сидели на тротуаре или рядком, около стен, с покорным отчаянием, как слепые. Так толпились они около Наробраза каждый день целую зиму и весь март. Школы заняты под учреждения, в школах разграблены библиотеки и кабинеты, и парты изрублены на топку, а в Наробразе нет дензнаков. Почему же не сидеть и не ждать покорно зарплаты, которой не платят им с осени?

И когда Сергей выходил с заседания коллегии на улицу, он сразу угорал и задыхался в непролазном месиве шкрабной сутолоки. Не было

улицы, не было тротуара, и воздух был тяжелый и нудный от дыхания, от грязного тела и одежды, от сизых лиц и мутных глаз в слезной мольбе и покорности. Эта сбитая в стадо толпа смыкалась перед ним в рыхлую непролазную гущу — плаксивую, по-нищенски липкую, с сухими зубами в землистых губах, как у трупов. И только одно глухо стонали и шептали, может быть отдельные голоса, а может быть все вместе:

— Сергей Иваныч!.. Сергей Иваныч!.. Голубчик, Сергей Иваныч!.. Вы — сами учитель... вы знаете... Как же так, Сергей Иваныч?..

А Сергей пробирался сквозь нищий толпеж и никого не видел, смотрел вниз, мимо всех, и смущенно улыбался. Улыбался и мучился от смутной вины перед этими заерзанными, полумертвыми людьми.

— Ничего не могу, товарищи... Требую, добиваюсь, но что же я сделаю? Я все знаю, товарищи... Ничего не могу... И когда будет возможность— не знаю...

Он шел, торопился, но никак не мог выбраться из толпы, никак не мог убежать от этих покорных, собачьих глаз и трупных зубов.

Опять был массовый воскресник. Опять на бремсберге муравейной гирляндой копошились тысячи рабочих и грохотали молотами, кайлами и лопатами. Важно опираясь на палку, инженер Клейст опять лично руководил массовыми работами. И к вечеру бремсберг опять заиграл флейтами на ролах, и колеса электропередачи замахали железными спицами в разных направлениях и пересечениях. А ночью завод опять вспыхнул электрическими звездами.

Рабочие Райлеса запрудили улицу у Совнархоза. В лохмотьях, патлатые, с застарелой грязью на лицах, будто только пришедшие с работ, с топорами за поясом, они напирали на парадные двери, надували пузырями глаза и ревели оравой, как на митинге, без слов, одними утробными вздохами.

Двери Совнархоза были заперты, и толпа буровила на мостовой, на тротуарах, напирала на стены, на двери, давила друг друга до треска костей. Впереди, у самых дверей, отдельные надорванные, осипшие голоса орали в стены, в толпу, вместе и вперебой:

— Подавай нам Совнархоза!.. Райлеса, сволочь поганую, сюда на аркан!.. Подавай воряг и грабителей, сукиных детей, бандитов... ткачей, шерстобитов, захребетников — подавай!.. Где — Чека? Почему не глазами, а задом глядит Чека?.. Давай сюда коммунистов!.. Почему там, за дверями, сидят коммунисты?.. Знаем мы, как без узды взнуздали коммунисты рабочего человека...

На тротуарах сидели, опираясь спинами о стены, тесными рядами, другие рабочие и жевали паешный хлеб. Они сидели на солнце и млели от жары, напитанной запахом асфальта и раскаленной пыли. Лениво и дремотно смотрели через ресницы на одурелых товарищей в толпе, или вовсе не смотрели, а тихо и праздно говорили, не глядя друг на друга, развлекали себя плевками на тротуар, ходили за угол, к воротам Совнархоза, и мочились сразу по нескольку человек, толкаясь локтями и плечами.

А вот вскочил на ступеньки крыльца Жук, замахал руками, и от взмахов рук волнами колыхнулся по толпе затихающий гул.

— Товарищи, вниманье!..

И Жук растопырил руки вразлете над своей головой. Потом скинул картуз, поднял его кверху и быком оглядел толпу с молчаливой угрозой. И из самых задних рядов видно было, как глаза его переливались пьяной влагой.

— Товарищи, я знаю эту шатию на тридцать три горы... Гляди, товарищи, как я скрутил их хорошим канатом... (Он завертел руками и оскалил зубы.) Я их всех вывел на чистую воду, всех к стенке поставил, всех обрил под первый номер... Пущай узнают они, братва, 18-й год... Бюрократия заела их, печенегов, набалдашников... Мы, рабочий класс, знаем, как надо брать их за галстуки... Вы не видали, а я видал: они в подтяжках ходят и сморкают сопли в носовые платки. А есть у нас подтяжки, есть эта невозможная глупость — носовые платки и дорогие зубы? Они все золото свое, которое было и не было, в обшивку зубов отправили... Я всех их покрыл, товарищи, в двадцать два удара...

Только в передних рядах видели, как Жук кувырнулся со ступенек крыльца и изумленно пришился к стене на тротуаре. На его месте толпа увидела предисполкома Бадьина. Лицо его было неподвижно, и глаза тусклы — не человек, а чугунный истукан.

Первые слова он сказал спокойно и тихо, как у себя в кабинете, но голос его был четкий и гулкий.

— Товарищи, в нашем городе — двадцать тысяч организованного пролетариата. Из этих двадцати тысяч вы, маленькая кучка, пришли сюда, как с базарного толчка, оравой и позорно дезорганизуете стройные ряды революционных рабочих. Стыдно и преступно, товарищи! В чем дело? Чего вы хотите? Разве нет у вас профсоюза? Нет у вас ваших рабочих органов, в которых вы могли бы поставить немедленно все вопросы, которые волнуют вас сейчас, и разрешить их в спешном порядке?

Толпа грузно дрогнула и взорвалась ревом и топотом.

— Давай сюда грабителей!.. Давай райлесных воров!.. Не пойдем на работы... Одевка!.. Прожитки!.. Мы — не острожная шпана... Грабители, сукины сыны!..

Бадьин поднял руку, и лицо его не изменилось: оно по-прежнему было металлически неподвижно и твердо, с бронзовым отливом.

— Я не пришел сюда, чтобы спорить и препираться с вами, товарищи. Все требования ваши, которые будут предъявлены через ваших представителей, через ваши органы и Совпроф, будут удовлетворены. Организованно отправляйтесь по своим местам. Знайте, что каждый прогульный час в эти тяжелые дни для Республики наносит ущерб на хозяйственном фронте. И вина будет падать только на вас. Вы не смоете позорного пятна, которое вы накладываете на наш пролетариат. У него слишком много боевых подвигов, чтобы он мог снести этот позор. Не вы пошли на это унизительное выступление. Это — дело отдельных склочников. Я знаю, кто они, эти

смутьяны и склочники. Вот он — только что выступал передо мною — Жук. Я его знаю давно. Я отдам немедленный приказ о его аресте.

И не успел кончить Бадьин, Жук, весь всклокоченный, бледный, с глазами, выпавшими из век, запрыгал около Бадьина и закричал пронзительно, по-собачьи:

— Неправда!.. Неправда!.. Товарищи, это — ложь!.. Я не могу терпеть это, товарищи...

В передних рядах, около предисполкома, бултыхались в свалке руки, тела, и осатанелый оглушительный рев оборвал крики Жука, а толпа забурлила, зашаталась, застреляла руками, и ждалось: пройдет мгновенье, и у стены, около двери, разразится бешеный, неотвратимый самосуд.

— Бей их!.. Катай, волоки!.. Сукины дети!.. Наш Жук... На руках Жука. Давай в головку Жука!.. Жук!.. Жук!..

Предисполком по-прежнему стоял на верхней ступеньке крыльца, в черной коже, и неподвижно, чугунным лицом смотрел на ревущую толпу, и глаза его были пустые, как черные дыры. Он смотрел не мигая и ждал: пройдет еще несколько мгновений, и толпа надорвется, осядет — будет по-бараньему рыхлой и покорной.

Но не дождался: помешал Лухава. Черное пламя его волос и тонкие руки были в полете, как крылья. И пронзительный, по-птичьи тревожный голос, с обычным восторженным изломом, облитый обильной слюной, сразу обрезал осатанелую животную ералашь.

— Товарищи, — слово! Стойте смирно и слушайте!

Толпа опять дрогнула и отхлынула назад и в стороны, по мостовой. Потом опять густой толчеей надавила на крыльцо.

— Лухава!.. Крути, Лухава, товарищ!.. Сейчас Лухава всем шкуру сдерет... Крой, товарищ!..

А волосы Лухавы были в полете, и лицо — в острых костях (и скулы, и нос, и подбородок). Глаза дышали: то вспыхивали в круглой глубине, то вздрагивали под ресницами огненными точками.

— Какого чорта вы здесь дурака валяете, товарищи? Топоры за поясами, сумки на плечах, а одежа и обутки растут на деревьях. Это, товарищи, — прибаутка, а дело выходит такое: через час выступаем, сбор у Совпрофа. Продукты грузятся на подводы. Партком выделил на заведывание снабжением товарища Жука. Прозодежда выдается по одной паре. Весь состав Райлеса — к чортовой матери! Все! Стройся рядами и — дружно на свои места.

Толпа с ревом и гулом забушевала у крыльца, и Лухава растопыркой закувыркался в воздухе.

Толпа пошла по улице и колесом завернула по переулку, к набережной. Бадьин и Лухава стояли у стены Совнархоза и ковыряли глазами друг друга.

— В свое время я уже сообщил куда следует о вашем головотяпстве с ущемлением. Этому мальчишеству надо положить конец, милые товарищи. Какими полномочиями пользовались вы, разрушая, без постановления

Исполкома, аппарат Райлеса? Об этом опять будет сообщено краевым органам, и я сумею поставить вас на свои места.

Лухава улыбался в прищурку, и искорки в глазах летали ресницами, дрожали и смеялись.

— Бю-ро-крат...

Они опять вцепились друг в друга вздрагивающими глазами и пошли в разные стороны.

2.

Упрямым шагом.

Из окна заводоуправления видно: прямо, на взгорье, — клуб «Коминтерн» (днем там одни комсомолы — проводят часы физкультуры, голорукие, голоногие, в трусах), а там, в воздушной дали, в кратерном взлете гор, из невидимого дна воронки до вершины перевала, в высь на восемьсот метров, струнно натягивается рельсами бремсберг. И вверх и вниз, навстречу друг другу, минуя друг друга, приближаясь и удаляясь, ползают две вагонетки. Издали они — маленькие, как черепахи, и скользят по рельсам, медленно и плавно: пять минут — вверх, пять минут — вниз, а встречаются опять через четверть часа. Вверх — пустая, вниз — брюхатая, правильным кубом — дрова. Видно, как машут спицами колеса на электропередаче в разных наклонениях и пересечениях. И от перевала до электропередачи, по пологому спуску, поперек горы, по разработанной дороге, подъезжают и уезжают грузовики и телеги. Там и на лесосеках работают рабочие Райлеса! а рабочие завода управляют работой бремсберга.

Глеб — уполномоченный от рабочих — целые дни в заводоуправлении, Тут — спецы, присланные из Совнархоза, которые сами не знают заводских дел. Сидят здесь около года и все изучают сложную систему хозяйства. Они прилизаны, бледны от опрятности, еще носят галстучки. Все — бритые по-английски, белобрысые, не отличишь без спроса одного от другого. А что они делают за своими дубовыми бюро, почему говорят в полуголос и полушопот — трудно понять. И вид у них — деловито-холодный, и смотрят они на Глеба с тусклым вопросом (так на него смотрят и в Совнархозе), а на его вопросы отвечают сначала немым изумлением, а потом странными словами в полуголос, сквозь дым папиросы и задумчивое безделье, и слов этих Глеб не понимал, а понимал только одно слово, которое он возненавидел давно:

— Промбюро...

На ячейке по его докладу решили: потребовать подробный доклад заводоуправления на общем собрании рабочих. Решили — будут крыть почем зря. А покроют — будут требовать ревизии от РКИ. Сам же до изнурения изучал положение дел — не верил словам: взвалил на себя добровольную каторгу — разобраться в цифрах, в докладах, в книгах, в теку-

щих бумагах, в нарядах и планах. В первые дни плохо слушались тяжелые руки, и язык измозолил корявыми пальцами: сколько листов — столько работы пальцам, столько труда языку. Обалдел в первые дни, а работа пропала впустую — ничего не понял в мусоре цифр и таблиц. На вопросы отвечали учтиво белобрысые бритые спецы, и когда отвечали, смотрели на него с изумленным вопросом, а за вопросом — умело скрытая насмешка и презренье вприщурку. И с этими бритыми спецами, заботливо сохранившими опрятность, Глеб сам был учтив, сам говорил в полуголос и полушопот и задавал дурацкие вопросы, которые вызывали улыбку у спецов, а другие вопросы, над которыми думал по ночам, тревожили спецов, ставили втупик, и они отвечали только одно:

— Промбюро... Совнархоз... Главцемент... СТО...

Глеб смотрел в окно на работу бремсберга, изучал заводские дела, которые надлежало знать только спецам, и считал, сколько будет доставлено дров с лесосек до нового года.

— Один куб — в полчаса. В день, при двух сменах, — 24 куба. В месяц — 600, а до конца года — 4.800. Мало: это не разрешает кризиса. Бремсберг должен работать зимой.

Со дна воронки дрова шли по другому бремсбергу: черепахами, одна за другою, ползли от завода в горы и из гор к заводу, минуя друг друга, железные ковши вагонеток: вверх — пустые, вниз — с дровами. Внизу, где электропередача, отстегивались от стального каната, отталкивались к ажурной вышке, на вышке по лифту с визгом проваливались в преисподнюю: вниз — с дровами, снизу — пустые. На дне черной дыры, где рельсы идут по тоннелям путаными улицами и переулками, вагонетки опять подхватывались канатами и исчезали во тьме, а оттуда, навстречу, ползли пустые по лифту, улетали вверх, в дыру, где высокий свет трепыхался голубыми шматками.

И здесь был Глеб, и когда проходил — пьянел от электрического шороха колес, от звона и визга вагонеток, от бойкой работы хмельных от труда рабочих, бросал на землю дела и таблицы и кувыркался в артельную суету. И видел, что другие были лица у рабочих — не тифозный сизый отек, а пот и загар, и в глазах — напряженье, и голые груди, взмахивающие от усталости. Хорошо! Воскресающий труд. Кровь, которая уже не может остыть.

Ночью уже не ждал, как прежде, Даши. Не запирал дверей и рано ложился спать. И не знал, в какой час приходила Даша. А когда просыпался на мгновенье от ее присутствия, видел: сидела Даша за столом и, опираясь головою на руки, шевелила неслышно губами — читала. Утром, когда уходили на работу, Даша одним взмахом ресниц улыбалась ему внутренней сочно цветущей радостью.

А вот по ночам (и днями бывало) за Дашей, через Дашу подходила к нему и касалась его кудрями Поля. Шла она, пристальная, готовая к ласке, с такими большими, зовущими глазами...

3.

Тревога.

Нужно было узнать самому, что такое — Промбюро, которое было неотразимым заслоном для Совнархоза и заводоуправления. Эта тяжелая глыба стояла на его дороге, и вопросы его упирались в грузные ее грани безответно. Решил: ехать и изучить на месте. Если нужно крыть — не возвращаясь, направить лыжи в Москву, к Ленину, в ВСНХ, в СТО — рассказать, разоблачить, разбить башку, сделать скандал, поднять всех на ноги, а своего добиться: завод надо пустить — пустить во что бы то ни стало.

В заводоуправлении — сплошная бесхозяйственность, бездеятельность, саботаж. С Совнархозе — саботаж, казенщина и какая-то внутренняя, незримая работа. И все, — деловиты, с пузатыми портфелями, бриты под коммунистов. Трехъэтажный особняк каждый день дрожит от суетливых толп, снующих из дверей в двери, и каждый день с 10-ти до 4-х, тротуары около стен здания засорены хороводами необычно говорливых людей, которые толкались раньше в кофейнях и на бирже. И толпы эти — только у Совнархоза. Нет толп у Здравотдела, у Наробраза, у Собеса. Впрочем, много людей у Земотдела, у Коммунхоза, у Внешторга.

Вот и ходил Глеб перед отъездом в Исполком, в Совнархоз, в Партком— собирал материалы, соображения, планы и постановления. Взял письмо Бадьина к близкому товарищу, члену краевого Бюро ЦК РКП и письмо Жидкова—тоже к товарищу, члену краевой КК.

Шел по улице — торопился домой, а до дому, на завод, было четыре версты по подкове залива. Шел и будто впервые видел улицу. Не та улица, что была прежде, месяц назад. Тогда магазины с зеркальными окнами были пустые, или под складами всяких отделов, и окна были пыльны и заляпаны грязью. А теперь... тоже склады, как прежде, а вот среди них —

«Здесь в непродолжительном времени... гастрономия...»

«Кафе с постоянным струнным оркестром».

«Торговое Товарищество...»

«Товарищи, укрепляйте смычку города с деревней...»

«В непродолжительном времени...»

«Кто не работает — тот не ест».

В этом лозунге в аршинных буквах на стене Городского дома (Коммунхоз) чья-то насмешливая рука замазала грязью первое «не», и все прохожие не могли привыкнуть к новой комбинации слов и смеялись.

«Кто работает — тот не ест»...

Рабочие пайки... Зажигалки и мошенничество... Торговое товарищество... Босой, оборванный Савчук... Голодные дети в детдомах... Разруха и одичание... Кафе — струнный оркестр... В зеркальных окнах магазинов начинают расцветать первые цветы витрин...

Глеб остановился в тревоге и никак не мог оформить того большого вопроса, который туманом клубился в мозгу. Да, новая экономическая политика. Регулирование и контроль. Рынки. Продналог. Кооперация.

Так. Кафе и струнный оркестр... А полфунта паешного хлеба? А дачка—аршин мануфактуры, наусники и дамские подвязки от профсоюза? Почему так быстро начинают обсахариваться витрины? И почему так нудно и тревожно на душе?

На другой стороне улицы, у окна кофейни, увидел Полю. Она стояла к нему спиной, смотрела в окно и не могла оторваться. Стремительно пробежал мимо нее человек в новом френче с портфелем (кто не носит теперь портфелей?), задел ее плечом и оттолкнул от окна. Не заметила, стала на прежнее место.

Глеб перешел мостовую. Стал плечом к плечу с Полей: она почует его и встрепенется. А Поля и его не заметила — стояла с глазами, растворенными в оконной тьме. Там, в дымной, сумеречной глубине, сидели за столиками попарно и группами тени, воскресшие из прошлого. Кафе... В непродолжительном времени... Горячие пирожки с разным фаршем... И из непроглядного сумрака, через окно, призрачно струились далекие скрипки.

Гнусавой скороговоркой — за спиной, на тротуаре — деловые слова:

— ...твердой валютой, только твердой валютой... Поездка в Сухум... Товар свежей заграничной доставки... франко... фелюги... Процент чистой прибыли...

Глеб оглянулся — адвокат Чирский, и с ним — бывший крупный винодел побережья. Встречал его в Совнархозе. Там же встречал и Чирского. Какие у них дела в Совнархозе?

Будь оно проклято! На заводе пахнет еще октябрем, и голова еще не отдохнула от гражданской войны. А когда в городе — будто совершается странный сдвиг, и мир изменяет свой облик...

Глеб, играя, потянул портфель из рук Поли. Она дрогнула и очнулась. В испуге взглянула на Глеба, и в ее глазах увидел он задавленный крик.

— Не гляди на шатию, товарищ Мехова. Коли завидно — лучше втолкнись в эту яму и раздави черепуху. Пойдем в женотдел.

— Ну, вот скажи мне, Глеб... Ты понимаешь что-нибудь? Я хожу по этой улице и глазею на окна, как дура. Что со мной происходит?.. Смотрю до боли в голове, до скрипа в зубах и — ничего не понимаю... Я ничего не понимаю, Глеб...

— Иди в женотдел. Пущай тут глазеют настоящие дураки и прохвосты...

Он взял ее под локоть и повел с собою вдоль улицы, а Поля испуганно смотрела по сторонам, в двери и окна магазинов, и глаза ее дрожали, как капли на ветру.

— Сегодня я не пойду в женотдел. Там — Даша. Твоя жена — редкая женщина: она далеко пойдет, вот увидишь... Впрочем, что можно сказать о других, когда не можешь знать о себе?.. Вчера я была — одно, а сегодня — другое...

— Стыдно, товарищ завженотделом, закатывать панику! Бить надо, а не плакать, и не приседать на одну ногу. Не показывай виду на болячку и не бери костыля: засохнет и сойдет коростой, как на собаке.

Говорил грубо, а сам ласково прижимал ее руку.

— Что со мной делается, Глеб? Может быть, ты можешь разобраться в этой ералаши?.. Я—точно зачумленная. Чувствую, как подо мною зыблется почва. Ведь я была на фронтах, видела настоящие ужасы... Два раза пережила страх неизбежной смерти. Была активной участницей московских боев. А вот сейчас переживаю такое, чего со мной не было никогда. Точно надо мной издевается подлая толпа, а мне стыдно, потому что не могу защититься. Это — так нужно? Это — неизбежно? Это необходимый результат наших страданий и жертв?.. Так ли это, Глеб?.. Может быть, и ты также очумел, скажи мне откровенно? Может быть, Глеб, ты только храбришься по привычке?..

Дошли до Дома Советов. Поля остановилась, но не отрывалась от Глеба, и было видно, что ей было тяжело оставаться одной, и было тяжело на людях. Глеб волновался. От чего больше — от того ли, что взбудоражили слова Поли, или она влекла его к себе, идущая в него из-за Даши и через Дашу?

Концессия на завод. Глеб испугался этого нового, зловещего слова. Неизвестно, кем слово было брошено на ветер, и он тогда не мог добиться никакого толка. Был подпольный косноязычный слух, и он скоро растворился в тумане. А вот улица заговорила горластым языком витрин и суетливой толчеей спекулянтов и торгашей. Это было другое. Лопнули скрепы, и из трещин потекли вонючие помои, а из темных углов и щелей выползли мокрицы и черви. Эту новую чертовню нельзя было брать с маху: в ней нужно было поковыряться с хорошими ноздрями и выдержкой.

Поля. Вот она близко, и в словах ее так много задушевной дружбы, и так она нуждается теперь в его силе. И чуял он в ней большую сумятицу, а войти в ее нутро мягко и бережно не мог: может быть, не умел, а может быть, не было привычки. Хотелось сказать ей милое слово: накрыть ее, как шинелью от холода, и в тихом шопоте волною перелить в нее свое сердце. То было внутри, а наружи — никак не мог изломать грубой оболочки.

— Я не пойду в женотдел. Пойдем ко мне — посидишь немного. При тебе мне не будет так худо. Можешь скоро уйти, но лишь бы было ощущение, что я — не одна. Может быть, ты скажешь мне такое слово, которое отрезвит меня, и я буду глядеть на все другими глазами...

И она подтолкнула его к зеркальным дверям подъезда.

И вплоть до самой комнаты — по мраморной лестнице, по узкому коридору — она не выпускала его руки и все повторяла одно — помолчит и скажет, помолчит и скажет:

— Так надо? Да?.. Так надо?..

В комнатке — светло и пусто. Железная кровать, на кровати — серое одеяло, белая подушка. Над кроватью — Ленин. У окна — столик, а на нем — свалка из книг и бумаг. И только одно почувствовал Глеб: пахла

комната Полей. Если бы не знал, что здесь живет она — все равно почуял бы по запаху.

Она бросила на стол портфель, не села, а прислонилась к стене, около стола. И Глеб не сел — прошелся по комнате. Остановился около двери в левой стене.

— А кто там, за этой дверью?

— Это — комната Сергея.

Он стукнул в дверь кулаком. Внутри, в пустоте, вздохнуло эхо. Подошел к двери в правой стене, около Поли.

— А тут?

— Я боюсь этой двери. Тут — предисполком. Я не люблю его: в нем что-то тяжелое, и мне всегда чудится: отворится дверь, и будет... не знаю, что будет... может быть, чорт знает что...

— Он — бабник, этот предисполком.

— Почему? Откуда у тебя такое заключение?

Поля засмеялась, но смех скользнул сам собою: глаза смотрели внутрь, и вся она прислушивалась к своей боли.

— Он — бабник. Я еще буду иметь с ним дело на случай.

— Какой ты еще раб, Глеб! Должны же мы, наконец, произвести революцию и в себе. В нас самих должна быть беспощадная гражданская война. Нет ничего более цепкого и живучего, как наши привычки, чувства и предрассудки. У тебя бунтует ревность, — я знаю. Это — хуже деспотизма. Это такая эксплоатация человека человеком, которую можно сравнить только с людоедством. Вот что скажу тебе, Глеб: к Даше ты с этим не подойдешь — будешь бит.

— Я уже и так бит, к чортовой матери...

— Ну, вот. И поделом. Так тебе и надо.

— Это — верно: есть какая-то чо́ртова запятая в любви. Этот орех надо хорошо раскусить.

И опять Поля встревоженно и растерянно осмотрелась вокруг себя. Запуталась руками в кудрях и сморщила лицо, точно от головной боли.

— Да, орех, Глеб... крепкий орех... А надо раскусить... И ядро в нем, чую, — очень горькое и ядовитое. Надо... Пусть, чорт с ним, если надо... Мы отравлялись кровью, но в крови же находили противоядие. А в чем противоядие для будней, которые идут из проклятого прошлого?.. Вот в чем ужас. С собой всегда труднее бороться, потому что в будни душа всегда обречена на одиночество.

И она стояла перед Глебом такая простая, открытая, растерянная в своем смятении, такая доверчивая и близкая, будто знал он ее давно, будто такая она была всегда, встревоженная и мятежная. Стоит ее обнять, вскинуть на руки, и она ребенком прижмется к нему и будет родной и неотделимой, и от ласки его успокоится и опять засмеется, как недавно.

И, с волной молчаливой нежности, он прижал ее грудью к себе и щекой погладил ее кудри. А она сначала испугалась и вся съежилась в его руках. Потом дрогнула, обхватила его шею и посмотрела на него одними слезами.

— Глеб... милый!.. Если бы ты знал, как я хочу твоей бодрости и силы! Мне очень тяжело, Глеб... Ты почувствуй меня, Глеб, и не презирай... Ты — самый мне близкий человек, и я тебя очень люблю...

А он, Глеб, все молчал и все прижимался щекою к ее кудрям. И у кровати, когда она была в последних мигах, а он уже поднял ее на руки, — раздался дробный стук в дверь.

— Товарищ Мехова, можно? ты — у себя?

И скрипнула дверь. То была Даша. Вспыхнула красная повязка, а лицо было прежнее — ясное, с ручейковыми глазами, с молодыми оскалом зубов, еще не остывших от солнца.

— Вот так!.. Это — Глеб?.. Ты, непоседа, и сюда затесался?.. Вот проклятый парень!..

И раскололась веселым смехом. Только на одно мгновение блеснул — увидел Глеб — испуг в глазах и что-то другое, которое взметнулось бледной пленкой. Может быть, это так показалось Глебу, потому что он сам испугался и сразу не мог овладеть собою. Мехова отошла от него и засмеялась: ведь Даша не дура, и глаза ее умеют видеть и не такие мелочи.

— Ты не ревнуешь, Даша? У твоего Глеба я хотела призанять силы... Он — такой бегемот, что его не смутят никакие передряги...

— Почему Глеб — мой? Еще подумает, что и взаправду он — сила. Он еще, этот Глеб, многого не тямит. Это правда: мужик он замечательный, но какой же он глупый, товарищ Мехова!.. Уф, какой глупый!..

Глеб стал между ними и положил руки и на ту, и на другую.

— Туда к чорту!.. знаменитый орех надо раскусить... Пущай сломаю зубы... У Дашки теперь всякий орех — как блоха для собачьего зуба...

Даша усмехнулась и отошла к столу.

— Я, товарищ Мехова, из женотдела... У нас ведь на носу — женская конференция... Ты это забыла? Сегодня на пять часов заседание Совпрофа, и ты должна делать доклад.

— Я это помню, Даша. Но было бы лучше, если бы выступила с докладом ты: я ничего не соображаю сегодня. Сделай ты, Даша, а я до завтра отсижусь и подкуюсь немного.

— Идет, товарищ Мехова. Будет так.

Она обняла Полю одной рукою и строго взглянула на нее через брови.

— Товарищ Мехова... я знаю... Не разводи нюни, голубка... Мы повинны быть завсегда на-чеку: голову — на плечи, а руками крепко взять сердце. Прищеми душу к ребру, товарищ Мехова, и береги свое здоровье... Ты, дорогой товарищ, можешь не слушать... Куда ж ты удираешь? Оставайся. Разве ты здесь — потайком? А я и не знала...

У Даши влагой переливались глаза, а Поля смотрела в окно, смеялась, как больная.

— Вот чортовы бабы!.. Крепкий орех на зубы, будь оно проклято...

И вышел, красный от стыда и изумления.

В коридоре встретил Чибиса. По обыкновению Чибис не подал ему руки и не поздоровался. И шел он упруго, но грузно, и смотрел на него, не мигая, как на чужого.

— Ну, так вот Райлес, как тебе известно, отправлен в уютную дыру. Они сразу же там покрылись пылью, а пыль столбом поднялась во всех отделах, и все отделы похожи на сумасшедший дом. Жук оказался хорошим дураком. Сегодня я не спал. По ночам я не сплю: сплю только утром и после обеда. Сейчас прилягу на полчаса. А знаешь, этот безрукий великолепный человеческий экземпляр... Его пристрелили в подвале. Я говорил с ним по ночам с большим наслаждением. Буржуазия умела давать молодежи прекрасное воспитание, и мы должны у ней много, очень много учиться. Чтобы овладеть культурой, надо знать, как ею пользоваться, а это — не так просто, имей в виду.

— Стоп, стоп, товарищ Чибис! Это — ловко... Обхаживал-обхаживал и — подсек под самый корень всю эту шатию... Чортов Жук, он даже перестал бродяжничать и барахолить языком в эти разы...

— Ага, это потому, что находился в хороших руках. Из двух десятков расстреляем верную половину. С этими статистами мы устроим публичное представление в гостеатре: я передаю дело в Ревтрибунал. А за ущемление нам все-таки попадет. Головотяпство. Во время партийного съезда. Раз головотяпство — обязательно склока. Как ты думаешь, кто кого съест?

— Я так думаю, товарищ Чибис: Бадьина голыми руками не возьмешь, а взорвать его можно только буркой.

— Вот. Но там уже заложены хорошие бурки. Это имей в виду. Будни— это склока, а склока, — это героизм, превращенный в обывательство. Я сплю всегда с открытыми окнами и дверью. Днем сон — здоров и свеж, потому что насыщен людьми и солнцем. Самое веселое время у меня — ночь. Приходи ко мне, и мы с тобой забавно проведем время. Ночью видишь всегда больше, чем днем.

— А товарищ Ленин спит по ночам, товарищ Чибис? Я слышал, что он — такой же несонный, как ты, и любит огонь.

— Не знаю. Я тоже думаю, что он любит огонь.

— Ну, а как же, товарищ Чибис? На улицах, выходит, — кафе с постоянным оркестром? Опять — старая чертовня?

— Вот. А ты испугался? Меня здесь скоро не будет. Поезжай обратно в армию: еще помуштруй себя в выдержке и поучись политграмоте. Меня это нисколько не тревожит. Нужно уметь смотреть на солнце и на кровь, одинаково не моргая. Не бояться, что солнце сожжет глаза, а кровь отравит душу. Для этого и солнце и кровь надо смешать в корыте в самую обыкновенную болтушку.

Он поднял ресницы и усмехнулся, и опять Глеб увидел в глазах его младенческую ясность и огненную точку, которая беспокойно билась в зрачке и не могла остановиться.

Чибис пошел по коридору упруго и грузно, и Глеб впервые почувствовал, что Чибис смертельно устал и несет в себе непереносную тяжесть.

XIV.

Накипь.

1.

Будни.

Все лето не было дождей, и небо над заливом было ржавое, а море за молами мрело блистающими миражами. В этих миражах таяли парусники, фелюги и дальние песчаные отмели — сгорали в знойных струях и вихрях. У берегов море было зеленое и прозрачное — в зыби, в небесных шматках, в нефтяном перламутре, в цветах медуз и в водорослях, насыщенных кровью. Плыли на город и горные сбросы тихие бризы в запахах моллюсков и сероводорода. И уже не было горизонта: и море, и небо плавились в один воздушный океан. А горы дымились жаром и в ущельях жирно клубились зелеными отеками лесов. Склоны и ребра мерцали железом и серой в сиреневой мгле и в море уже не отражались: целые дни у берегов, по всему размаху полукружия, барахтались и кувыркались в воде густым засевом люди и ползали по массивам каботажей, по скалам и прибрежной россыпи гальки и раковин.

Город нестерпимо пылал камнями и железом, мостовыми и пылью площадей, и люди задыхались от солнца и каменной гари и слепли от блеска тротуаров, стен и горящего воздуха. А на бульварах, в тени, сохло во рту, обжигал лицо суховей, и листья акаций пахли горячею прелью. Улицы были пустынны и дрожали зеркальною далью: казалось, что люди бежали из этого адова пекла, и жизнь остановилась в своих делах и безделье. И только там и тут медленно шагали полуголые, обожженные тени с портфелями и, пьяные, с мутными глазами и банными лицами, изнуренно боролись с тяжестью собственных ног.

Но магазины нарядно играли витринами, и кафе рокотали из зияющих дверей глухим многоголосьем, цикадным цоканьем игральных костей и нежно пели призрачными скрипками и вздохами рояля.

Впервые в эти дни в столовой нарпита в Доме Советов запахло мясным борщом, помидорной подливкой и зеленью. Но застарелый запах шрапнели еще нудно и тошнотно ползал по столам, по стенам, по посуде и отравлял аромат мяса и жареного картофеля с луком.

В час обеда в столовой Дома Советов встречались все ответработники — вся городская головка. Сидели за столами группами, по двое, целыми ворохами, а всех вместе грудилось в зале до сотни. И в обеденных испарениях комната барабанила и рычала крикливой ералашью, звоном тарелок и ножей, и раскрытые окна горели уличным солнцем, а воздух угарно синел пылью и табачным дымом.

Бадьин обедал всегда за одним столом со Шраммом и завздравотделом, тучным доктором Суксиным (за глаза его обидно звали — «Сукинсын»), всегда молчаливым, всегда робким и испуганным, всегда потным, глухим и рассеянным. Обрюзглый, никогда не бритый, с конской щетиной на черепе, он растерянно смотрел в глаза Бадьину и никогда не понимал, что̀ говорил предисполком, что говорили собеседники, всем услужливо поддакивал не горлом, а чревом.

— Ддо-о... До-до-о...

А тяжело ему было говорить потому, что язык у него был непомерно велик: он не умещался во рту и при разговоре выползал, как слизняк. Он не мог совладать со словами: они вязли во рту и слюняво хлюпали вместе с языком и подвывали от бессилия выскользнуть наружу.

Часто садился вместе с ними продкомиссар Хапко, похожий на деревенского кулачка — выпуклый, по-воробьиному прыткий и пристальный. Он ел долго — дольше всех: некогда было — все смотрел по сторонам, строго и подозрительно, следил за всеми, кто как ест, часто вскакивал из-за стола и совал нос в кухню, в посудную, к соседям, которые пообедали нечистоплотно, к советским барышням, которые играли с кавалерами крошками хлеба.

Голос его был с трещинкой, и он визжал, как нож на точиле:

В кухне:

— А ну, вира!.. Кто тут старшой?.. Давай завкухней!.. Почему малые порции?.. Воруете, сволочи... Я вас живо скручу в бечеву... Майна!.. Завтра же потребую ревизии Эркаи... Вира!..

В зале, у столов:

— Майна, товарищи!.. По-вашему, продком для того, чтобы вы задарма по столу и по полу хлеб кидали вразброс?.. Вира, товарищи: подкуем живо с припарком... А ну, барышнешки, шасть: здесь не шантан, и нема отдельных кабинетов... Ползи, подбирай эти самые шарики, которые от хлеба и которые вы флиртом побросали вон в тех лоботрясов... Клюй!.. Откуда? из какого отдела? Хорошо, я потребую вас на сокращение штатов... Эту, товарищи, интеллигентскую тактику припрячьте подальше, в исподники: при диктатуре пролетариата с ней далеко не ускачешь... алыр!

И в столовой, как он только появлялся, вспыхивали ссоры и крикливый базарный скандал.

За ужином их не бывало в зале, а собирались они в комнате Шрамма (а комната Шрамма была в коврах, шкурах и мягкой мебели). Иногда они засиживались до рассвета, а что̀ они делали в комнате Шрамма — никто не знал, только по утрам уборщицы Дома Советов видели бутылки под столом, выметали шкурки от колбас и коробки от консервов, и утренний воздух комнаты смердил до лихоты окурками и дрожжами.

И вот, однажды несколько вечеров под-ряд стал дежурить у дверей комнаты Шрамма человек азиатского облика, с выпученными красными бел-

XIV.

Накипь.

1.

Будни.

Все лето не было дождей, и небо над заливом было ржавое, а море за молами мрело блистающими миражами. В этих миражах таяли парусники, фелюги и дальние песчаные отмели — сгорали в знойных струях и вихрях. У берегов море было зеленое и прозрачное — в зыби, в небесных шматках, в нефтяном перламутре, в цветах медуз и в водорослях, насыщенных кровью. Плыли на город и горные сбросы тихие бризы в запахах моллюсков и сероводорода. И уже не было горизонта: и море, и небо плавились в один воздушный океан. А горы дымились жаром и в ущельях жирно клубились зелеными отеками лесов. Склоны и ребра мерцали железом и серой в сиреневой мгле и в море уже не отражались: целые дни у берегов, по всему размаху полукружия, барахтались и кувыркались в воде густым засевом люди и ползали по массивам каботажей, по скалам и прибрежной россыпи гальки и раковин.

Город нестерпимо пылал камнями и железом, мостовыми и пылью площадей, и люди задыхались от солнца и каменной гари и слепли от блеска тротуаров, стен и горящего воздуха. А на бульварах, в тени, сохло во рту, обжигал лицо суховей, и листья акаций пахли горячею прелью. Улицы были пустынны и дрожали зеркальною далью: казалось, что люди бежали из этого адова пекла, и жизнь остановилась в своих делах и безделье. И только там и тут медленно шагали полуголые, обожженные тени с портфелями и, пьяные, с мутными глазами и банными лицами, изнуренно боролись с тяжестью собственных ног.

Но магазины нарядно играли витринами, и кафе рокотали из зияющих дверей глухим многоголосьем, цикадным цоканьем игральных костей и нежно пели призрачными скрипками и вздохами рояля.

Впервые в эти дни в столовой нарпита в Доме Советов запахло мясным борщом, помидорной подливкой и зеленью. Но застарелый запах шрапнели еще нудно и тошнотно ползал по столам, по стенам, по посуде и отравлял аромат мяса и жареного картофеля с луком.

В час обеда в столовой Дома Советов встречались все ответработники — вся городская головка. Сидели за столами группами, по двое, целыми ворохами, а всех вместе грудилось в зале до сотни. И в обеденных испарениях комната барабанила и рычала крикливой ералашью, звоном тарелок и ножей, и раскрытые окна горели уличным солнцем, а воздух угарно синел пылью и табачным дымом.

Бадьин обедал всегда за одним столом со Шраммом и завздравотделом, ·учным доктором Суксиным (за глаза его обидно звали — «Сукинсын»), ɜсегда молчаливым, всегда робким и испуганным, всегда потным, глухим ı рассеянным. Обрюзглый, никогда не бритый, с конской щетиной на черепе,)н растерянно смотрел в глаза Бадьину и никогда не понимал, что̀ говорил ıредисполкомом, что говорили собеседники, всем услужливо поддакивал ıе горлом, а чревом.

— Ддо-о... До-до-о...

А тяжело ему было говорить потому, что язык у него был непомерно ıелик: он не умещался во рту и при разговоре выползал, как слизняк. Он ıе мог совладать со словами: они вязли во рту и слюняво хлюпали вместе языком и подвывали от бессилия выскользнуть наружу.

Часто садился вместе с ними продкомиссар Хапко, похожий на дереıенского кулачка — выпуклый, по-воробьиному прыткий и пристальный.)н ел долго — дольше всех: некогда было — все смотрел по сторонам, трого и подозрительно, следил за всеми, кто как ест, часто вскакивал из-за тола и совал нос в кухню, в посудную, к соседям, которые пообедали неистоплотно, к советским барышням, которые играли с кавалерами крошками .леба.

Голос его был с трещинкой, и он визжал, как нож на точиле:

В кухне:

— А ну, вира!.. Кто тут старшой?.. Давай завкухней!.. Почему ıалые порции?.. Воруете, сволочи... Я вас живо скручу в бечеву... Майна!.. ˈавтра же потребую ревизии Эркаи... Вира!..

В зале, у столов:

— Майна, товарищи!.. По-вашему, продком для того, чтобы вы заарма по столу и по полу хлеб кидали вразброс?.. Вира, товарищи: подкуем ‹иво с припарком... А ну, барышнешки, шасть: здесь не шантан, и нема тдельных кабинетов... Ползи, подбирай эти самые шарики, которые т хлеба и которые вы флиртом побросали вон в тех лоботрясов... ːлюй!.. Откуда? из какого отдела? Хорошо, я потребую вас на сокращение штатов... Эту, товарищи, интеллигентскую тактику припрячьте одальше, в исподники: при диктатуре пролетариата с ней далеко не скачешь... алыр!

И в столовой, как он только появлялся, вспыхивали ссоры и крикливый базарный скандал.

За ужином их не бывало в зале, а собирались они в комнате Шрамма ı комната Шрамма была в коврах, шкурах и мягкой мебели). Иногда они асиживались до рассвета, а что̀ они делали в комнате Шрамма — никто е знал, только по утрам уборщицы Дома Советов видели бутылки под стоом, выметали шкурки от колбас и коробки от консервов, и утренний возух комнаты смердил до лихоты окурками и дрожжами.

И вот, однажды несколько вечеров под-ряд стал дежурить у дверей омнаты Шрамма человек азиатского облика, с выпученными красными бел-

ками и крючковатым носом. Это — Цхеладзе. Был он когда-то в зеленых, храбро партизанил два года, а теперь затерялся в штатах продкома. Босой, в зашарпанной гимнастерке времен партизанства, он терпеливо и молча стоял у двери, в упор смотрел свирепыми белками в щель между косяком и дверью и часами слушал спрятанные внутри голоса. Глубоко, за стеной, брякали шаги, и Цхеладзе поворачивал горбатые лопатки к двери и отходил в сторону. А когда отворялась дверь и кто-нибудь из четверых выходил в уборную с размякшими глазами, Цхеладзе зыркал в распах двери, в нутро комнаты и ловил голодными белками тайну уютного Шраммова гнезда. Его не замечали — проходили мимо и не догадывались, почему из вечера в вечер стоит здесь этот горбатый в лопатках грузин. Разве мало людей в коридоре Дома Советов? Разве Цхеладзе чем-нибудь отличается от других обычных людей, которые толкаются в Доме Советов?

А открыл и поймал его около двери продкомиссар Хапко.

Цхеладзе не успел отойти от дверей (у Хапко — воробьиная походка). Носом к носу столкнулся с Хапко.

— Майна?

И кругляшом прокатился по нем с головы до ног.

— Вира-а? Ты что здесь, чортова морда? шпионишь?.. Подавай твой партийный билет... Майна!..

Цхеладзе брызнул кровью, забунтовался, и белки его злобно выползли из век. Он еще больше изломался в спине и оскалил зубы.

— Какой-такой майна? Зечем твая вира?.. Ты шьто дэлаешь?.. Скажи пажалста?

Хапко петухом вцепился ему в гимнастерку и юрко заработал руками и ногами (матрос!). Цхеладзе запутался в собственных штанах и крутым поворотом шарахнулся в бок и ударился головою и грудью о стену.

— Вира... Это тебе — не царский режим, сволочь поганая... Кинтошка!.. Я, брат, тебя за эти проделки, сукина сына, завтра же из партии вышвырну... Я, брат, тебе, кинтошка, не позволю контр-революцию разводить... Майна!..

Пришитый к стене, с растопыренными руками, оглушенный Цхеладзе с свирепой растерянностью смотрел на Хапко, хрипло дышал и не мог поставить на место налитых кровью белков: они у него прыгали между носом и скулами и надувались, как пузыри.

Из комнаты вышел Бадьин и грузным шагом, с руками в карманах, подошел вплотную к Цхеладзе.

— В чем дело?

— Шпик, сукин сын!.. Вира!.. Это тебе — не меньшевицкая Грузия... Арестовать его на этом самом месте и отправить в Чеку... Для того тебе, чортова морда, существует Советская власть, чтоб ты разводил тут сыск на советских ответственных работников, которые работают неограниченное время и которые не спят ночей... Эх, диктатура пролетариата, а люди не выросли из шпаны... Бери у него, предисполком, партбилет и дай ему в зубы... Вира!

Бадьин в упор смотрел на Цхеладзе черными ночными орбитами.

— Я тебя достаточно знаю, Цхеладзе. Хапко лжет. Он выпил спирт, спьяну сдурел.

Хапко, пораженный, пискнул по-птичьи, захлебнулся и шлепнул себя по черепу ладонью.

— Майна!.. Алыр!

— Говори, Цхеладзе. Я заранее знаю, что ты хочешь сказать. Говори прямо — честно и твердо.

У Цхеладзе задрожали губы, и лицо облилось потом от натуги и страдания.

— Да, я хадыл... хадыл и слушил, да... Хадыл, слэдыл, как ты рабочий палытыка строишь... Шьто дэлаишь?.. Зачем сволычь разводышь?.. Как ты рабочиго чалавэка чюишь?.. Ты шьто знаишь?.. Голод знаишь? кровь знаишь? разруху знаишь?.. Пачиму пазор не йmeишь?.. Эх, таварщь!..

Бадьин истуканом стоял перед Цхеладзе и слушал его внимательно и строго. Хапко смеялся пискливо, пьяно, со свистом. Бадьин положил руку на плечо Цхеладзе и сказал не голосом, а всем нутром:

— Товарищ Цхеладзе, иди домой. Завтра ты получишь командировку в дом отдыха. Тебе надо немного подковаться. Ты видишь: я не делаю секрета из своих поступков, и тебе нет надобности устраивать наблюдение за товарищами. На этот счет у нас дело поставлено превосходно, и кустарничать здесь нечего. Иди.

Он отвернулся и пошел от него в свою комнату. А Хапко еще раз по-хозяйски строго оглядел его с ног до головы и, в подражание Бадьину, ткнул руки в карманы тужурки, и от этого стал еще короче и круглее.

— Вира!.. Ничего, брат, я тебя скоро возьму на абордаж... Майна!..

Разбитый и сутулый, Цхеладзе пошел по коридору неустойчивой поступью, как больной, шоркая плечами по штукатурке.

Около двери в комнату Жидкого он остановился. Не заметил, сам ли отворил дверь, или она была открыта, почувствовал только, как чья-то рука подхватила его под мышку и втащила в комнату. Он остановился у порога и увидел, как лампочка над столом погасла за мутной тенью. Она молча прошла мимо него, и лампочка опять вспыхнула и осветила грязную пустоту маленького гостиничного номера в пятнах сырости и плесени.

— Ну, иди, посиди немножко. Расскажи, что там такое случилось. Какая это тебя нелегкая занесла сюда в полночь?

Жидкий опять взял его под руку и провел к столу, усадил на табуретку, а сам не сел — стал перед ним, немного изумленный, с бледными ноздрями и вздрагивающими бровями от скрытой усмешки. Цхеладзе взглянул на него с мольбой и злобой в зрачках. Вздохнул, и белки его залились слезами. От слабого электрического света ямины на щеках, под скулами проваливались черными пробоинами, как у черепа. Он в бешенстве ударил кулаком по коленке, встал и пристально, через слезы, опять взглянул на Жидкого в злобном отчаянии и опять сел.

— Таварщь Жидкый... Стрэлят нада... савсэм стрэлят, товарщь Жидкый... Минэ стрэлят, тэбэ стрэлят... Скажи минэ, какой абарот жизны?.. Скажи минэ, как нада дэлат рабочий дэла?.. Я кровь лыл — дэсят ран был... А гдэ мая кровь? гдэ голад? гдэ разруха?.. Гдэ партыя, таварщь Жидкый?.. Какой аны дэла дэлают? шьто дэлают? Пазор дэлают, сволычь дэлают... Стрэляй минэ, таварщь Жидкый... Нэ магу тэрпэт такой граз и подлыст... нэ магу тэрпэт...

Жидкий молча прошелся мимо Цхеладзе, встревоженный, с похудевшим лицом и с глазами, немного утомленными от мысли. Раз за разом он вскидывал руку на голову и нервно ерошил волосы на затылке. Вплотную подошел к Цхеладзе и положил ему руку на плечо: хотел душевно, без слов, успокоить его, но ласки своей выразить не мог, и от этой своей непривычной нежности смущенно и стыдливо засмеялся.

— Чудак ты, Цхеладзе! Чего ты ревешь из-за пустяков? Ну, и чорт с ними!.. Делай свое дело и знай, что ты для Республики дороже, чем все они вместе взятые. Плюнь на них, если ты не можешь взять их сам за грудки, или бей их по линии партии, не щадя сил...

Цхеладзе опять с отчаянием и мольбою посмотрел на Жидкого, отмахнулся и уронил голову на руки.

Жидкий заходил по комнате и уже не смотрел на Цхеладзе. Думал и грыз ногти то на одной, то на другой руке.

— Тут — иное, Цхеладзе: это — не твое. Твое — это слишком мелко. Тут — страшный водоворот. Надвигается еще более ужасная страда, чем гражданская война, разруха, голод, блокада... Перед нами — враг скрытый, который бьет не винтовкой, а всеми прелестями и соблазнами капиталистического торгашества. В наших руках — вся система народного хозяйства. Это — все. Но выползает из утробы обыватель. Он начинает жиреть и перевоплощаться в разные формы. Он уже свивает себе гнездо и в наших рядах и надежно баррикадируется революционной фразой и всякими красными атрибутами большевицкой доблести. Базар, кафе, витрины, сладкий кусок, уютная обстановка, алкоголь. Люди после боевой обстановки срываются с цепи... Тут есть от чего прийти в оторопь... Тут — паника, надрыв, бунт... И не от усталости — нет: от здорового революционного протеста, от слишком развитого классового инстинкта, от боевой романтики. И тут как раз старые методы борьбы — уже не оружие. Враг — подлый, хитрый и неуловимый. Нужно выковывать новые средства для новой стратегии. Тут простым возмущением и бунтом не возьмешь: это — уже реакция и истерика. Тут надо перешерстить себя до нутра, перекалить, перековать в себе большевика для длительного осадного положения. Романтика бурных фронтов умерла. Теперь не нужно романтики; теперь нужны только спокойные, холодные, изворотливые дельцы, упрямые поденщики с крепкими зубами, с бычьими мускулами и здоровыми нервами. Надо быть большевиком до конца, Цхеладзе. Успокойся, товарищ, и давай вместе подумаем над многими вопросами, которые требуют большой мозговой работы...

Цхеладзе смотрел на него выпуклыми красными белками, напряженно слушал, и низкий лоб его морщился толстыми потными складками под наползающими конскими вихрами. И все силился осмыслить, пересыпать в себя слова Жидкого, перемолоть их и насытить своею кровью.

Он в отчаянии рванул себя за мокрые шматки волос и закрутил башкой.

— Н-ныкак нэ панымаю... Ты шьто трэбуху разводышь?.. У мэнэ душя простой и слава прастой... Скажи: зачем голову морочишь?.. Как ты минэ отвечаишь: страдал я, да? был зэленый партызан, да? бэлогвардыйцев бил, да? слово свое, кровь свой рабочий имэю, да?.. А гдэ мая кровь, а?.. Сабаки скушяли... Скажишь, нэт, да?.. Савсэм чалавэк падлэц пришел... Панымайшь?.. Нычао нэт!.. Шябашь!..

Он встал и быстро вышел из комнаты, и Жидкий слышал, как в горле у него курлыкнули слезы.

Жидкий долго прислушивался к шагам Цхеладзе и опять заходил по комнате, не переставая грызть ногти то на одной, то на другой руке.

... Не мог изжить того, что было. А было такое по внешнему ходу событий, что бывало и раньше. И в прошлом налетали товарищи из Краевого Бюро ЦК, и в прошлом была суровая критика работы Партийного Комитета. Это — естественно и необходимо. Неизменно, как раньше,—сосредоточенное молчание и почтительная настороженность ответработников к холодному и официальному товарищу из краевого центра, и так же неизменно бездушно начинался ритуал заседания:

— Дорогие товарищи!..

Но то, что совершилось недавно под шаблонной формой делового приличия, было так неожиданно и больно.

Пресловутое дело об ущемлении... О нем говорилось меньше всего... Каждое заседание в присутствии белобрысого интеллигента из Краевого Бюро было взрывами склоки между ним (тут и Лухава) и Бадьиным. Уничтожающая критика белобрысым товарищем работы Парткома... Краевая КК... Намеки о переводе на низовую работу...

Простая тут склока или борьба разных сил? Товарищ из Бюро ЦК назвал это склокой, и все называют склокой. Так просто. И все по своим углам следят за исходом этой борьбы. Сплетничают. Сами разделяются на враждебные лагери.

Уйти из этой борьбы побежденным, когда знаешь, что правда — за тобою, — это слишком тяжело: этого нельзя допустить, потому что это — конец. Раз сорвался — будешь раздавлен. Борьба — до конца, неустанная, настойчивая, пристальная, где нужно пользоваться всяким оружием, где нужно использовать все промахи и слабые стороны противника. Бадьин бьет умело: он в совершенстве пользуется бюрократическим аппаратом, административным опытом и собственным нюхом. Его надо ловить с другой стороны. Не всегда можно быть сильным, опираясь на живые массы. Массы— палка о двух концах: можно быть и вождем масс, а можно превратиться в жертву, в раба и демагога. Он, Жидкий, — близок к массам, а Бадьин —

над массами, оторван от масс. А товарищ из Бюро ЦК все-таки ставил Жидкому в пример Бадьина. Этих слов не забыть никогда:

— Вы — еще сравнительно молодой член партии: у вас нет необходимой крепкой выдержки, нет отчетливого понимания момента, нет продуманного подхода к делу, и потому вы срываетесь на головотяпство. Товарищ Бадьин прошел огромную школу партийной и советской работы, и вы многому могли бы у него поучиться. Почему вы не сумели контактировать своих действий и дать правильный анализ объективной обстановки и форсировали события, которые должны были принять другое направление и иные формы? Все это я говорю потому, что Бюро ЦК все-таки ценит вас как способного работника и знает вашу преданность партии...

Все-таки!.. Этот белобрысый интеллигент взял на себя слишком ответственную роль, чтобы от имени партии быть его ментором. Все эти залетные орлы не так страшны и не так значительны, как они кажутся на местах.

Ясно одно: романтики нет, романтика умерла, она—в прошлом. Торжественное революционное действо отошло в историю, и потрясающие гимны замолкли. Не действо, а — действие, кропотливая будничная изворотливость. Надо переключить себя на иные токи, чтобы уметь всякий факт сделать послушным и верным оружием в повседневной борьбе.

Он, Жидкий, знал, что делалось в комнате Шрамма, знал, почему комната Шрамма — в коврах и мягкой мебели, знал, что Шрамм не видел мошенничества в Райлесе, — знал это Жидкий, но не бил тревоги, чтобы не вносить дезорганизации в партийную работу. Он выжидал удобного случая, когда он может нанести быстрый и меткий удар. Романтики — нет: романтика, это — вчера. А сегодня — холодная расчетливость.

Почему бы сегодня не разворошить всю грязь обывательских будней, которые скрывались за дверью комнаты Шрамма? Почему бы не раскопать всех ордеров на колбасу, окорока и консервы и на спирт из здравотдела?

Он вышел, кусая ногти, и побрел в ночную глубину коридора, где мутным отблеском на стене молчала открытая комната Чибиса.

2.

Трудный переход.

Глеб добился включения в повестку дня Экосо доклада о необходимости частичного пуска завода. Лабазы — пустые. Есть клепка на сто тысяч бочек. Можно было немедленно двинуть в ход перемол клинкера и пережиг цемента в одной из печей. Готовый камень лежал отвалами в тысячах кубов на каменоломнях. Надо только тронуть другую магистраль бремсберга, Первая магистраль пусть работает по доставке дров.

Доклад делал сам Глеб в присутствии инженера Клейста, как эксперта. Шрамм холодно и тускло возражал: опять говорил о твердом производственном плане, о твердо сколоченном аппарате, о Промбюро, о Главце-

іенте. Бадьин сидел в обычной позе, опираясь на стол черной кожей, молчал смотрел исподлобья на Глеба, на Шрамма, на инженера Клейста, и нельзя ыло понять, какую линию ведет он в этом вопросе: на стороне ли он Глеба, ли на стороне Шрамма. Жидкий и Лухава кратко и решительно высказались за принятие доклада и предложили резолюцию: безоговорочно приступить к подготовительным работам по восстановлению производства.

Бадьин откинулся на спинку кресла и впервые улыбнулся Глебу коротким дружеским взглядом.

— Других предложений нет. А резолюцию товарища Лухавы голосовать не будем: против нее нет возражений.

Шрамм, нечеловечески напряженный, как восковая фигура, упрямо ромычал чревовещателем:

— Я возражаю категорически и неуклонно.

— Резолюция принята, и товарищ Шрамм по существу не возражает.

— Да, я возражаю.

Бадьин не взглянул на Шрамма и улыбался глазами Глебу.

— Товарищ Шрамм не возражает. В условиях новой экономической олитики производительные силы нашей Республики говорят о своем возождении и росте. Вопрос о пуске завода становится вопросом актуальным. Іы приступили к напряженному хозяйственному строительству. Продукция авода, даже при настоящем уровне производительности труда, дает возожность удовлетворить строительные нужды больших городов и промышенных районов. Вопрос — решенный. Он требует только детальной разаботки. А сейчас по этому вопросу хочет сказать товарищ Чибис.

Сквозь прищуренные ресницы Чибис смотрел на Шрамма из темного гла за столом и томился в дремоте и скуке.

— Вот. Я тоже говорю, что Шрамм не возражает. Шрамм не может озражать, и если кажется, что он возражает, то не верьте своим ушам. Црамма уже нет: Шрамм — анахронизм.

И опять застыл в слепой скуке и усталости.

Глеб увидел, как рыхло дрогнуло и постарело бабье лицо Шрамма, глаза налились мутью и страхом.

Продкомиссар Хапко оглядел всех строгими хозяйскими глазами шлепнул ладонью по столу.

— Вира!.. Держись, Продком; теперь сдерут последние штаны. через месяц пойдем с дубинкой на смычку с деревней: давай продналог, ортов куркуль!.. Это тебе — не восемнадцатый год: это майна на смычку шиш...

Его никто не слышал: привыкли не слушать. Свои шутки, с сердитым глядом, он говорил для всех, а слушал и думал над ними только сам.

Лухава с лихорадкой в глазах нервно продрался к столу и, обжигаясь ловами, внес предложение:

— Командировать товарища Чумалова в Промбюро для скорейшего роведения решения Экосо и добиться усиленных нарядов непосредственно ля нужд завода.

И опять нервно и быстро отошел на свое место у стены. Сел на стул с ногами и уткнул подбородок в коленки.

Глеб подошел к инженеру Клейсту, взял его под руку и засмеялся.

— Еду, как дважды-два... Эх, и подниму же я, к чортовой матери, бучу там, в Промбюро!.. Пошли, товарищ технорук!.. Это, товарищи, не технорук, а золото... знаменитый спец социалистической советской республики... Знай наших!..

А через день Глеб уехал в Промбюро, возвратиться обещал через неделю.

На заводе шли работы по ремонту корпусов, рельсовых путей, машин и механизмов внутри разных отделений. С утра до четырех часов знойный воздух между заводом и горами, дрожащий в волнах марева, горячо насыщенный цикадами, пылью и зеленью, грохотал металлом, хрипел токарными станками и вагонетками и низкой струной пел под окнами электромеханического корпуса.

А бремсберг по доставке дров, не переставая, изо дня в день, громыхал вагонетками, и стальные канаты по-прежнему играли флейтами на ролах. На набережной гремели вагоны, кричали кукушки, и выстрелами бухали в пустые короба дрючки и поленья.

В голубой, сверкающей гавани стояли в непонятном ожидании одинокие унылые пароходы.

Даша пропадала в женотделе, на собраниях, в командировках. Лизавета каждую неделю сбивала баб в клубном зрительном зале, и в открытые окна до полночи буянила бабья горластая ералашь и будоражила тишину задумчивых зорь и горных лесных ущелий.

И когда в потемках расходились по домам, еще продолжали горланить, и крики их были похожи на прежние ссоры из-за кур, из-за яиц, из-за домашних порух. А прислушаться — не было ссор в их горлане, а только в возбуждении выносили на улицу, в вечернюю тишину, свою клубную бабью дискуссию.

— Лизавета — неправильно... она неправильно...

— Не бреши же, Малашка!.. она, Лизавета, — правильно... Мы все, бабы, одинакие сволочи...

— Коли все — сволочи, дак я ж не хочу быть сволочью... Я, вот, возьму и обрежу волосья... Бабьи косы, милые товарки, для бабы — аркан: косы для мужичьей хватки, а для бабы — несчастная доля...

— Ничего подобного!.. Да будь я трижды проклята, коли я буду на поводу у гулящей бабы... И икон не сниму, и на зло ей буду шастать до церкви... У Лизаветы дом — чужая кровать, а святая церква — коммунская шайка...

— То — правда... Поглядайте, что стало из хлопцев, и девчата, как суки, — косо-мол!.. Раньше было боязно до греха и до людей, а сейдень— косо-мол!..

— А вы — чортовы дуры... Мало вас утюжат ваши бородатые кобели...

— От дуры слыхать... А сдуреешь сейчас ненароком в два счета... Сдуреешь и поднимешь подол, коли бросишь детей, и мужа, и угол...

— Ну, да!.. Потому нет и заботы до рабочего люда: понатыкали всяких магазинов, кафей, а бабу пустили по ветру... Подыхай, как хотишь, паскудной лахудрой...

И так каждую неделю: была ли на собраниях в головке Лизавета с Домахой, приходила ли им на подмогу Даша.

Через ячейку и клуб сколотили две группы по ликвидации неграмотности и когда открыли занятия — за столами оказались только одни бабы. Своей речью Даша ударила баб в самое сердце.

— Знай, бабы: вы забили мужиков до самого заду. Пущай мужики очухаются и пошагают вдогонку. Здорово доказали бабы свою пролетарскую сознательность...

И бабы кричали и хлопали ладошками в девчатьем веселье и были похожи на галок.

Каждый день, утром и вечером, заходила Даша в детдом имени Крупской, чтобы поласкать Нюрку, и видела день ото дня — тает Нюрка, как свечка. Стала Нюрка костяшка, и кожа на личике пожелтела и покоробилась, будто у дряхлой старушки. Смотрела на нее Нюрка из черняков опечаленными бездонными глазенками, и чуяла Даша: увидели эти глазенки что-то большое и невыразимое, и стали маленькими и далекими для нее и солнце, и небо. Теперь уже больше молчала Нюрка, думала и лицом, и глазами и была равнодушна, когда расставалась с ней Даша.

И Даша впервые за этот год переживала непереносную боль, но боль эту глубоко хоронила в душе. Никто не заметил в ней этой боли, и только товарищ Мехова взглянула однажды на нее от своего стола и вдруг задержалась на ней внимательным, потревоженным глазом.

— Что с тобой, Даша? У тебя есть какая-то заноза...

— Вот так!.. Откуда ж тебе втемяшилась такая фантазия, товарищ Мехова?

Поля смолчала и пристально ощупала Дашу усталыми глазами в длинных ресницах. И в этих глазах Даша увидела что-то похожее на опечаленные глаза Нюрки.

— Я не знала, Даша, что ты способна притворяться и лгать.

— Ну, пускай, есть заноза, товарищ Мехова. Зачем тебе знать, какая у меня заноза? Это никого не касается.

— Да, вот это самое, Даша. Мы крепко организованы и плотно спаяны, но страшно чужды друг другу в своих личных жизнях, и нам нет дела до того, чем живет и дышит каждый из нас. Вот именно... в этом и ужас. Впрочем, ты ведь не любишь, когда говорят об этом...

И замолчали, отчужденные, замкнутые в себе.

Тает Нюрка, как свечка, — единственная, родная Нюрка, и никто не мог сказать, почему тает Нюрка. Зачем доктора, коли они не в силах сказать ясного слова, коли они не властны вырвать ту немочь, которая точит ребенка? Ведь ей, крошке, нужна такая малая помощь от взрослого... То—

правда: не в докторах дело. Она, Даша, знает лучше всех докторов в мире, почему Нюрка́ гаснет, как звездочка утром. Не только молоко матери нужно малютке: малютка питается ее сердцем и нежностью. Коченеет и блекнет малютка, коли не дышит мать на ее головку, не греет ее своею кровью и не насыщает ее постельку своей душою и запахом. Малютка — цветок на весенней яблоне. Нюрка сорвана с ветки и брошена на дорогу.

Вина только на ней, на Даше, и этой вины не изжить никогда. И не в ее доброй воле была эта вина, а шла откуда-то извне, от жизни, от той силы, во власти которой находилась она сама и назвать которую удачливым словом не могла. А слова: революция, борьба, работа, партия — звучали, как пустой боченок, но вот самое главное в этих словах — необъятное, неотвратимое, что она несла в себе, — это было все, где не было смерти, где сама она была невидимой пылинкой.

Было одно: Нюрка гаснет, Нюрка потухнет, как искра. Была Нюрка и — не будет Нюрки. Трепыхала она когда-то ножонками на ее руках, у груди, ползала, училась ходить и балаболить словами. Ходила и играла. Росла. Было: не могла переступить через Нюрку, когда смерть стучала зубами. И еще было: Нюрка растворилась в ее крови вместе с прошлым, и когда она, Даша, шла под петлю, не думала о Нюрке, и Нюрка была далеким призраком в последние миги.

А вот сейчас увидела Нюрку живую, с лицом дряхлой старушки и с бездонными глазами, опечаленными смертью, — опять, как давно, в боли своей не может перешагнуть через ее труп. И видела: Нюрка, это — жертва ее жизни, и жертва эта — невыносима для сердца.

И такой разговор был у ней с Нюркой в один утренний час:

— Нюрочка, тебе больно, дочка, да?

Нюрка покачала головой: нет.

— А что тебе нужно, скажи?

— Ничего мне не нужно.

— Может, папу хотишь повидать?

— Я хочу винограду, мамочка.

— Еще рано, голубка: виноград не поспел.

— Я хочу с тобой, чтоб ты никогда не уходила, и чтобы близко... и винограду... и тебя, и винограду...

Она сидела на коленях у Даши и, вся тепленькая, растворялась в ее, Дашиной, теплоте.

И когда Даша положила ее на постельку, Нюрка долго глядела на нее глубокими глазами, вся сосредоточенная в себе, и сказала на молчаливый слезный взгляд Даши:

— Мамочка... мамочка!..

— Что, дочечка?

— Так... мамочка... мамочка!..

Вышла Даша из детдома и не пошагала, как обычно, вниз, на шоссе, в женотдел, а нырнула в густые заросли кустов, легла на траву, где было

одиноко и глухо, где пахло землей и зеленью, и ползало солнце горошинками, и долго плакала, разрывая пальцами корни и перегной.

Один раз ночью, в отсутствие Глеба, приехал к ней на автомобиле Бадьин. Услышала, как фырчит за окном мотор, вышла из комнаты. Столкнулась грудь с грудью с ним на крылечке. Бадьин хотел тут же обнять ее, но она сурово оттолкнула его.

— Товарищ Бадьин, этого больше не будет никогда. Отшивайся и не смей сюда шастать ни разу.

Бадьин опустил руки и стал тяжелым и рыхлым.

— Даша!.. Я хотел побыть наедине с тобою... Я ждал, что ты встретишь меня немножко теплее...

— Товарищ Бадьин, уезжай сейчас же и не барахоль понапрасну.

И ушла. Крепко притворила дверь и щелкнула запором.

3.

Кошмар.

По утрам, когда Поля шла в женотдел и когда после четырех возвращалась домой, она бежала по улицам ветрогоном. Широкими шагами отмахивала по тротуарам, по мостовой, по набережной, не смотрела по сторонам и не видела четко людей перед собою. Шли люди навстречу, шли рядом, позади и вдогонку, отражались в глазах размытыми тенями, и не лица она видела, а только ноги в ботах, босые, в обмотках и брюках, в подолах, в чувяках и в спущенных женских носочках, — много ног, мотыляющих вперед и назад, неутомимых и пыльных. Не смотрела по сторонам — смотрела только в ноги, в свои и чужие. Не могла поднять головы, чтобы твердо и спокойно взглянуть на витрины, на открытые двери, на людей, у которых был другой облик, чем раньше. Не смотрела, а видела: не такие уже женщины, как недавно, весной: зацвели наряды — шляпы в букетах, прозрачный батист, модные французские каблучки... И мужчины стали иные: манишки и галстучки и на ранту шевровые ботинки. И опять заструились запахи духов, и голоса зазвенели громко и радостно, по-птичьи. В кофейнях, в открытые двери, в сумраке, сизом от табачного дыма, толпились и барахтались призраки в глухом, далеком рокоте голосов, звенела посуда, звякали кости в азартной игре, и неизвестно откуда, из глубины табачной дыры, струились едва уловимые звуки струнного оркестра.

Откуда все это пришло? И почему пришло так быстро, нахально и жирно? Почему прошло все это через нее, Полю, и осело щемящей тоской и сумятицей в мыслях?

Было так: будто попала она в чужую страну и потерялась, и ушло из души что-то дорогое, невозвратимое, без чего нельзя жить. И еще: стыд, позор и неосознанный страх. Боялась — подойдет к ней кто-нибудь из рабочих или из этих вот оборванцев, изъеденных голодом, с гнойными глазами, и спросит в упор:

— Ну? Так вот до чего вы достукались? Вот чего вы хотели? Бей их, подлецов и обманщиков!..

И эта постоянная боязнь дурманила ей голову галлюцинациями.

Однажды, в начале августа, на набережной, на рельсах и на угольной пыли каботажа, она увидела большую толпу оборванных, волосатых, трущобных людей. Грудой лежали, сидели, копошились вповалку. Мужики, бабы, детишки. Пищали, захлебывались, надрывались от плача грудные младенцы. Кто-то глухо стонал. Бабы искали вшей в головах друг у дружки, мужики — в рубашках и в очкурах штанов. И лица у всех — в водянке. У мужиков — особо, в овчине.

Прохожие деловые люди, с любопытством и строгим изумлением, останавливались и нюхали воздух.

— Это что такое? Голодающие?

А из пыльной, вонючей, рваной свалки сипло мычали:

— Бя-ада!.. Занес вот бог — се одно горе мыкать... Може, и оклемаемся, отудобим... С Волги... с голодающей земли... Бя-ада!..

И до самого Парткома Поля больно, до ужаса, несла в себе этот дрожащий сиплый голос, затерянный в стоне, в смердящих телах, этот жалобный писк грудного младенца.

— Бя-ада!..

И потом каждый день по улицам города бродили целыми семьями и в одиночку эти голодающие мужики с овчинными лицами, в дерюгах и лаптях, с детишками в руку и на руках, и пели слабыми икающими голосами:

— а-айте олодающ... ратцы... Бя-ада!..

По ночам Поля спала в кошмарах, часами мучилась бессонницей, и в эти часы слышала то, что слышала днем, — слышала ясно, назойливо мучительно: играл струнный оркестр, далекий и манящий, чакали игральные кости, и под окном, на улице, жалобно плакали тусклые голоса:

— Помогите... ратцы... Бя-ада!..

Она вскакивала с кровати, шлепала босыми ногами к окну с бьющимся сердцем и сверлящей болью в голове и смотрела в ночь. Тишина, пустой мрак и безлюдье. Прислушивалась и опять возвращалась в постельную духоту. Засыпала. Опять просыпалась от странных потрясающих толчков. И опять — далекие скрипки, щелканье костей, смех и надрывная мольба через писк грудных младенцев.

И вот в одну из этих знойных бессонных ночей случилось то, чего она ждала давно, как неизбежного.

Где-то по коридору распахнулась дверь и сразу ахнула голосами и хохотом, и эти голоса раскатились по коридору, зарокотали и поплыли далеко, переплетаясь в невнятных перекликах.

Опять распахнулась дверь, грохнула взрывом, и голоса и шаги провалились в ночную тишину. Очень далеко певуче цыкали капли, и из тьмы струились призрачные скрипки. Поняла: это пели за окном унылые песни телефонные провода.

— ратцы милые... Бя-ада!..

Не заснуть.

Песни рабочих масс, толпы в водоворотах и потоках, красные лица, красные знамена, Красная гвардия в горящем ливне штыков... Товарищ Ленин на Красной площади. Издали видно, как вспыхивают его зубы, как вытягивается подбородок и призывно выбрасывается рука с растопыренными пальцами, а под шапкой-ушаткой морщатся щеки и скулы. И кажется, что он смеется. И ничего не осталось в памяти, только эта призывная рука, белый оскал зубов и морщины на щеках. Как давно!.. Будто сон, будто образы раннего детства. Норд-ост подметает на улицах пыль... пыль и пепел... Почему раньше не было пыли, а теперь знойные дни и ночи задыхаются пеплом?..

В комнате Сергея тоже тишина, а в тишине — шелест бумаги. Иногда задумчивые шоркают шаги. Милый Сергей, он тоже не спит. Свою бессонницу он отмеряет прочитанными страницами.

Тихий стук в дверь, в какую — не поймешь.

— Ну? кто это?

Голос Бадьина, и по голосу видно — улыбается.

— Полячок, ты спишь? Оденься и выйди на минутку: есть дело.

— Не могу, Бадьин. До завтра.

— Нельзя, Полячок. Поднимайся и выходи.

Голос лязгнул и упруго выпрямился. Щелкнул ролик, и дверь отворилась. Распахнулся мутный свет в пустоту коридора. Как? Почему так случилось, что она забыла этой ночью запереть дверь? Мельком увидела, что Бадьин необычного вида: половина — белый, половина — черный.

— Ну, вот, так лучше. Ты слишком тяжела на подъем.

Он затворил дверь и щелкнул ключом. Стены опять потухли во мраке, мрак стал бездонным. И вместе с мраком, сгущая мрак, сам — мрак, невыносимо тяжелой громадой шел к ней он, который должен был притти неизбежно.

И непонятно почему, через вытянутые в ужасе руки, она задохнулась шопотом:

— Что тебе надо, Бадьин?.. что тебе надо?..

И не успела опустить рук: страшной тяжестью он обрушился на кровать и придавил ее к подушке.

— Молчи, Полячок... молчи, молчи!..

Она задыхалась от его непереносно тяжелого тела, от пота и дурманного запаха спирта. Не боролась, раздавленная тьмою, — не могла бороться: зачем, когда это было неизбежно и неотвратимо?..

Когда ушел Бадьин — не знала. Клубилась в искрах и стопала бездонная тьма. Где-то далеко выла большая толпа, и необъятными размахами грохотал гром. Да, это — норд-ост. Это — не дождь и не гром: это — норд-ост. Теперь небо — сухое и прозрачное, и звезды ярко и четко переливаются ослепительными пучками радуг.

Был Бадьин или не был? Может быть, это — обычный кошмар? Ведь кошмары — всегда реальны, как жизнь. Не потому ли они так страшны и потрясают душу? Был Бадьин или не был?

Она лежала неподвижно, вся голая и изнуренная. Рубашка смята в мокрый комок выше груди и смердила потом и еще каким-то тошнотным запахом, которого раньше и не знала. И долго не могла почувствовать своего тела: будто есть только голова, а тела нет. Всюду — пустота и бесконечность: черная бездна. И нет ее, а только — голова, и голова невесомо плавает в этой бездонной пучине. А там, во тьме и за тьмою, — потрясающий гром и рев бури. Так хорошо и спокойно, и нет ничего, и нет времен...

Шаги Сергея зашоркали к ее двери и остановились. Почему Сергей подошел к ее двери? Услышала Поля эти шаги — дрогнуло сердце, и тело вдруг наполнилось кровью и судорогой. В ногах, около живота, — тупая боль. Бадьин... Да, его дверь — рядом, за изголовьем. Он был и ушел. И не было ужаса — не было ничего. А в глубине, около сердца, струною бьется, дрожит, завязывается и развязывается, плещется горячей струйкой и перехватывает горло жгучая тоска...

Зубы стучат и не могут схватиться друг за друга, и боль и ожоги в в сердце, в челюстях, в горле...

— Ой!.. ой!..

Она закорчилась на кровати, сползла на пол и вдруг онемела от смертельного страха. Опять густеет и падает на нее огромной тяжестью мрак. Вот он ползет, давит ее, как глыба, и впивается острыми когтями.

Теряя сознание, она, босая, в одной рубашке, выбежала в коридор. Схватилась за ручку двери в комнату Сергея и забилась, слепая от страха, и не могла оторвать глаз от раскрытой двери в свой номер.

— Сергей! Сергей!.. Скорее?.. пожалуйста!.. Сергей!..

Царапалась в дверь, ползала по ней и, как сквозь сон, чувствовала, что дверь дышит под нею и никак не может отвориться.

И когда она распахнулась, Поля обхватила шею Сергея и задохнулась от рыданий, маленькая, беспомощная, с ребрышками ребенка.

Дрожали и руки, и ноги у Сергея, и билось сердце. Он отвел ее на кровать и укрыл одеялом. Налил стакан воды, и зубы ее стучали о стекло, и вода струйками текла по подбородку.

— Это — мерзко, Сергей... это — страшно... Я не знаю, что произошло, но произошло что-то непоправимое, Сергей...

Он сел около нее на стул и мягко, робко поправлял ей подушку, одеялку и гладил ее руки, волосы и щеки.

— Ну, не надо... успокойся, Поля... Я знаю... Если бы ты крикнула я вышиб бы дверь и удушил его...

— Ты не знаешь, Сергей... ты не знаешь... С ним нельзя бороться... от него нельзя спастись...

— Не будем говорить, Поля. Выпей еще воды и засни. Я буду сидеть около тебя, а ты спи: тебе непременно надо заснуть. Это — норд-ост... Давно не было норд-оста... Завтра будет свежо и прохладно...

— Сергей!.. Сережа, ты такой близкий мне и родной!.. Я знала, что это случится, Сережа... и я не могла... Я не знаю, что будет, Сергей...

Он сидел около нее и дрожал внутренней неудержимой судорогой. И задрожал он впервые с того момента, как только услыхал голос Бадьина. И тогда же почувствовал, что пол заколебался под ним, и с первым грохотом норд-оста все вещи покинули свои места и залетали, как птицы.

— Я знала, Сережа, что это не пройдет даром... Ты видел эти лица, эти голоса?.. Братцы, помогите... бя-ада!.. И кости, и скрипки в кафе... и витрины... революция, превращенная в торгашество... И это... Все это — одно, Сережа...

— Да, все это одно, Поля... Надо пережить эту страшную полосу... Мы должны пережить... должны пережить во что бы то ни стало...

Она уснула рука в руку с ним, а он сидел около нее, не шевелился и смотрел на нее пристально, с печальной любовью, до самого рассвета.

4.

Затор.

На заводе, после отъезда Глеба, шла ремонтная горячка. Еще не были вставлены разбитые стекла в окнах и крышах корпусов, и в бетонных стенах еще зияли дыры в обрывках ржавых железных прутьев, а внутри, в в сумеречных чревах, под звездами электрических лампочек, стонало и и барабанило эхо от молотов и сверл, от скрежета и звона металла.

Работали все наличные рабочие силы — 200 человек. Ремонт вращающейся печи требовал особого внимания. Нужно было произвести переклепку стальной обшивки и заново выложить внутри огнеупорный слой. Заново нужно было отливать и оттачивать мелкие металлические части на дробилке, на мельнице, на самотасках, на сложных передаточных механизмах. Большая порча была в резервуарах для жидкого теста, где надо было делать новые вращающиеся мешалки и менять целые системы труб, причудливых цилиндрических решет и всяких переплетающихся, легких в линиях и рисунке деревянных и металлических приспособлений. Меньше всего работ было в электромеханическом корпусе и в машинном отделении. Там был Брынза. Жил Брынза — жили и машины.

Люди, голубые от пыли, суетились, ползали около печей, прыгали по переплетам, по кружевам перекладин, лестниц, парапетов, как пауки, крысами грызли в ямах и дырах затвердевшую грязь, винтили, резали, пилили железо и медь, опутывались тенетами проводов, орали, матерились, скалили зубы, харкали грязью и задыхались от пыли, от духоты, от внезапной бурной трудовой встряски.

На второй магистрали работа шла спокойнее и тише. Меняли рельсы в разных местах, чинили виадуки и очищали пути от камней и щебня.

Завод попрежнему стоял в пыли и запустении, но уже всюду чувствовалось его дыхание и первая машинная дрожь. Уже в механических корпусах непрерывно, и день и ночь, пыхтели и рычали дизеля.

И каждый день строго и важно обходил все работы инженер Клейст во всем белом (и пиджак, и брюки, и шляпа), и впервые лицо его вздрагивало сдержанной улыбкой волнения. Так же юлили около него старые техники и десятники, и так же небрежно отдавал он им приказания, вздрагивая головой в такт своим словам. Но с рабочими был по-прежнему сух, молчалив и проходил мимо равнодушно, отчужденно и слепо.

Глеб поехал на неделю, а пропадал целый месяц. Со второй же недели работы без него пошли с перебоями и к концу совсем прекратились. Заводоуправление перестало выполнять утвержденный план и удовлетворять материальные сметы, а в Совнархозе нельзя было добиться никакого толку. Опять — Промбюро, Главцемент, Госплан...

В заводоуправлении чистоплотные спецы с инженером Клейстом были откровенны.

— Бросьте, Герман Германович, чудить. Завод не может быть пущен, точно вы не знаете. Для чего им собственно завод? Ведь смешно, Герман Германович... Предположим, что завод пущен, и продукция поступила на склады. Что же дальше? Рынок? Но его ведь нет. Раньше нашим цементом питался главным образом заграничный рынок. А теперь? Строительство? Но ведь строительства тоже нет и не может быть, потому что нет ни капитала, ни производительных сил. Тарарам произвели здоровенный — в этом надо им отдать справедливость. А вот силенки-то нет, опыта-то нет, средств-то нет для созидательной работы. И не может быть при отсутствии частного капитала и частной предприимчивости. На национализированном коне далеко не ускачешь. Воленс-ноленс, приходится обращаться к варягам.

Инженер Клейст холодно и важно слушал спецов, курил папиросу, не спорил, а заметил коротко и веско:

— Я пришел сюда не для разрешения вопросов из области политической экономии и общей системы государственного хозяйства в России. У меня — скромная задача: потребовать от заводоуправления выполнения производственного плана на ближайшее время. Ремонтные работы прекращены по вине заводоуправления.

Спецы смотрели на свои руки и прятали улыбки в учтивой предупредительности к инженеру Клейсту.

— Заводоуправление здесь не при чем, Герман Германович: оно получает все инструкции от Совнархоза. Обратитесь непосредственно в это учреждение.

Это были новые люди, присланные из Совнархоза, но эти люди, под покровом лойяльности, надежно несли в себе прошлое. И он нес это прошлое, но оно стало далеким и мертвым: это прошлое перегорело в огне настоящего, и от него остались только одни головешки. Между ним и этими людьми уже не было понимания. И он видел, что глаза их потухали от его неожиданных слов, и в улыбках их были скрыты насмешка, недоверие

и трусость. Этот странный чудак или слишком хитер, или выжил из ума от панического страха перед большевиками...

Инженер Клейст шел в Совнархоз. И там встречали его так же почтительно и приветливо, как своего человека, и улыбались так же, как в заводоуправлении, загадочно, многозначительно, через золотые зубы, через пристальные намеки в глазах.

Так же важно и холодно он излагал, сжато и четко, о цели своего прихода и тут, как и в заводоуправлении, слушал учтиво-официальные ответы сквозь дымку скрытой насмешки.

— Да, выполнение ваших смет задержано. Вероятно, они будут пересмотрены. Видите ли, мы не можем вопреки Промбюро и Главцемента... Пока нет соответствующих условий... Предсовнархоз, как сведущий и осмотрительный человек (а в глазах пристальный игривый смех) согласился с нашим докладом... Тут слишком все поспешно... Что скажет Главцемент... Есть основания предполагать, что в Промбюро и особенно в Главцементе вся эта затея с заводом не встретит сочувствия... Мы ждем авторитетных указаний...

Инженер Клейст уже без техников и десятников бродил один по заводским корпусам, по рельсовым путям, подолгу осматривал пустынные площадки и постройки, разобранные механизмы, мусорные остатки прерванных работ, думал и угрюмо бил палкой по камням, обломкам и брошенным материалам. И только один человек встречался ему в этих молчаливых прогулках — сторож Клепка, с бровями и бородой, как хлопья цемента.

Глеб приехал с задранным шлемом на затылок, весь грязный и мятый с дороги, но с прозрачными, будто вымытыми глазами. Не зашел домой, а прошагал прямо в завод. Пробыл там короткое время и, бледный от волнения, ослепший от ярости, с матом, широкими шагами помахал на бремсберг. Везде — пустота, сор и разлом, как в первые дни своего приезда из армии.

Задыхаясь от бешенства, он бегом промчался в заводоуправление.

Опрятные спецы, в смокингах и галстуках, оглушенные внезапным грохотом и горластой матершиной, в изумлении и растерянности застыли на местах: кто шел — остановился, кто сидел — встал, кто писал — не поднял головы с окоченелой ручкой около носа.

Глеб с порога же начал глушить всех с плеча и выворачивал слова всей грудью из самого нутра.

— Какая это сволочь, скажите мне, учинила это подлое дело?.. Я хари всем побью за эту предательскую чертовню... Где директор завода?.. Я сейчас всех мерзавцев отправлю в Чеку за саботаж и контр-революцию... Вы думали: когда меня нет, так можно вести свою старую тактику? Вы думали: коли я кувырнулся в отъезд, так ваш паршивый номер пройдет, а моя кишка лопнет?.. Чертовы куклы, я вас всех посажу с этого часа на аркан...

Он бегал из комнаты в комнату, с надутым кровью лицом, кого-то искал, никого не видел, швырял стулья, сметал бумаги со столов и толкал людей, которые стояли у него на дороге. Кукольно-нежные

машинистки испуганно корчились на стульях и прятали свои прически в клавиатурах.

А люди стояли и сидели в изумлении и растерянности, немые от испуга, и когда он убегал от них, панически переглядывались и прикладывали ладони и бумаги ко рту.

Когда немного прошел бешеный порыв в горлодере, Глеб бросил в в одной из комнат шинель и сумку и ворвался в кабинет директора. С таким же тревожным изумлением, но строго спокойный, встретил его помощник директора Мюллер, с серебряной щетиной на черепе, с серебряными стрижеными усиками, в золотом пенснэ. Он встал, блеснул золотыми зубами и протянул ему руку через стол.

— Что вы там расшумелись, товарищ Чумалов? Вы так ругаетесь, что лопаются стекла.

Глеб не сел и руки не заметил. Стал боком к Мюллеру и вывернул к нему обожженное, похудевшее лицо.

— Кто распорядился прекратить работы на заводе?

Мюллер опять блеснул зубами и развел руками от покорного бессилия.

— Вы мне, к чортовой матери, не ломайте дурака, а режьте прямо, какая это скотина угробила всю работу на полном ходу?

Мюллер дрыгнул головой, сверкнул стеклами пенсне, и лицо его стало дряхлым и ржавым.

— Прежде всего, я просил бы вас, товарищ Чумалов, быть осторожнее в выражениях. Заводоуправление здесь не при чем. Мы прекратили работы потому, что Совнархоз нашел невозможным продолжать ремонт за отсутствием необходимых средств и без санкции высших хозяйственных органов.

— Дайте мне распоряжение Совнархоза. Снюхались, дикачи, с совнархозной шатией: думали, что за моей спиной удастся передернуть карту? Думали, что в Промбюро меня отошьют, а вам под горячую руку будет удача на провокацию? Шалите, голуби: я вас здорово сумею посадить под колпак.

— Какие же у вас основания, товарищ Чумалов, возводить на нас такие тяжелые обвинения? Я протестую самым категорическим образом: вы говорите необдуманно оскорбительные вещи. Мы же не маленькие дети: мы не можем выходить из пределов инструкций и предписаний, исходящих с верху. Мы были даже устранены от участия в этих событиях: все склады опечатаны Совнархозом, все документы изъяты из дел представителем Совнархоза... Будьте любезны устраивать скандал не нам, а Совнархозу.

Глеб повернулся к Мюллеру в упор и ткнул кулаком в стол.

— Вы мне пожалуйста не заливайте эту ерунду. Я великолепно знаю все ваши махинации. Я это не оставлю даром для ваших прекрасных глаз. Вы, друзья, забыли дело с Райлесом. Вы узнаете на своей шкуре, как стреляют прохвостов. Вы меня принимали за дурака и били Промбюром, а я вам буду ломать башки и ребра. С утра рабочие приступают к работам. Ремонт

должен быть закончен через два месяца, а с осени завод будет на полном ходу. Поняли?

Мюллер пожал плечами, смущенно улыбнулся и хотел что-то сказать, но подавился сухим языком.

На площадке, около завкома, толпились рабочие, сутуло грудились в кучки в бездельной скуке, сидели в холодке на земле, у стены, выходили и входили в двери. Курили. Гуторили в разноголосье и взрывались хохотом. Громада стоял на высоком крыльце, в открытых дверях конторы, размахивал костлявыми кулаками и надрывался от чахоточного возбуждения.

— Как есть это, товарищи, временно, но мы повинны как рабочий класс отнестись сознательно и так и дале... Мы стройными рядами ячейкой и собранием вынесем резолюцию, и как Совпроф и профстрой есть наши родные организации, таким образом мы всяко сумеем защитить наши интересы и дадим ход на предание по хвактам насчет Ревтрибунала... и всякую нечисть и сукиных сынов пришьем... и так и дале...

Толпа загрохотала криками, хохотом и апплодисментами.

И только Савчук, в драной рубахе на спине и локтях, быком разворачивал людей, размахивал руками и выл оглашенным:

— Бить надо, идоловых душ!.. В море их, сукиных детей!.. Через почему лимоните, сволочи?.. Терпеть не могу!..

Глеб сбежал по широкой бетонной лестнице вниз и сразу увяз в гуще пыльных и потных лиц, в криках, в бестолковщине, в липких руках.

— Вот он, стервец!.. Ах, ты, барбос, сукинова сына!.. Хо, теперь он, вояка, покроет... Он их всех к стенке поставит... Хо-хо, да чорт же тебя унес на нашу голову в недобрый час!..

А среди этих радостных выкриков другие, угрюмые, голоса:

— Как же это так, товарищ Чумалов?.. Ведь что же это такое?.. Этак ежели будем работать, так лучше к чорту в зад... Шутки что ли?.. Мы знаем, чьи это проделки... Эти старые шкуродеры и спят и видят царский режим... Хозяевов ждут, стервы поганые... Всех их надо припечатать на мушку... Добра от них нечего ждать...

Обдавали паром, перегаром махорки, и от тесноты и дыханья было угарно и душно. Глеб упором плеч растолкал густое месиво вправо и влево.

— Товарищи, работы идут полным ходом. Завтра по гудку каждый принимается за свое дело. Все эти махинации спецов я распутаю живо и сумею посадить под ноготь. Еду в Совнархоз. Потребуем, товарищи, беспощадной расправы с контр-революцией. В Промбюро я провел все наряды. Привез с собой топливо. Пошлем людей за клепками. Пускаем в первую голову дробилку и перемол клинкера.

Глеб рванулся вперед, разворотил толпу в разные стороны, но выбраться из толчеи не мог. Люди орали, шарахались вместе с ним по площадке, махали руками и топотали ботами по бетону.

— Кача-ать!.. рра-а!.. ачать Чумалова!..

Савчук с кулаками вразлет напирал на Глеба и осатанело выл через мутную влагу в глазах.

— Идолова ты душа!.. Глеб!.. Подавай на полный удар бондарню!.. Терпеть не могу!.. Бить буду, сукиных детей!..

Глеб взмахнул шлемом над головами.

— Громада!.. Где Громада?.. Толкай его сюда, братва... Вот так!.. Едем, Громада!.. Дрызгай за мной на конюшню!..

В Совнархоз Глеб не поехал, а слез с линейки у дверей Исполкома.

На лестницах, на второй этаж, он тащил Громаду под мышку. А Громада хрипел, задыхался и таращил глаза от изнурения.

— Тю, дохлая ты курица, башка!.. Для похода ты — рваный сапог... Стой!.. Набирайся духу для боя...

— Ты же знаешь, товарищ Чумалов, как я есть в удушливом разе, но всякому спецу покажу сорок очков вперед...

— Овва, горы своротим, к чортовой матери!.. Верно!.. Дохлый, а бьешь пулеметом. Крой на ять, сукинова сына!..

И как только лохматый дядя увидел Глеба, отворил дверь еще издали и отодвинулся в сторону вместе со стулом.

Бадьин был не один: у него сидели Шрамм, Чибис и Даша.

Она взглянула на него и ахнула глазами от изумления, и в них широкой волной плеснула тревога и радость. А увидел Глеб в глазах ее не радость, а что-то другое, невиданное раньше, глубокое, как вздох, и оно прошло через его сердце нудным ожогом.

Бадьин рассеянно взглянул на него исподлобья и опять опустил глаза на стол, на бумаги, которые ворошил волосатыми пальцами: слушал Шрамма.

Чибис сидел, как всегда: не то скучал, отдыхая, не то думал о чем-то своем, что не будет сказано вслух никому.

Зачем тут Даша? Даша — у Бадьина. Неужели правда—ее загадки сквозь улыбку и шутку об одной постели в станице? Было это или не было? Почему в глазах у ней — тьма, и во тьме — новые волны? Глаза ее — сухие, круглые, сожженные жаром, как в лихорадке. Опять душа ее — глубокий колодец, и, как вода в глубоком колодце, — далека для него и недоступна. И впервые одним ударом сердца вздохнули позабытые слова Моти: не будет у них жизни общей душой, не будет одного гнезда и одной теплой постели.

Он не подошел к ней, а она осталась сидеть в стороне и уже не смотрела на него и была, как чужая.

Шрамм сидел перед Бадьиным, нечеловечески спокойный, и говорил глухим граммофонным голосом:

— ... И не моя вина, если были злоупотребления в Райлесе. Я выполнял пунктуально инструкции руководящих органов. Почему тогда РКИ не замечала никаких ненормальностей, а теперь нагромоздила в актах целые кучи криминалов? Аппарат нашего Совнархоза является образцовым, работа проходит блестяще. И вдруг оказывается, что это — не работа, а чуть ли не сплошное уголовное преступление. Я этого не понимаю и требую самой тщательной ревизии.

Бадьин холодно, всей тяжестью глаз, посмотрел на него из-под могучего лба.

— Ты не понимаешь... Это ясно, почему ты не понимаешь. Аппарат Совнархоза — образцовый, схема выполнена великолепно. И потому, что этот аппарат образцовый, он являлся прекрасной защитой для преступлений. Ты передал всю работу в руки чуждого, враждебного нам элемента. Ты не мог видеть из-за твоего образцового аппарата непрерывного грабежа в Райлесе, не видел, что рабочие оставались без хлеба, без одежды, без инструментов, что агенты открыто занимались спекуляцией за счет государства. Ты не понимаешь, почему у тебя под носом совершаются мошеннические сделки по захвату народного имущества, как, скажем, недавняя сдача в аренду кожзавода бывшему владельцу. Ты не понимаешь, что в в одном из твоих отделов был разработан, например, целый концессионный план насчет цементного завода, чтобы вырвать его из рук государства для передачи его прежним акционерам. Ты этого не понимаешь, а я вижу в этом тягчайшую экономическую контр-революцию.

Шрамм оставался в прежнем нечеловеческом напряжении. Только глаза его наливались мутью, и голос был в хриплых трещинах от утомления.

— В последнем случае я только выслушал точку зрения сведущих людей, которые с цифрами в руках доказывали невозможность эксплоатации завода в ближайшие десятилетия. Все материалы по этому вопросу направлены в центр, а ставить его в Экосо я не был в праве. Вопрос же о кожзаводе был разрешен в положительном смысле в Исполкоме.

Бадьин блеснул широкими зубами и обменялся взглядом с Чибисом.

— Я знаю, как он был разрешен в Исполкоме. Там не было известно из твоего доклада о фальшивых цифрах и подставных лицах. Об этом мы поговорим на сегодняшнем заседании Президиума.

Он взял бумагу со стола и быстро пробежал по ней глазами.

— Возьми, товарищ Чумалова. Сейчас же пройди в Коммунхоз: пусть сегодня же он отдаст распоряжение об освобождении всех трех домов и немедленно оборудует под ясли и матмлад.

Даша подбежала к столу и не взглянула ни на Бадьина, ни на Глеба, а Глеб увидел, как в глазах Бадьина одним коротким мигом вспыхнула пьяная капля. Челюсти Глеба до боли раздавили зубы и тинькнули в ушах.

— Товарищ Бадьин!..

— А-а, герой Красного Знамени на хозяйственном фронте! Ну, докладывай, о своем доблестном походе.

И дружески улыбнулся Глебу.

А Глеб стал бок-о-бок с Громадой перед Бадьиным и угрюмо, с суровой отчужденностью, залпом отбарабанил так. И будто не говорил, а читал по бумажке.

— Товарищ предисполком, я и член завкома Громада спешно прибыли немедленно вырешить вопрос: по чьему распоряжению и на каком основании прекращены работы на заводе? Там полная дезорганизация и развал. Такого безобразия оставить нельзя. Я бы хотел знать, какая это сволочь развела саботаж и злостную контр-революцию. Рабочие неспокойны. Такая подлая бесхозяйственность — хуже бандитского налета.

Вот здесь товарищ Шрамм: пусть он ответит, как мог Совнархоз допустить такую уголовщину?

Бадьин опять блеснул зубами в дружеской и странно веселой улыбке.

— Об этом я знаю. Из Главцемента получена в Совнархозе телеграмма о прекращении работ впредь до выяснения вопроса о целесообразности пуска завода.

— Я знаю, чья это работа, товарищ Бадьин. Но в Совнархоз была послана из Промбюро телеграмма предсовнархозу, чтоб принять все меры к организации работ. Там этот вопрос обсуждался, и документы у меня на руках.

Голос у Шрамма был чужой и хриплый.

— Есть Промбюро, но есть и Главцемент.

Глеб сорвал шлем и бросил его на стол. Щека около носа дергалась в неудержимой судороге.

— Товарищ предисполком, я ставлю вопрос на ребро: так работать нельзя. Пускай товарищ Шрамм хоть чорта съел, как коммунист, но за такие дела надо дать хорошую вздрючку. Это — не шутка, товарищи. Мы еще на счет этой чертовни поговорим в другом месте. Но товарищ Шрамм не подходит к рабочему двору. Это — дважды-два... Об этом будет доложено Партийному Комитету. Тут прямая угроза, товарищи, всей нашей хозяйственной политике. Товарищ Бадьин правильно подчеркнул: экономическая контр-революция... вот! Надо положить этому конец. Дело Райлеса это одна малая болячка. Тут дело похлеще. Надо очухаться, товарищи, взять на аркан и чебурахнуть беспощадную чистку. Генерально поднять пыль во всех учреждениях. Довольно валандаться со всей этой белогвардейской шатией: пора по-настоящему взять ее за жабры. Вконец заявляю, товарищ Бадьин: все резолюции Экосо удовлетворены, наряды проведены полностью. Завтра рабочие приступают к работам, и завком срывает все печати со складов и берет на учет. И еще заявляю, товарищ Бадьин: мы требуем безоговорочно нового состава заводоуправления. Мы поднимем бучу до самой Москвы, ежели на то пошло.

Он рванул крючки на гимнастерке, вытащил пачку бумаг и бросил на стол.

— Вот вам все документы. Нас били Промбюром, и мы обратно бьем этим Промбюром.

Лицо у Шрамма было мертвенно-бледно, и глаза были тусклы и грязны, как у трупа.

Чибис быстро встал и вышел стремительным шагом без прежней тяжести в ногах.

Бадьин опять исподлобья взглянул на Шрамма и опять улыбнулся со странной веселой игрой в глазах.

— Ну, как, Шрамм? Придется, вероятно, и Совнархозу посидеть на одной скамье с Райлесом? Картина занятная, поскольку дело получает крутой оборот.

В коридоре Глеб наткнулся на Дашу. Она, должно быть, ожидала го. Опять взглянула на него глубокими, мерцающими глазами, будто не ыло у ней роговиц, а только одни зрачки, и в них — горячечный жар и мучительный крик. Остановилась перед ним спокойно, как обычно, и сказала ихо и рассеянно, точно думала о чем-то более важном:

— Глеб, Нюрочка умерла... Ее уже похоронили, а ты не поспел...

В первый момент Глеб почувствовал страшный удар в груди, а потом тало тихо, только сердце раздулось и будто лопнуло, и стало тошно в кишках, и растаяли ноги, как при падении с высоты. Он пристально, во весь азмах глаз смотрел на Дашу и долго не мог проглотить одышку.

— Как?.. Да не может быть!.. Как?.. Нюрочка?..

Даша стояла, опираясь спиною о стену, и Глеб увидел иные, мученые лаза. Они дрожали и наливались слезами.

Рядом, тоже у стены, Громада задыхался и корчился от хриплого, обачьего кашля.

(Окончание следует).

История одного уклона.

Рассказ.

С. Орлов.

Может быть и правы, говоря, что волна революции вынесла меня наверх, что, мол, был ты вроде как беспризорный ребенок, а теперь ходишь во френче да и брюки еще галифе. Что же я не протестую и от своего пролетарского происхождения не отказываюсь. Был хотя, между прочим, такой случай — отказался раз, да и то при весьма смягчающих вину обстоятельствах. — Дело оно, собственно говоря, вроде как романтическое, сердечное и огласке, пожалуй что, не подлежит, да уж по стародавней русской моде — всенародно распинаться и в грехах признаваться — расскажу всю эту историю и я.

За последние семь лет порядком я по России помотался и всякой всячины понахватался. То там, то тут встретишь человека, с тем, с другим язык почешешь, и так это порядочно в чердачке наберется.

Ездил я, ездил из конца в конец, с одного фронта на другой. Били мы Колчака — разбили, били Деникина — тоже разбили, добрались до Врангеля— в Черное море сбросили, на этом и закончили, на мирное строительство перешли. Вскоре, тут, я демобилизовался и на трудовой фронт попал. Забрался в городишко, северный, небольшой (назвать его не назову—конфузить не стоит) и хозяйство восстанавливать стал. Завел комнатку, портфель купил, книжки разные почитывать стал, — уму разуму набираться. Все так сначала оно хорошо шло, думал, что и дальше так оно пойдет,— но вот тут-то и вышла закавыка.

К тому времени был я замзавом, ходил в воротничке с галстуком и даже булавка в него воткнута была, волосы на пробор расчесывал и брился, чтобы интерес в лице был. По случаю прочтения большого числа книг и писания бумаг разных и говорить я стал-по интеллигентному, и вообще стал вид у меня, как у актера или даже, там, как у какого-нибудь бывшего.

Вот вид-то меня с толку и сбил.

Народу в нашем учреждении служило много, все совслужащие разные, были между ними, как бы сказать, и женщины — бабком в общем. Ну, я, известно, человек молодой, к тому же холост, а тут еще служебное положение, для барышень я, конечно, жених, да еще и какой — найдешь не скоро. Да и

я, ведь, не камень и по бабьей части вообще зевать, еще с фронта, не любил, но тут держался я во-всю. Во-первых, как там никак, служили вместе и флирты разные здесь не положены, а сказать откровенно, боялся еще, что оженят — попадешься, как кура во щи, возьмешь жену с неподходящей идеологией — известно дело, сидят смеются, в зеркало смотрятся, пудрой нос потрут и опять пером по бумаге возят — чирик-чирик.

Долго крепился я и в сторону отворачивался, привыкать совсем стал и о себе очень высоко представлял, думал, что никто меня с пути сбить не сможет. Вот тут-то конфуз и получился.

Начали мы с заграницей торговать, иностранцы разные к нам наприезжали, да и письма к нам из-за границы присылать стали. Языки у нас мало кто знал, и на русском-то не ахти как расхаживались, и поэтому решил наш зав взять переводчика. Поискали-поискали и нашли некое чудо, на трех языках говорящее. Пришло оно к нам и оказалось чудо не чудо, а такой, это, — аккуратненькой барышней, молоденькой, деликатной и даже очень душезахватывающей! Пришла она ко мне (за зава я тогда оставался) и говорит:

— Вы искали переводчика, меня послал к вам Филипп Сергеевич и сказал, что с вами уже он переговорил. Зовут меня Антонина Александровна Ланская.

Я глазами на нее уставился и слова сказать не могу, потому — думал я чудище какое-нибудь увидеть, а тут смотрю и глазам своим не верю.

Дело мы сделали скоро. Позвал я управдела, зачислили ее на должность по 12 разряду, и посадил я ее к себе в кабинет — секретаря вроде. Тут за душу-то меня и захватило, да и закрутило, сам себя узнавать не стал.

Бросил пиво пить, галстук новый купил, в вежливых выражениях говорить стал, да и вообще разговаривал мало.

Каждое утро вхожу, это, к себе в кабинет, а она уже там и таким-то тоненьким голоском тянет:

— Здрасте, Петр Николаевич.

Так за душу и дернет. Сядешь за стол, а она сейчас с бумагами к тебе:

— Это, — говорит, — Петр Николаевич, надо ответить, что будет выслано с поездом; это, просто, в дело...—и так дальше. Хлопот у меня куда как сбавилось, и — очень даже скоро дело пошло.

Втесалась она ко мне таким образом в голову и выбросить ее не могу. На службе все перед глазами, а не насмотрюсь, и подступиться к ней не знаю как. Со службы пойду — все в голове сидит и делать ничего не дает.

Робость еще тут на меня напала, не знаю, как с нею заговорить, не знаю как слово сказать и часто даже краснеть стал, чего до сих пор за всю жизнь со мной не случалось. Да и правду сказать — такая, это, она образованная, сложения деликатного и видать к обществу избранному привыкла, ну, а мне-то с моим суконным языком, как тут подступиться, когда здесь соловьем разливаться надо и о разных, там, разностях разговаривать?

Так дело спервоначалу и шло и ломал долго я себе голову, что мне делать, но в голову ничего не приходило и, пожалуй, не пришло бы, если бы не Васька, друг мой и приятель. В былое время раз в неделю заходили мы с ним в пор-

терную и распивали пивцо, а теперь, по случаю перемен в моей жизни, отставил я всякие портерные и очень этим Ваську удивил.

Стал он приставать ко мне и разные глупые предположения высказывать, а я, знай, молчу, не хочу ему всей правды сказать. Добиться он от меня так ничего бы и не мог, если бы не случай.

Зачем-то понесло его раз к нам в учреждение, ну он, известное дело, полез ко мне в кабинет, а я в это время от Антонины Александровны бумаги принимал и резолюции на них надписывал.

Вошел, это, он ко мне, взглянул, фыркнул и из кабинета — шасть. Потом приходит ко мне вечером и говорит:

— Раскусил я тебя, Петр Николаевич, и все твои странности, и про пиво понял, здорово ты в барышню, ту, что у стола твоего стояла, вгвоздился, я сразу это по виду твоему глупому понял.

Хотел я сначала в амбицию удариться, да рукой потом махнул: устал я от чувств этих очень и говорю:

— Что же твоя, Васька, правда, жизнь мне теперь не мила, делать не знаю что мне.

Васька смеяться стал, зубы скалить и очень даже обидные слова про меня говорить. Хотел я его за шиворот из комнаты выбросить, да вспомнил, что он рукой подковы гнул и ребра очень даже свободно переломать сможет. Да и тон он свой тут переменил и серьезным таким манером говорит:

— Эх, жаль мне тебя, Петр Николаевич, пропал ты ни за грош, дернул тебя чорт так втрескаться в деликатную этакую барышню и стал ты, можно сказать, по этим причинам как бы дурак, соображать ничего не можешь. Ну, да уж придется мне тебя уму-разуму научить, надо, ведь, как-нибудь тебя в настоящий вид привести, и раз уж сам не можешь, так умного человека слушай. Брось ты вздыхать да охать, и вид при ней смущенный строить, наберись храбрости и действуй смело. Купи, там, конфект, да не хламу дешевого, а получше и угощай ее на службе. Разговоры веди с ней о разных вещах, но сам говори поменьше, пускай она стрекочет, а ты, чтобы лицом в грязь не ударить, читай больше книжек с романами великосветскими и говори, как там написано. Ломай из себя этакого барина. Уходя со службы, шубку ей подай, проводи до дому, скажи, чтобы она не удивлялась, что теперь в этой стороне живешь и с ней тебе по пути; привыкнет с тобой ходить, позови в кино или театр, ну, а потом и она тебя к себе позовет, — дело-то так на лад и пойдет...

Так эти его слова мне в голову запали, что и сказать не могу. Показалось мне, что уж очень хорошо Васька придумал. Сбегал я по сему случаю в магазин, купил бутылочку горькой да закуски, роспили мы ее с Васькой за мой будущий успех, и такая это на меня уверенность нашла, что сам потом я очень этому удивлялся.

На следующий день, пропустив две рюмочки для храбрости, купил конфект в расписных, таких, бумажечках, в коробку с рисунком уложенных и ленточкой перевязанных, и прихожу на службу.

Антонина Александровна моя уже сидит на месте и бумагами по столу возит. Разделся я, сел за стол, стал бумаги разбирать. Подошла тут она ко

мне, разобрали мы с ней всю груду бумаг, на стол наваленную, и хотела она на место к себе итти, да я остановил ее и говорю:

— Очень уж вы, Антонина Александровна, много работаете, так ведь и заболеть можно и опять же кушаете за завтраком мало, — долго ли до греха?

При этих словах вытаскиваю из портфеля коробку и в руки ей сую, и приговариваю:

— Вот разрешите вам на предмет подкрепления.

Ну, известное дело, она ломаться начала и рассердилась как бы.

— Так, — говорит, — не полагается.

От этих слов меня даже пот прошиб и Ваську за его совет нехорошо поминать стал.

Но она смилостивилась и говорит мне:

— Уж очень вы человек, Петр Николаевич, хороший, обращение у вас со служащими такое деликатное и воспитание хорошее в вас видно. Открывайте вашу коробку и угощайте всех.

Краска ударила тут мне в лицо и обрадовался я так, как никогда не радовался, ну, конечно, и Ваську добрым словом помянул.

Открыл я коробку, угостил ее, а потом в канцелярию пошел угощать всех. Удивились все очень и удивленное лицо сделали, но конфету взял каждый, а некоторые даже и по две. Так коробку и оплели. Ну, да я что! Для такого дела и такого радостного случая мне ничего не жалко.

После службы я эдаким фертом к ней подхожу, беру с крючка шубку и говорю:

— Разрешите помочь.

Она посмотрела так удивленно и говорит:

— Пожалуйста.

Помог одеть ей шубку, накинул сам пальто, напихал бумаг в портфель и выхожу с ней на крыльцо — она прощается со мной, а я ей говорю:

— Нам с вами, Антонина Александровна, по пути, — переехал я на другую квартиру и живу теперь в вашем конце.

Сказать она ничего на это не сказала, дернула только своим деликатным плечиком и зашагала; плетусь рядом и я — язык к горлу присох, и сказать не знаю что. Идем и молчим. Чувствую я себя так, как будто по ошибке в рай попал.

Шли-шли — я покашливал и, наконец, набравшись храбрости, повел разговор, как там в одной книжке написано. Она на все мои разговоры отвечала только да и нет и чувствовала себя, как мне кажется, странно.

Дошли мы до ее дома — распростились, и понесся я в другой конец города, торопился домой к обеду.

После всего этого упал я духом, больно уж показалась она мне серьезной и внимания на меня необращающей, но совсем, однако, не отчаивался. Пошел в библиотеку, набрал романов разных, достал книгу о светском тоне, стал книжки читать, дела даже забросил, а по вечерам, для практики, сам с собою разговаривал. До того дело дошло, что хозяйка приходит, о здоровье моем справляться стала, а зав наш даже доктора нашего ко мне прислал.

Я не обращал на такое их тонких чувств непонимание, никакого внимания и продолжал свое.

Дела мои к этому времени поправляться стали. Конфекты она ела и вообще ко мне попривыкла. При прогулках со службы стали мы беседы вести разные. Помня Васькины слова, сам я говорил поменьше, хотя к тому времени уж по книжкам многому научился и в грязь лицом не ударил бы, к тому же и разговоры, там, разные на язык не лезли, а только чувства мне свои к ней высказать хотелось — да не смел, боялся.

Так дело шло месяца полтора, и, наконец, как-то расхрабрился и предложил ей пойти на какую-то там картину — не то «Смерть и любовь» или «Любовь и яд», — не помню уж сейчас.

Как это я сказал, так на сердце у меня и захолонуло — ну, думаю, как рассердится и пиши тогда пропало. Но она головку, эдак, наклонила и деликатным голосом говорит:

— Что ж, с вами, Петр Николаевич, я с удовольствием.

Я от радости тут чуть на всю улицу не закричал, головой замотал и минуты две ручку ее тряс.

Вечером в тот же день купил я шоколаду, и пошли мы с ней в кинотеатр, при чем взял я билеты самые что ни на есть дорогие, сели и начали смотреть картину. Что там было, я так как следует и не рассмотрел, уж очень чувствовал себя в волненьи.

Сидим, это, мы, и разговоры разные ведем, шоколадом я ее угощаю, а сам до того не в себе, что и куска проглотить не могу, и слова также еле из горла лезут. А она щебечет — соловьем разливается о посторонних разных вещах, а потом вдруг и выпалила такую вещь:

— Вы — говорит,— Петр Николаевич, очень симпатичный человек, и вид у вас такой интеллигентный, на артиста вы похожи, и очень старого моего знакомого вы мне напоминаете, да к тому же и фамилии у вас одинаковые. Когда в Ялте мы с мамой жили, там я с ним и познакомилась — кавалерийским офицером он был.

Вот на этом-то самом месте чорт меня и дернул. Не успела она ротик свой закрыть и слов своих кончить, как я таким это развязным тоном (откуда он у меня взялся и сам до сих пор не знаю) и говорю:

— А — этот... офицер... такой брюнет... еще всегда к нам верхом на лошаде приезжал и разные штучки выделывал. Помню... помню... Как же, да, ведь, это мой дальний родственник и даже детство мы с ним вместе провели — носы друг другу разбивали.

Сказал я это, да и спохватился, сообразил, что уж больно я, того, присочинил и что как-то я теперь из великосветского положения вылезу, да поздно уже было, — слово не воробей — вылетит не поймаешь.

А она встрепенулась вся, пододвинулась ко мне ближе и лопочет:

— Я всегда думала, что вы не тот, за кого себя выдаете, что вся грубоватость у вас напускная. Ну, я очень — очень рада, что в вас не ошиблась, это для меня очень важно. Вот все теперь и хорошо — приходите к нам, мама будет очень рада с вами познакомиться, наверное найдете общих знакомых,

есть о чем будет с ней поговорить. Вам будет веселее, а то живете один, как медведь в берлоге, не с кем ведь вам, бедняге, и поговорить, все кругом публика необразованная, неинтеллигентная, а у нас поразвлечетесь, поболтаете с людьми вашего прежнего круга.

От таких разговоров почувствовал я себя как-то нехорошо: с одной стороны, как бы и приятно, а с другой — странно и обидно даже своим пролетарским происхождением пожертвовать и в аристократа какого-то попасть, но чувства мои взяли верх, и думал я тогда, что сойдет это все благополучно. Но все же угрюмость на меня какая-то напала, и предчувствия какие-то в сердце сосать начали.

Проводил я ее до дому, слово она с меня взяла, что приду к ним, распростился с ней и домой пошел, как бы не в себе. Привернул по дороге к Ваське, у него пиво выпили, побренчал он на гитаре, спел чувствительные романсы, прошелся насчет грустного вида моего и чувств моих к ней, но я смолчал, сказать ему про наш разговор ничего не сказал, так как знал, что зубы скалить станет.

Прошло несколько дней, к новому своему положению попривык и даже разные случаи (из книг) из своей прежней жизни ей рассказывать начал. И она переменила со мной обращение — так это ласково разговаривает, а иной раз так на меня посмотрит, что прямо земля из-под ног уходит.

Стал заходить я к ним, с мамашей ее познакомился, и вообще дела мои быстро в гору пошли.

Совсем я тут обнаглел и даже с товарищами по другому разговаривать стал: до того в интеллигентности и высоком происхождении сам себя убедил. Васька диву давался и говорил, что если так дальше дело пойдет, то и со службы меня выгонят и вообще никуда пускать не будут. Зав тоже на меня косился и нелестные слова в глаза говорил. А я хоть бы что. Ну, одним словом голову помутило, вижу только ее, думаю только о ней и, кажется, все для нее сделать готов, да и дела мои быстро подвигались: мамаша, это, за мной ухаживает, она тоже так ласково на меня глядит и ручку при прощанье долго не выдергивает.

Обнадежился я, одним словом, и жениться на ней уже собрался, да все как-то храбрости набраться не мог, а тут случай-то и подошел, скандал, можно сказать, который чуть мне всю жизнь не испортил и даже вовсе меня в щель не загнал, — не даром сердце-то у меня щемило и мрачные мысли в голову лезли.

А дело-то вышло оно так:

Подошли тут именины мамаши, ну, известное дело, гости — зовут и меня. Одел я тройку новую, которую только что сшил, послал цветы (тоже по книжке) и пошел сам.

Прихожу, смотрю — гостей видимо невидимо, человек так 15 — все разодетые, мужчины с цветками в петлицах, дамы в больших декольте, и все больше незнакомые. Ко мне навстречу сама хозяйка и Антонина Александровна. Так радостно встречают, руку жмут и со всеми присутствующими знакомят.

В таком большом и блестящем обществе растерялся я и чувствовал себя неуверенно, сел в уголок, просижу, думаю, как-нибудь незаметно, а хозяйки особое внимание мне оказывают и в разговор втянуть стараются.

Антонина Александровна застенчивость мою заметила и ко мне подсела и все твердит: что вы, мол, говорите, не стесняйтесь — все люди свои. Сидели, это, мы с ней разговаривали, а потом спорхнула она и на другой конец комнаты направилась. Я остался один, сижу, молчу, комнату разглядываю и гостей также. Смотрю на нее — разговаривает с каким-то фертом, улыбается, смеется и мне головкой изредка кивнет. Говорила она что-то с ним, а потом обращается ко всем гостям с такими словами:

— Господа, вы не знаете, что с сегодняшнего дня нашего полку прибыло, к нам в нашу тесную милую компанию, вступает еще один достойный член, это близкий родственник знаменитого генерала Ливанова, который живет за границей.

Я, это, сижу, слушаю,— ну, думаю, кто же этот контр-революционер, и чего только ГПУ смотрит, а она поворачивается ко мне и, кивая в мою сторону, продолжает:

— Все это я говорю про нашего милейшего Петра Николаевича.

Как она это сказала, у меня перед глазами круги заходили; хотел я вскочить и крикнуть, что, мол, пять лет я на фронтах дрался и со многими такими генералишками разделался и что очень же некрасиво замешивать меня в такое родство — еле-еле сдержался, но что-то во мне как лопнуло.

После этих ее слов все загалдели, замахали руками, ко мне полезли и руку мою долго жали и трясли. Я же угрюмо молчал и в землю глазами уставился — боялся, что не сдержусь. Антонина Александровна заметила, видно, что со мной что-то не того, подходит ко мне, извиняется и говорит, что сказала она это потому, что все здесь люди свои, а потом я сам всем заявлял, что мой двоюродный брат и друг детства на юге кавалерийским офицером был, а все здесь знают, что он родной племянник генерала.

После таких ее слов призадумался я и понял, до какой точки дошел и что сам во всем виноват и из-за себя до таких оскорблений дожил. Но все же я крепился.

Сели мы все тут за стол ужинать. Установлен он всякой всячиной был: водка, вино, закуски и вообще деликатесы разные. Рядом со мной села Антонина Александровна, а с другой стороны — ферт какой-то в золотом пенсне и с умным видом.

Я сижу, больше молчу, разговоры слушаю, а на сердце тоска скребет, а тут еще все время родственников моих новых вспоминают, а меня внутри от этого коробит. Оказалось, что все они большевиков не больно-то любят и только то и делают, что палки в колеса Советской России ставят.

Так все это на меня подействовало, что стал я рюмку за рюмкой тянуть, чтобы как-нибудь себя успокоить.

Пил я пил, закусывал и чувствовал уже—в голове неясность началась, но успокоиться все не мог.

Все тоже тут подвыпили, но скромно, разговор пошел громче, но разговаривали все больше сосед с соседом и о родственниках моих больше уж не вспоминали.

Антонина Александровна меня разговорами занимала и все старалась в настоящий вид меня привести. Потом взяла, это, она под столом мою руку и так крепко, крепко пожала и глядит на меня так грустно и увлекательно.

Воспламенился тут, и вся обида и тоска проходить начала, а по случаю выпитого почувствовал я себя настолько храбрым, что хотел ей в любви тотчас же объясниться.

На этом-то самом месте и произошло крушение.

Налили мне рюмку какой-то наливки и мой сосед полез ко мне чокаться; я, это, тороплюсь скорее выпить, так как момент удобный для объяснения упустить боюсь (храбрость свою использовать), а он такую историю начинает:

— За ваше здоровье, Петр Николаевич, за ваши бывшие и будущие успехи по разгрому большевиков.

Очень такие его слова меня удивили и из душевного равновесия вывели. Что, думаю, он там еще про меня знает, да и хмель порядком в голову засел, и по этим причинам выдержка моя куда-то делась, и вообще слишком уж волнений в этот день натерпелся и совсем сам себя потерял. Посмотрел я на него удивленно, руку от Антонины Александровны вытянул, за лоб схватился и сначала никак в толк его слов взять не мог, а потом вдруг мне как в голову придет, что, значит, этот франтик предполагает, что и теперь я служу у Советской власти, а сам как бы шпион— такая догадка в холод меня бросила и вовсе с толку сбила. Повернулся я к нему и таким это громким голосом, что все на меня посмотрели, сказал:

— Извольте гражданин-товарищ объяснить ваши слова, мне непонятные и очень может быть обидные.

Франтик после того как бы съежился и так это робко потянул:

— Вашего кузена я хорошо на юге знал. Приятель мой он был и много раз мне рассказывал, что у него есть только один двоюродный брат, которого он очень любит, с которым он все детство провел и что его кузен очень ценился Деникиным, так как он много комиссаров перевел.

На этих словах так я вскалился, такую обиду и злость почувствовал, что все мое желание быть сдержанным полетело к чорту, водка голову затуманила и даже любовь моя к Антонине Александровне на задний план отошла. Вскочил я со стула, кулаком по столу как стукну, что даже посуда зазвенела, рюмки попадали, а гости все вскочили, и закричу во всю глотку:

— Ах ты, мерзавец и подлец после этих слов. Меня, который всю гражданскую войну в Красной армии дрался и много вас, белогвардейцев, бесплатно в царство небесное отправил, ваших генералов с России поскидывал, меня в таких вещах обвинять, да за такие слова бить вас всех надо! — и двинул я ему кулаком в физиономию, а он только крякнул и на пол ничком лег.

Поднялся тут визг, плач, шум, мужчины все на меня, и пошла тут потасовка. Хмель-то тут меня и закружил, в ноги бросился, на ногах как следует не держусь и разобрать ничего не могу, помутнение в голове в общем.

Как от них выбрался и домой попал, так и теперь не помню.

Просыпаюсь, только, на другой день, смотрю—лежу у себя на кровати, в новом костюме и в сапогах, хочу правый глаз открыть как следует и не могу, потянулся, кости ломит. Во рту что делается — и не говорите. Встал с кровати, посмотрелся в зеркало и вижу: под глазом фонарь, на руках ссадины, нос разбит и костюм новый весь порван.

Вспомнил все, что со мной было, и такой, это, холод по сердцу прошел и ноги подкосились. Сел на стул и дрожь меня взяла, что, мол, буду теперь делать. Так до вечера я мучился, метался и совсем даже лишить себя жизни решил; был бы револьвер — сразу застрелился, а вот повеситься больно уж противно было. Вечером пришел Васька и, увидав мой разбитый вид, сначала смеяться начал, но потом понял, что дело-то серьезно — просить меня рассказать ему стал.

Так от всего этого я устал и так это все меня мучало, что рассказал я ему все для облегчения.

Выслушал он меня и, ну, давай пилить; пилил он долго и наставления разные читал и совсем меня успокоил; послал его за опохмелкой, роспили мы с ним понемногу и помаленьку стал я в норму входить.

Посидел недельку я дома, залечил фонари и пошел на службу. На службе узнал, что Антонина Александровна неделю у нас не служит. Так это меня успокоило, и так я этому обрадовался, что на все грубости зава внимания не обратил. И с тех пор служу по-прежнему и отказываться от своего пролетарского происхождения не собираюсь.

Советы как органы пролетарской демократии.

Я. А. Яковлев.

I. К истории вопроса.

Вопрос о работе городских советов подвергся длительной проработке специальной комиссии Совещания по советскому строительству, работавшей в течение почти 4 месяцев.

Совещание по советскому строительству приняло три основных проекта постановления: во-первых, о работе пленума советов, во-вторых, — о работе секций советов и, в -третьих, — основные начала деятельности и организации городских советов.

В основу этих постановлений мы положили, с одной стороны, изучение ряда материалов о работе городских советов, с другой стороны, некоторые принципиальные положения, вытекающие из ленинского учения о советской демократии. Советы, как особая форма пролетарской диктатуры, имеют два лица: с одной стороны, это организация подавления сопротивления господствующих классов, с другой — это организация подлинной демократии трудящихся.

В соответствии с условиями выдвигается на первое место та или другая сторона, то или иное лицо советов. Нынешние условия таковы, что на первое место по значению для судеб пролетарской диктатуры выдвигается значение советов, как органов пролетарской демократии (усиление советов, как органов пролетарской демократии создает в настоящих условиях новые возможности подавления сопротивления буржуазии, поскольку расширяет базу пролетарской власти). Этими принципиальными соображениями руководствовалась наша комиссия, при разработке вопроса о городских советах, при чем, конечно, мера возможных здесь действительных успехов определяется в значительной степени тем, что мы имеем к настоящему времени на местах.

Еще одно предварительное замечание. В жизни городских советов совершенно так же, как и в жизни сельских волостных советов, период войны вызвал резкое сужение их работ, как коллективных органов. Их функции переходили сначала к исполкомам, затем к его президиуму. Таким образом роль советов всячески суживалась, и к концу войны, т.-е. в 1920 — 1921 г.г., совет в практической своей работе до известной степени уже заменялся своим исполнительным органом, т.-е. коллегией из нескольких человек.

Это происходило по трем причинам: во-первых, политические условия были таковы, что требовали максимального сосредоточения власти, максимального приближения к единовластию; во-вторых, — и это нужно здесь отметить — города превращались в потребительские центры, задачи в хозяйственной части сводились, главным образом, к тому, чтобы обеспечить города хлебом; это, естественно, мешало развернуться работе городского совета и суживало роль и значение советов: наконец, в-третьих, в условиях военного коммунизма городские предприятия и промышленные предприятия городского значения изымались из ведения местных советских органов и передавались в ведение главков, ВСНХ и других. Так исчезала хозяйственная база для их деятельности.

В начале 1921 г. была попытка изменить это положение: были изданы два постановления президиума ВЦИК, но они серьезного значения не имели. Положение о горсоветах 1922 года наиболее ярко «записало» то положение, когда горсовет по существу не был советом и, не имея достаточной хозяйственной основы, сводился к узкой коллегии, называемой президиумом и заменявшей фактически совет.

Обратный процесс начинается, примерно, с 1922 года и по существу идет по двум путям. Первый путь — путь восстановления коммунального хозяйства; по мере восстановления коммунального хозяйства появляется и городской бюджет. Второй путь — через секции.

Мало-по-малу начинает восстанавливаться коммунальное хозяйство, появляется электрическое освещение, начинается жилищное строительство, появляется трамвай, — появляется и основа для городского бюджета, а вместе с тем намечается и целый ряд законов, которые идут навстречу городам, правильнее сказать, исполкомам, систематически упуская при этом из виду существование городского совета. Так, например, почти ни в одном законе периода 1922 — 1924 г.г. по вопросам коммунального и жилищного строительства нет упоминания о городском совете. В «Положении о местных финансах», которое принято 3-й Сессией в конце 1923 года, городские доходы и расходы для губернских и уездных городов определяются губ- и уисполкомами без участия горсовета. Все же поскольку создавалась соответствующая основа, явилось и оживление работы горсоветов.

Одновременно стали играть роль и секции. Эти секции стали создаваться повсеместно. Они постепенно превратились в основной орган, втягивающий рабочих и красноармейцев в советское строительство.

Все это показывает, в чем была основная практическая задача, которая стояла при разработке вопроса о горсоветах. Положение таково, что мы имеем, с одной стороны, горсоветы, в силу условий войны, замененные в значительно доле губ- и уисполкомами; мы имеем, с другой стороны, ряд здоровых тенденций, об'ясняющихся в первую очередь общим ростом страны, общим ростом рабочего класса; мы имеем, наконец, ряд организационных предпосылок успешного разрешения общеполитической задачи оживления горсоветов, выражающихся в росте хозяйственной базы горсоветов, с одной стороны, и в росте работ секций советов — с другой. Применительно к этому

партии в настоящий момент необходимо так намечать работу советов, чтобы эта работа втягивала в управление государством значительные слои беспартийных.

Все отдельные задачи, стоящие перед партией, упираются в эту задачу. Нельзя добиться ни укрепления советской власти, ни улучшения советского аппарата, нельзя бороться с бюрократизмом, улучшать обслуживание всех нужд трудящихся, если не будет по настоящему работающего, делового совета, который втягивал бы в себя всю основную работу по городу.

Как улучшить советский аппарат, как бороться с бюрократизмом, Ленин учил нас бесконечное число раз, и всегда учил искать спасения от бюрократизма прежде всего в инициативе, самодеятельности и в работе самих трудящихся масс. Об этом он говорит в начале 1921 года:

«Оживлять советы, привлекать беспартийных, проверять беспартийными работу партийных, — вот абсолютно верно, вот, где работы тьма, непочатый угол работы».

А в 1917 году он писал:

«Не бойтесь инициативы и самостоятельности масс, доверьтесь революционным организациям масс — и вы увидите во всех областях государственной жизни такую же силу, величественность, непобедимость рабочих и крестьян, какую обнаружили они в своем об'единении и порыве против корниловщины.

«Неверие в массы, боязнь их почина, боязнь их самостоятельности, трепет перед их революционной энергией, вместо всесторонней беззаветной поддержки ее, вот чем грешили больше всего эсеровские и меньшевистские вожди».

Большевистская партия выполнила ленинский завет и именно потому и победила. Мы никогда не страдали боязнью почина, самостоятельности и революционной энергии рабочих масс, а теперь больше чем когда бы то ни было нам нужно снова обратиться к этому почину, к этой инициативе, к этой энергии во имя расширения и укрепления базы пролетарской диктатуры.

В настоящий момент из этих общих предпосылок вытекает задача партии помочь беспартийным и партийным рабочим, добиться установления подлинной отчетности советов, добиться того, чтобы рабочий и крестьянин научился сам ловить бюрократа и отзывать его из совета правомочным постановлением собрания избирателей. Задачей партии является добиться того, чтобы каждый доклад членов совета разбирался на собрании избирателей не по формальному, не в порядке слушательной повинности, а в порядке серьезной критики того, насколько работа совета обслуживает основные нужды трудящихся; задача партии — обучать рабочих и крестьян обращаться, апеллировать к своим советам во имя исправления тех или иных недостатков совета. Для этого нужно, чтобы советы стали действительно работающими органами, об'единяющими все трудящиеся массы для участия в государственном управлении и в активном хозяйственном строительстве. С этой точки зрения необходимо подойти к вопросам и самого содержания работы совета, и методов, и работы, и форм работы.

II. О работе пленумов Советов.

Первое, что получило практическую разработку, это — работа пленумов. Здесь приходится отметить следующие обстоятельства: в огромном большинстве губернских, уездных и в значительной части крупных городских советов неизжиты еще остатки военного времени, когда хозяйственная и культурная работа суживалась и сокращалась. Вопросы городского хозяйства и управления в значительной части городов не прорабатываются самими советами. Заседания советов продолжают носить наполовину информационно-торжественный характер. Так, в Екатеринославском совете из числа 12 заседаний было 8 торжественных, в Бобруйском совете было 5 торжественных заседаний из общего числа 7; в Курском совете из 7 заседаний было 4 торжественных. Конечно, торжество и торжественные заседания — иногда вещь полезная, но они во всяком случае ни в коей мере не разрешают той главной задачи, втягивания рабочих в советское строительство, которая стоит перед горсоветами. В последний год, в общем, число деловых заседаний начало расти.

Но и самый метод работы над деловыми вопросами нельзя признать удовлетворительным.

Обычно практикуется такой метод: заслушиваются отчеты и доклад. Доклад чуть-чуть обсуждается, но редко передается в секцию. Почти никогда доклад не признается неудовлетворительным. Из всех данных по 34 советам отмечен только один случай, когда совет признал работу отдела неудовлетворительной. И самый факт, что за год по 34 советам был только один случай, когда совет признал работу отдела неудовлетворительной, а во всех других случаях одобрил, показывает, что в области деловой работы советов не все благополучно.

Каковы же конкретные выводы отсюда?

Выводы следующие:

1. От информационно-декларативной и торжественной работы надо перейти к работе над конкретными культурным вопросами.

2. Работа над деловыми вопросами должна вестись так, чтобы была проработка докладов и не было бы боязни перед критикой, самой придирчивой и самой серьезной.

3. Ни в коем случае нельзя ограничивать круг вопросов только вопросами коммунальными. Совет не есть старая городская дума, которая занималась только вопросами электрического освещения и трамвая. Совет есть орган власти, который охватывает всю сумму хозяйственных, политических и прочих вопросов, стоящих перед трудящимся населением города.

4. В состав совета должен быть внесен ряд изменений, которые гарантировали бы уменьшение доли ответственных работников совета. Почти все отчеты указывают на то, что ответственные работники — члены совета — являются балластом. Новые перевыборы сделали в этом отношении огромный шаг вперед, но все же наметившееся выдвижение беспартийных и рабочих от станка по линии горсоветов еще не дало всех нужных результатов. Ана-

лиз цифр, характеризующих состав коммунистов в горсоветах, показывает, что большие шаги в дальнейшем в сторону вовлечения беспартийных могут и должны быть сделаны.

5. Если принять во внимание, что на полтора месяца в среднем приходится одно заседание совета, что посещаемость слаба, что она прогрессивно падает, спускаясь от начала существования совета к концу, что запаздывание является систематическим, а откладывание заседания, неряшливость к подготовке докладов в большинстве уездных городов, как и в губернских и промышленных городах, на-лицо, что недостаточная подготовительная работа по проработке доклада в секции имеется, то из этого намечаются основные выводы. Эти выводы заключаются в том, чтобы пленумы, по правилу, собирались, помимо очередных заседаний, один раз в три месяца и деловым образом заслушивали результаты работ секции, комиссии и через них вели дальнейшую разработку вопроса.

6-м вопросом, имеющим большое значение, является вопрос о неорганизованном населении. В этой области у нас достижений почти нет. Мы часто отмахиваемся руками от этого неорганизованного населения городов. В нашей предварительной работе не раз приходилось слышать вопрос: откуда вы взяли это неорганизованное население? Но оказывается, что по данным Наркомвнудела из 1.400.000 избирателей только 53½% приходится на членов профсоюзов и красноармейцев, а целых 46½% приходится на неорганизованных избирателей, т.-е. домашних хозяек, кустарей, садоводов, огородников и т. п. Конечно, эта категория избирателей выше всего в мелких городах и ниже в крупных.

И без того в общем невысокий процент участия избирателей в выборах (1922 г. — 36%, 1923 г. — 32%, 1924 г. — 30,7%) дает систематическое снижение от городов крупных к городам мелким, — в значительной степени за счет именно неорганизованного населения.

В общем, в выборах 1924 г. красноармейцев участвовало 72%, членов профсоюзов в среднем — 39%, «прочих избирателей» — 16%, при чем эти «прочие» по отдельным городам спускаются до небольшой доли процента, например, во Владимире—0,3%, в Старой Руссе—0,7%, в Кинешме—0,1%.

Отсюда необходимость развить деятельность по вовлечению этих слоев трудящихся в работу советов по установлению порядка выборов, приспособленного к условиям быта этих слоев, соответствующих сроков отчета и т. д.

7-м вопросом является вопрос об исполнительных органах в городских советах. Здесь приходится отметить следующее обстоятельство. Первое — от отсутствия каких бы то ни было исполнительных органов городских советов прежде всего страдают и город, и деревня. Когда у горсовета нет своего президиума, а уездный или губернский исполком играют роль одновременно и президиума городского совета, то получается в большинстве случаев, что этот губисполком или уисполком является преимущественно городским органом и должен сосредоточивать внимание на бюджете и на целом ряде других отраслей работы именно города. Тут теряют и рабочие и

крестьяне. Поэтому Совещание выдвинуло проект создания президиумов горсовета, которые, являясь частью единого губисполкома (чтобы не получалось разнобоя, чтобы единство управления сохранилось), в то же время были бы такими исполнительными органами горсоветов, которые стягивали бы к себе все городские дела, вели текущие дела, руководили бы секциями и т. п. Этот президиум мыслится нами, не как конкурент губисполкома, а орган, который способствовал бы вовлечению трудящихся в работу советского строительства.

Создание президиума имеет задачей облегчить общую работу советов, как органов, втягивающих рабочих в советское строительство. А для этого президиум должен не заменять горсовет, а быть действительно его исполнительным органом.

8-й вопрос — относительно отчетности и связи. С отчетностью дело обстоит более чем слабо. Из обследованных 34 городов только в четырех имеется отчетность президиумов перед пленумом (среди этих четырех — Москва и Ленинград), и только в восьми установлена регулярная отчетность советов перед избирателями. Это установлено, но известно, что одно дело — «установить», что отчетность «должна быть», а другое дело — действительно иметь эту отчетность. Поэтому тут надо внести еще соответствующую поправку, ухудшающую положение. При этом надо заметить, что обсуждение отчетов не ведется. В лучших случаях задаются только вопросы. Резолюции принимаются единогласно, и, естественно, в большинстве случаев одобрительного характера. Нет абсолютно никаких данных, которые позволили бы сказать, что в результате принимаемых собраниями избирателей решений, действительно, ведется какая-либо работа. Отсюда вывод, сформулированный в п. 6 предложения о работе пленумов советов, устанавливающий формы и нормы этой отчетности. Цель этого пункта—поставить совет под максимальный обстрел избирателей, который породил бы у членов советов желание отчитаться:

«Необходимо добиваться все усиливающейся проверки работы советов самими избирателями путем введения в норму правил систематических отчетов членов совета перед избирателями. На основе обсуждения этих отчетов на собраниях избирателей, критики их, действительного разбора собраниями избирателей всей работы совета и указания таких избирателей на основные недочеты в работе как членов совета, так и совета в целом должна исправляться и улучшаться вся работа советов.

«Президиум ЦИК вместе с тем напоминает, как избирателям, так и членам совета, что одним из основных начал, установленных советской Конституцией, является право отзыва избирателями членов совета, работающих неудовлетворительно».

Здесь приходится отметить, что, к сожалению, мы почти не знаем случая, когда избиратели воспользовались бы предоставленным им правом отзыва члена совета, негодного к работе, а между тем нет никаких оснований предполагать, что все без исключения члены совета работают хорошо.

Достаточной связи избирателей с членами совета не имеется, при чем, в частности, всегда отсутствует практика приема жалоб и заявлений членами совета. Целый ряд выводов, которые сформулированы в нашем Положении, говорят о том, что главная задача — поставить членов совета в такое положение в отношении их к избирателям, чтобы они научились отчитываться, и притом систематически, тем самым втягивая избирателя в работу советов. Если же он этого не делает, то он попадает под тот пункт Конституции, который предусматривает отзыв в любое время негодного для работы члена совета его избирателями.

III. О работе секций.

Практика показала, что не может быть действительно работающего совета с активными членами совета, с активными избирателями, если не работают секции. Секции у нас превратились в своеобразную переходную организацию от рабочей массы к советам. Составляясь из членов советов и делегатов организаций рабочего класса, эти секции дают связь с рабочей массой, правильнее сказать, могут дать связь с рабочей массой еще более близкую, чем сами советы. Фактически положение секций характеризуется следующим образом:

1) Секции организованы теперь почти во всех губернских городах и, примерно, только в половине уездов. Отсюда вывод следующий: нужно добиться того, чтобы секции имелись во всех без исключения городских советах, в том числе и в советах уездных городов.

2) При рассмотрении того, какие отрасли работы захватывают секции, оказывается, что наибольшее внимание обращено на коммунальное дело, народное образование и здравоохранение. Больше половины советов имеют, кроме того, финансовые и экономические секции. На первые три секции падает максимальное число участников секции и при том относительно большое количество положительных отзывов о работе секции.

Отсюда видно, какие секции являются основными. Наша задача оформить и выявить, какие секции наиболее жизненны, наиболее деловые и какие вызывают наибольший интерес к работе. Это нужно для того, чтобы и в других городах, где этих секций не существует, такие секции были созданы и работали на тех началах, на которых работают лучшие секции.

3) Вопрос о составе секций. В составе секции рабочих от станка недостаточно: в общем число их колеблется от 8 до 65%.

Мы должны добиваться того, чтобы в составе секций было минимальное количество ответственных работников, и основной состав секций создать из рабочих от станка и красноармейцев. Это гарантирует нам соответствующее разворачивание работы секций.

4) Вопрос о том, как и над чем должны работать секции. Тут приходится отметить следующее: малое число заседаний (многие не состоялись из-за отсутствия кворума), слабая посещаемость (50% посещаемости, — это идеал), массовое число информационной работы, когда докладчик «отхло-

крестьяне. Поэтому Совещание выдвинуло проект создания президиумов горсовета, которые, являясь частью единого губисполкома (чтобы не получалось разнобоя, чтобы единство управления сохранилось), в то же время были бы такими исполнительными органами горсоветов, которые стягивали бы к себе все городские дела, вели текущие дела, руководили бы секциями и т. п. Этот президиум мыслится нами, не как конкурент губисполкома, а орган, который способствовал бы вовлечению трудящихся в работу советского строительства.

Создание президиума имеет задачей облегчить общую работу советов, как органов, втягивающих рабочих в советское строительство. А для этого президиум должен не заменять горсовет, а быть действительно его исполнительным органом.

8-й вопрос — относительно отчетности и связи. С отчетностью дело обстоит более чем слабо. Из обследованных 34 городов только в четырех имеется отчетность президиумов перед пленумом (среди этих четырех — Москва и Ленинград), и только в восьми установлена регулярная отчетность советов перед избирателями. Это установлено, но известно, что одно дело — «установить», что отчетность «должна быть», а другое дело — действительно иметь эту отчетность. Поэтому тут надо внести еще соответствующую поправку, ухудшающую положение. При этом надо заметить, что обсуждение отчетов не ведется. В лучших случаях задаются только вопросы. Резолюции принимаются единогласно, и, естественно, в большинстве случаев одобрительного характера. Нет абсолютно никаких данных, которые позволили бы сказать, что в результате принимаемых собраниями избирателей решений, действительно, ведется какая-либо работа. Отсюда вывод, сформулированный в п. 6 предложения о работе пленумов советов, устанавливающий формы и нормы этой отчетности. Цель этого пункта—поставить совет под максимальный обстрел избирателей, который породил бы у членов советов желание отчитаться:

«Необходимо добиваться все усиливающейся проверки работы советов самими избирателями путем введения в норму правил систематических отчетов членов совета перед избирателями. На основе обсуждения этих отчетов на собраниях избирателей, критики их, действительного разбора собраниями избирателей всей работы совета и указания таких избирателей на основные недочеты в работе как членов совета, так и совета в целом должна исправляться и улучшаться вся работа советов.

«Президиум ЦИК вместе с тем напоминает, как избирателям, так и членам совета, что одним из основных начал, установленных советской Конституцией, является право отзыва избирателями членов совета, работающих неудовлетворительно».

Здесь приходится отметить, что, к сожалению, мы почти не знаем случая, когда избиратели воспользовались бы предоставленным им правом отзыва члена совета, негодного к работе, а между тем нет никаких оснований предполагать, что все без исключения члены совета работают хорошо.

Достаточной связи избирателей с членами совета не имеется, при чем, в частности, всегда отсутствует практика приема жалоб и заявлений членами совета. Целый ряд выводов, которые сформулированы в нашем Положении, говорят о том, что главная задача — поставить членов совета в такое положение в отношении их к избирателям, чтобы они научились отчитываться, и притом систематически, тем самым втягивая избирателя в работу советов. Если же он этого не делает, то он попадает под тот пункт Конституции, который предусматривает отзыв в любое время негодного для работы члена совета его избирателями.

III. О работе секций.

Практика показала, что не может быть действительно работающего совета с активными членами совета, с активными избирателями, если не работают секции. Секции у нас превратились в своеобразную переходную организацию от рабочей массы к советам. Составляясь из членов советов и делегатов организаций рабочего класса, эти секции дают связь с рабочей массой, правильнее сказать, могут дать связь с рабочей массой еще более близкую, чем сами советы. Фактически положение секций характеризуется следующим образом:

1) Секции организованы теперь почти во всех губернских городах и, примерно, только в половине уездов. Отсюда вывод следующий: нужно добиться того, чтобы секции имелись во всех без исключения городских советах, в том числе и в советах уездных городов.

2) При рассмотрении того, какие отрасли работы захватывают секции, оказывается, что наибольшее внимание обращено на коммунальное дело, народное образование и здравоохранение. Больше половины советов имеют, кроме того, финансовые и экономические секции. На первые три секции падает максимальное число участников секции и при том относительно большое количество положительных отзывов о работе секции.

Отсюда видно, какие секции являются основными. Наша задача оформить и выявить, какие секции наиболее жизненны, наиболее деловые и какие вызывают наибольший интерес к работе. Это нужно для того, чтобы и в других городах, где этих секций не существует, такие секции были созданы и работали на тех началах, на которых работают лучшие секции.

3) Вопрос о составе секций. В составе секции рабочих от станка недостаточно: в общем число их колеблется от 8 до 65%.

Мы должны добиваться того, чтобы в составе секций было минимальное количество ответственных работников, и основной состав секций создать из рабочих от станка и красноармейцев. Это гарантирует нам соответствующее разворачивание работы секций.

4) Вопрос о том, как и над чем должны работать секции. Тут приходится отметить следующее: малое число заседаний (многие не состоялись из-за отсутствия кворума), слабая посещаемость (50% посещаемости, — это идеал), массовое число информационной работы, когда докладчик «отхло-

пает» — и делу конец, отсутствие плана работы, случайность возникновения вопросов и получающееся отсюда разочарование, безразличие членов секций к своей работе. Чтобы исправить положение, нужно работу секции поставить так, чтобы каждая секция рассматривала план и отчет работы отдела, давала совету и президиуму заключения о работе отделов в целом, прикрепляла членов секции к городским предприятиям так, чтобы по докладу прикрепленных можно было предпринять соответствующие практические мероприятия. Словом, нужна систематическая плановая работа, проработка отдельных мероприятий совета, ревизионно-контрольная работа и т. д. вместо информационно-штамповальной работы.

Образцы примерной работы дают и Москва, и Ленинград, и Нижний, и в некоторой степени Екатеринослав и ряд других городов.

5) Вопрос о взаимоотношениях секции с отделами: старым Положением было предусмотрено обязательное председательствование в секции заведующего отделом. Это убивает работу секции, ибо работа ограничивается отчетными докладами завед. отделом, которые носят информационно-торжественный характер. Поэтому необходимо возглавление секции бюро своим председателем. Конечно, членом бюро должен входить и заведующий отделом.

6) Вопрос об увязке работы секции и пленума. Для того, чтобы секция могла развернуть свою работу, чтобы рабочий и красноармеец почувствовали к ним настоящий интерес, надо, чтобы эта работа была увязана с пленумом, чтобы пленум заслушал доклады и заключения секций, чтобы пленум разбирал каждый случай опротестования секциями тех или иных постановлений президиума и т. д. Вот основные мероприятия.

Нужно сказать, что когда рассматриваешь работу 34 обследованных советов, то находишь массу жалоб насчет того, что секции не жизненны, заседания не разрешают вопросов, а все приходится разрешать исполкому, что секции плохо относятся к своим обязанностям, что состав их текуч, что секции не вышли еще из подготовительного периода и т. д. Но то обстоятельство, что в ряде городов эти секции превратились уже в работающие организации, показывает, что секции плохи там, где плохи руководители совета или где руководители совета еще не поняли всего огромного значения секций в настоящих условиях. Нам приходится встречаться здесь с особо упорным сопротивлением некоторых товарищей в таком, казалось бы, частном вопросе, как вопрос о том, кто должен быть председателем секции — заведующий отделом или специально выбранное секцией лицо. Товарищи, настаивающие на том, чтобы председателем секции оставался по-прежнему соответствующий заведующий отделом, по существу стремятся закрепить нынешнее положение, когда секция превращается часто в маложизненный «привесок» к отделу. Противники нашего предложения указывают на то, что работа отделов сорвется, если заведующий отделом не будет председателем секции, что будет создана масса ненужных трений, что будет много некомпетентного вмешательства рабочих, не знающих соответствующего дела и т. п. На все это мы можем возразить одно: все такие возраже-

ния носят характер той самой боязни рабочего, боязни его почина, его самостоятельности, против которой так энергично предостерегал Ленин. Еще недавно мы не боялись взять весь государственный аппарат и поставить во главе всех отделов и подотделов людей, которые всей своей предыдущей работой отнюдь не подготовлялись к роли администраторов. Неужели же теперь может грозить нашей административной машине председательство в секции рабочего, который еще не обучен всем тайнам советской административной машины, но который поработает месяц-другой-третий и научится, как тому научилось нынешнее поколение советских администраторов? Поэтому нам кажется недопустимым делать какие бы то ни было уступки тем советским администраторам, которые видят угрозу для наших отделов и подотделов даже в выделении секциями своих собственных выборных председателей.

IV. Необходимо новое положение о горсоветах.

Новые задачи, а частью и новые формы работы горсоветов, необходимо закрепить в порядке издания нового Положения о городских советах. Старое Положение было сгустком военного периода. Старое Положение упраздняло у горсоветов какой бы то ни было исполнительный орган. Оно просто декретировало, что президиум уисполкома или губисполкома, так сказать, — «по должности» является и президиумом городского совета.

В разделе о функциях городского совета оно останавливалось на общих вещах, которые имеются в положении о сельсоветах, виках и с'ездах советов. (Нужно поднимать культуру, охранять порядок, руководить советской деятельностью и проч.) Ни словом не упоминалось о городском бюджете, о коммунальных предприятих; вопрос о работе пленума в этом Положении разрабатывался так, что на первом месте стояли вопросы общегосударственного, общеполитического значения, плюс к этому отчеты губисполкомов, гиков, уиков и т. д. (А ведь если все отчитываются и никто не отвечает и не выбирается советом, то действительно отчетности получается мало.)

В разделе о секциях признавалось возможным организовать их. Секции до известной степени допускались, обязательной организации их не было. Бюро секции рассматривалось как «неот'емлемая» часть отдела. Иначе говоря, в 1922 году в этом старом Положении был закреплен преимущественно опыт военного времени.

В основу нового Положения необходимо положить правило, чтобы ничего не выдумывать, не вносить ни одного пункта, который не имел бы выражения той или иной местной практики. В новом Положении должна быть закреплена практика наиболее передовых городов и отчасти опыт сельсоветов и виков в нынешних условиях, когда вовлечение беспартийных в советское строительство и оживление советов стало важнейшей задачей.

Поэтому проект нового Положения, принятый на Циковском Совещании по советскому строительству, имеет следующий вид: пункты 1 — 4 говорят о компетенции советов. Пункт 5 — об обязательности организации советов повсюду (ибо мы имели очень печальное положение, когда ряд горо-

дов, в том числе и крупных рабочих поселков, признавая ненужной низацию советов, нарушая этим советскую Конституцию, которая т| организации советов в каждом городе и поселке с рабочим населе Пункты 6 — 7 дают основу работы пленума. Пункт 8 — основы работ нума в области руководства секциями. Пункты 9 — 12 разрабатываю тоды и технику работы совета, определяют основные начала их ра Пункты 13 — 34 рассматривают содержание работы секций, их взаи ношения с советами, с отделами, состав их, при чем Положение стре построить их так, чтобы была полная гарантия втягивания рабочих в (ское строительство. 49 — 56 пункты рассматривают вопрос об орга ционном строении городского совета и о мерах, которые гарантируют вращение президиума в подотчетный совету орган. Пункты 35 — 40 сматривают меры, гарантирующие действительное участие членов сове всей работе совета. Пункты 41 — 48 и 57 — 64 рассматривают меры, г тирующие связь членов совета с избирателями и их ответственность і избирателями.

V. Двойной призыв.

В заключение необходимо остановиться еще на двух моментах. рассмотреть, как изменялись содержание, методы, формы работы сов за 8 лет, то придется признать, что советы отличались и отличаются ис чительной гибкостью в отношении удовлетворения тех потребностей раб и крестьян, которые вызываются жизнью. Недавно белые юристы в П издали два тома о советском законодательстве, в которых заключено м ненависти к советам и в то же время вопреки этой ненависти эти юр вынуждены признать, что советская система отличается огромной элас ностью. Они с горечью пишут о том, что советы действительно усиленно полняли свои задачи и в различных стадиях войны и военного коммунизм в условиях новой экономической политики, каждый раз меняя метод формы работы.

По существу, у нас теперь стоит вопрос о том, как приспособить н советы и в городах и в деревнях к условиям, при которых советы могли развиваться и укрепляться, возглавляя культурный и хозяйственный по рабочей и крестьянской массы. Для этого их работу надо поставить та образом, чтобы задачи, которые стали очередными были выполняемы сс тами в полной мере. Поэтому все решения партии и советской власти вопросу о советах должны носить характер двойного призыва: с одной с роны, обращение к самим рабочим массам, с другой стороны, обращен к имеющемуся кадру советских работников. Нет лучшего способа исп влять работу коммунистов, — говорил десятки раз тов. Ленин, — как к гика их беспартийными. Поэтому все решения о советах представляют должны представлять собой в дальнейшем в первую очередь призыв к б партийным рабочим и крестьянам с предложением: «бери работу комму стов в советах под критику, входи сам в эту работу и отвечай за эту раб перед рабочими и крестьянами». Во-вторых, эти решения представляют

бой и должны представлять дальнейший призыв к тому кадру советских работников, который является основным в советах. В отношении к ним партия говорит: нужно кое-что изменить в методах их работы. Тот, кто сможет эти изменения внести, тот в настоящих условиях сможет быть доверенным лицом рабочих и крестьян.

Нам нужно принять все меры к тому, чтобы число таких, которые не справятся с задачей руководства рабочими и крестьянами в новых условиях, было возможно меньше.

Промышленность к концу восстановитель ного процесса.

Вл. Сарабьянов.

Наша промышленность восстановляется настолько быстрым темп что даже крайние оптимисты находят его совершенно нежданным и не данным.

И действительно, автор настоящей статьи, относимый обычно к лаге крайних оптимистов, только год тому назад, опираясь на имеющийся ста стический и экономический материал, уверял, что довоенного уровня госп мышленность достигнет в 1928 г., и его (автора) квалифицировали как б годушного оптимиста. А ведь теперь и пессимисты не сомневаются, что п дукция в размерах 1913 г. будет получена уже в 1926/27 г.

Но эти просчеты как тех, так и других отнюдь не являются их вин Дело в том, что предвидеть, под каким углом будет итти вверх кривая хоз ства в целом и в отдельных его участках не было никакой возможности.

Нужно определенно сказать, что восстановительный процесс — преи щественно процесс стихийный, богатый всевозможными кризисами и по мами. Он не имеет темпа, если рассматривать кривую большими отрезами.

Стихийность восстановительного процесса обусловлена уже одним т что мы почти ничего не строим, мы восстанавливаем старое, восстанавлива в той мере, в какой нам дает средства рынок, наиболее стихийный вме с сельским хозяйством участок нашего хозяйственного бытия.

Этот рынок, как и крестьянское производство, в малой степени п дается учету, а в результате — масса неожиданностей, которые так бро ются в глаза на помесячных статистических диаграммах за несколько л

К тому же мы не сумели оценить того хозяйственного натиска, ко рый произведен крестьянами и кустарями. Пожалуй, играет большую ро и недооценка нами той некультурности деревни, которая ведет к усиленно накапливанию средств.

Это звучит несколько парадоксально, а между тем здесь нет расхож ния с действительностью.

Крестьянство благодаря своей крайней некультурности воздерживает от удовлетворения целого ряда таких потребностей, без которых совреме ный человек, хотя бы и глухой деревни, нами как-то не мыслится. Это возде

жание своим результатом имеет накопление денежных средств, реализуемых в землеустройство, в орудия, хозяйственный инвентарь и т. п.

Судя по тому, что спрос на изделия промышленности растет более быстрым темпом, чем на кустарные, можно смело утверждать наличие упомянутого нами воздержания и соответствующего ему накопления с целью усилить натиск именно в сфере производства. Вот, скорей всего, почему в 1924/25 г. промышленность побила за все годы нэпа рекорды в своем развитии. До последнего года считалось твердо установленным, что темп промышленного роста с каждым годом нэпа будет замедляться, и мы, пытаясь продолжить статистическую кривую индустриальной эволюции, снижали процент прибавки выработки с 35% до 30, до 25 и т. д.

В этом году, несмотря на плохой урожай 1924 г., наши обобщения аннулированы самой жизнью. Вот таблица стоимости промышленной продукции, учитываемой ЦОС'ом (статистики ВСНХ), подтверждающая сказанное нами:

	В милл. рубл. по довоенным ценам.		
	Абсолютно.	В %% к 1921/22 г.	В %% к предыд. году.
1921/22 г.	850,3	100	—
1922/23 »	1.238,9	146	146
1923/24 »	1.617,8	190	131
1924/25 г. 1-е полуг	1.265,0	—	—
1924/25 г. предполож. за год	2.600,0	306	161

Итак, темп роста с 46% снизился до 31%, а в этом году 61%, скорей всего, минимален.

Об'яснение столь быстрому расцвету промышленности лежит, главным образом, в росте товарности сельского хозяйства.

Если число лошадей достигло 71% количества в 1916 г., если почти на том же уровне стоит состав волов и быков, то овец и коз мы имеем 82%, свиней (повидимому, преуменьшено) — 86%, рогатого крупного скота, коров — 99%, молодняка и телят — 89%.

Это все те виды скота, продукция которых поступает или преимущественно (свиньи) или в большом проценте (молоко, масло, мясо) на рынок.

Продукция (исчислено по ценам 1913 г.) возрасла с 1923 г. по 1924 г. на столько процентов (округлено):

Лен - волокно	42
Хлопок - сырец .	115
Свекловица	35
Семена кормовых трав	35
Говядина и баранина .	33
Свинина .	59
Кожи .	21
Щетина	89
Продукты птицеводства .	20

Вот почему, несмотря на плохой урожай, отразившийся пре ственно на зерновых хлебах, валовой доход от сельского хозяйства

Валовой доход от сельск. хоз. по довоен. ценам (в милл.

	1922 г.	1923 г.	1924 г.
Зерновые хлеба .	2.290	2.189	1.943
Технич. и интенсивн. культуры	557	679	699
Продукты скотоводства	1.063	1.134	1.335
» садовод., бахчев. и виноград.	444	564	665
» птицеводства	153	277	332
Итого	4.507	4.843	4.974
Без зерновых хлебов .	2.217	2.644	3.031
В %% к 1922 г.	100	119	137

Развивающийся рынок и является базой для безостановочного промышленного производства.

Эта безостановочность имела место и в прошлом году, но только с бря по февраль, а затем произошел небольшой скачок вниз с последую изломами в о е стороны, в общем почти не менявшим стабильного хара кривой.

В этом году мы имеем после ноября беспрерывное восхождение к производства вплоть до последнего (из учтенных) месяца — апреля.

В милл. довоен. рубл. родукция крупной госпромышленн

	1923/24 г.	1924/25 г.
Октябрь .	121,1	184,5
Ноябрь	115,5	176,5
Декабрь .	117,2	193,8
Январь.	123,5	201,5
Февраль .	132,2	205,6
Март	130,1	212,3
Апрель.	127,8	212,3 [1]

Хозяйственники уверяют, что рост продукции будет иметь место и том; мы лично не склонны оценивать подобные уверения как оптимист ские, так как спрос сильно давит на тресты и синдикаты, заставляя их личивать предложение.

На отделенных отраслях промышленности мы покажем, что во 2 п годии текущего года им придется продолжать увеличивать производство.

Для характеристики промышленного рынка приведем данные по крупнейшим производственным об'единениям о движении отпуска ими варов:

	В милл. черв. рублей.	В %% к 1-й четверти 1923/24 г.
1 квартал 1923/24 г. .	419,5	100
2 » 1923/24 »	510,8	122
3 » 1923/24 »	601,2	143
4 » 1923/24 »	676 2	161
1 » 1924/25	783,2	187

[1]) Имеются предварительные данные.

Проф. Кафенгауз, приводя эти данные, говорит, что по частичным сведениям во 2 квартале 1924/255 г. отпуск товаров возрос.

Темп роста сбыта выше темпа производственного разворачивания.

И немудрено, если учесть огромную нужду населения в промышленных изделиях, рост товарности крестьянского хозяйства, быстрое оздоровление транспорта, сопровождающееся усиленным спросом на фабрично-заводскую продукцию, значительное увеличение жилищного строительства, начавшиеся работы по ремонту зданий и машин в промышленности и, наконец, неуклонное снижение промышленных цен, расширяющее рынок.

Ведь с октября 1923 г. по март 1925 г. индексы промышленных товаров упали на 28%, при чем наиболее ходкие товары подешевели еще значительнее: резиновые изделия — на 36%, краски — на 42%, хлопчато-бумажный товар — на 34%, шерстяной — на 49%, кожевенный — на 34%, силикатный — на 34%, пищевые товары — на 30%.

Промышленный под'ем протекает в благоприятных для государства формах. Число предприятий, находящихся в действии, сильно сократилось, и мы имеем, наконец, не одни лишь пожелания о концентрации, но и ее самое.

В 1-м квартале 1922/23 г. было 2.441 действующее предприятие с числом рабочих и продукцией в среднем на одно заведение в 413 чел. и 144 тыс. довоен. рублей, а в 4-м квартале 1923/24 г. осталось 1.974 предприятия с 641 рабочим и на 204 тыс. довоен. рублей продукции в среднем на каждое.

Загрузка, как мы видим, сильно возросла.

В 1924/25 г. мы уже вынуждены использовать и те фабрики-заводы, которые в 1923/24 г. находили более выгодным закрывать.

Так, в январе 1925 г. у нас действовало (в крупной промышленности) 2.439 предприятий с 595 рабоч. в среднем на каждом.

Благодаря тому, что в производство втянуто около полутысячи мелких заводов и фабрик, продукция среднего предпряития значительно понизилась, но в какой именно степени, об этом еще трудно сказать, учитывая новые методы подсчета, практикуемые в этом году статистикой ВСНХ.

Растет и рабочий состав в действующих предприятиях и в госпромышленности, учитываемой ВСНХ, в январе 1925 г. было в действующих предприятиях 1.450 тысяч рабочих, тогда как в том же месяце прошлого года было 1.238 тыс. чел., при чем повышается заработная плата (с 36 р. 20 к. в апреле — июне 1924 г. до 39 р. 47 к. в октябре — декабре) и еще быстрее производительность труда. По опубликованным в «Торг.-Пр. Газ.» (№ 114) данным ВСНХ динамика производительности труда такова:

	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Январь.	Февраль.
Средняя выработка на 1 отработ. чел.-день в %% к сентябрю . .	105	113	118	125	132

Средняя зарплата в эти месяцы благодаря переходу на сдельщину и повышению нормы выработки временно стабилизовалась, переломившись в сторону под'ема только в феврале.

Говоря о росте производительности труда, мы не можем не под кнуть, что этот рост является результатом, главным образом, увеличения грузки действующих предприятий и в гораздо меньшей степени — на нажима в кампании за повышение производительности. Хотя эта камп проводится в течение года, но результаты, более или менее массовые, м оказаться значительно позже, так как едва ли мы проводили за годы р люции хоть одну подобную кампанию, требующую охвата тысяч предпри в обстановке не героической, а мирной.

Нужно все же оговорить, что и теперь имеются плоды кампании.

Промышленность, следовательно, загружается, поднимает вырабо на человеко-день, обеспечена сбытом своей продукции и дости наконец, того уровня, когда она перестает быть нахлебником у гс дарства.

В этом году вся промышленность, если отвлечься от каменноуголь и металлической, не только безубыточна, но и прибыльна.

Тов. Дзержинский указал на III С'езде Советов, что в прошлом году п мышленность получила от государства чистых 26½ милл. рубл., а в эт году — только 3,9 милл. рубл.

Нужно также учесть, что в прошлом году налоги на промышл ные изделия дали 250 милл. руб., а в этом предполагается получи 600 милл. руб.

И т. Дзержинский был прав, когда указал и на роль промышленнос в получении государством этих сотен миллионов, так как мало иметь потр бителя, способного уплачивать акциз, а надо еще дать возможность потр бителю купить промтовар.

Крестьянство еще так недавно несло на своих плечах огромную тяжес в виде львиной доли промышленности и транспорта. Этот последний ст бездефицитным, таковой же становится и промышленность.

Самым больным ее местом все время была металлическая отрасль. З годы военного коммунизма металлургия сошла почти на-нет: 2½% выплавк чугуна. Машиностроение приостановилось. Выплавки меди не производилос Ни паровозы, ни вагоны новые почти не изготовлялись.

Широкий рынок, развивавшийся в отношении изделий легкой промыш ленности, был еще слишком слаб для потребления металлтоваров.

Но уже в конце 1923 г. определилась тенденция рынка развертыват на них спрос, а в течение 1924 г. на всех участках нашего хозяйственног фронта дал себя знать острый металлголод.

Металлопромышленность начала буйно восстанавливаться. Крестьян ство требует машин, металла для кузниц, строительных изделий. Быстро вос станавливающиеся отрасли индустрии дают заказы на станки и запасны части.

Электростроительство, телефония, телеграфия, радио-любительство за ставляют увеличивать выработку цветных металлов.

Флот нуждается в новых судах. Вся страна — в сковородах, кастрю лях, самоварах и т. д. и т. д.

В результате, выплавка чугуна с 295 тыс. тонн в 1-м полугодии 1923/24 г. поднимается до 525 тыс. тонн в том же полугодии 1924/25 г., прокатка — с 323 тыс. тонн до 588 тыс.

Выплавлено меди в этом полугодии 3.156 тонн против прошлогодней годовой выплавки в 2.887 тонн.

Быстро восстанавливается сельское машстроение.

Изготовлено.	1923/24 год.		1924/25 г.
	1 полуг.	2 полуг.	1 полуг.
Плуги (в тыс.) .	47,0	98,8	204,6
Сеялки	3,7	6,0	10,2
Жатки	4,2	9,3	14,8
Веялки	4,9	10,1	12,7
Косы	442,0	326,0	849,0

В книжке «Гос. пр. СССР», вышедшей под редакцией начальника статистики ВСНХ, пр. Кафенгауза, мы читаем:

«В текущем году металлопромышленность Союза обогатилась новыми производствами, развитие которых обещает вскоре дать значительные результаты. Одно из первых мест несомненно принадлежит организации отечественного тракторостроения на паровозостроительных заводах — Коломенском, Путиловском, Харьковском, а также б. Шефлер и Укртрестсельмаш.

«На-ряду с постановкой тракторостроения в истекшем году организовалось новое в СССР производство полугрузовых автомобилей, и уже в ноябре 1924 г. завод АМО дал 10 штук 1½-тонных грузовиков, выдержавших испытание 2.000-верстного пробега.

«Из стадии опытной в 1924/25 г. производство 1½-тонных грузовиков становится массовым, с выпуском в первый год 500 штук. Более широкого развития тракторостроение и автостроение достигнет в 1925/26 году.

«Необходимо отметить развитие текстильного машиностроения (б. Айваз, Семенова, б. Лесснера, б. Климовской и др.) и постановку производства драг (Путиловский завод).

«Все данные говорят, что новые производства найдут себе достаточно емкий рынок».

Металлопромышленность растет и вширь и вглубь, не имея пока никаких затруднений с рынком.

«Мы три раза, — говорил т. Дзержинский, — в течение этого года намечали программу металлопромышленности и каждый раз увеличивали ее. Начав с 40 процентов, увеличение закончилось 80—90 процентами по сравнению с прошлым годом. И неизвестно, не придется ли нам к концу года еще в 4 или 5 раз расширить нашу программу».

Внушавшая много тревог металлопромышленность быстро нагоняет индустрию в целом, но те из легких отраслей, которые обслуживают рынок, не отстают от металлической и даже — некоторые из них — обгоняют в этом году, когда, казалось, легкой промышленности, относительно хорошо

загруженной, неоткуда было брать энергии для нынешнего, очень быстр развития.

Рынок, однако, послужил нежданно мощным источником этой энер И действительно текстильным синдикатом и 21-м текстильным трестом ключено сделок на продажу в 1-м полугодии 1923/24 г. на 275 милл. р во 2-м — на 295 милл. руб., а в октябре — марте 1924/25 г. — 382 милл. ı

Конечно, сбываются главным образом бумажные ткани, и готоı хлопчато-бумажного товара изготовлено:

В 1-м полуг.	1923/24 г.	462 милл. метр.
» 2-м »	1923/24 »	373 » »
» 1-м »	1924/25 »	702 »

За весь этот год, повидимому, будет изготовлено не меньше 180% работки прошлого года.

Резиновая промышленность за истекшее полугодие дала продукции 42 милл. дов. рубл., тогда как за весь 1923/24 г. было выработано только 32 милл. руб., при чем галош произведено 6,6 милл. пар, т.-е. больше всей довой (прошлого года) продукции (6,2 милл. пар).

Стекольных изделий выработано за 6 месяцев 87% годовой выработ прошлого года.

Спичек изготовлено 1,6 милл. ящиков против 1,9 милл. ящиı за весь 1923/24 г.

Табачных изделий — 12,1 мрд. курительных единиц, т.-е. почти сто ко же, сколько за весь прошлый год (14 мрд. ед.).

Даже махорочная промышленность, несмотря на слабость заготоı сырья, сумела дать за 6 мес. 14,8 милл. килограммов против годовой вы ботки 1923/24 г. 21,2 милл. кгр.

Наконец, маслобойная промышленность дала в истекшем полугодии 12% больше, чем за весь прошлый год.

Так обстоит дело с «крестьянскими» отраслями индустрии.

Нельзя сказать, чтобы теперешнее их состояние соответствовало спı су, но что пропорциональность в этой области рынка быстро восстанавı вается — это ясно.

Принимая во внимание значительные организационные продвижен мы можем констатировать, что потребитель уже убеждается на практи в способности Советской власти ставить на ноги промышленность.

В дальнейшем развитие последней будет протекать не столько пут сильного увеличения производства, сколько — упорядочения последнего, т более, что ни топливные, ни транспортные, ни даже сырьевые кризисы наш промышленности не угрожают, и на технико-организационную сторону де можно будет обратить действительно много внимания.

Мы уже указывали, что рабочий состав растет, а теперь обратим вн мание на крайнюю медлительность этого роста, если сравнить с разверт ванием производства. С марта 1924 г. по март 1925 г. продукция возрос на 63%, а рабочий состав — на 17%. Квалифицированные рабочие далеı

еще не втянуты в производство полностью, к тому же, хоть и медленно, появляются молодые кадры обученных рабочих; выбрасывает их на рынок труда и кустарный промысел с ремесленничеством.

Если промышленность и испытывает нужду в квалифицированных рабочих, то лишь в особо редких профессиях, в тех, где и в дореволюционные времена их недоставало. Но эта нехватка пока не очень болезненно отзывается на работе промышленности.

С транспортом дело обстоит так, что он поспевает за ростом хозяйства в целом.

Что же касается топливного фронта, то здесь каменноугольную промышленность приходилось даже сдерживать, так как она несколько забежала вперед.

Именно поэтому добыча угля увеличивается за последние месяцы так незаметно, что непосвященный в суть дела читатель подумает о неспособности каменноугольной индустрии итти в ногу со всем хозяйством.

Добыто угля по главным районам в тысячах тонн.

1923/24 г.	1 квартал.	4.204
	2 ›	4 169
	3 ›	3.485
	4 ›	3.920
1924/25 г.	1	4.301
	2	4.308

Но уже теперь добыча угля снова пойдет в гору, так как увеличению промышленного производства сопутствует и усиленное расходование топлива. Нефтепромышленность тоже удовлетворяет наши фабрики и заводы с жидким топливом, хотя и здесь добыча увеличивается очень медленно.

Добыто в тысяч. тонн. метр.

1-е полугодие	1923/24 г.	2.836
2-е ›	1923/24 ›	3.107
1-е	1924/25 ›	3.252

Наша забота развивать экспорт нефтепродуктов, чтобы теснее смыкаться с мировым хозяйством и, развертывая дело добычи, понижать себестоимость.

Мы уже решили проложить два нефтепровода (из Баку в Батум и из Грозного в Туапсе) и строить в этих черноморских портах нефтезаводы. Перевозка железной дорогой дорога и не гарантирует должной грузопод'емности.

Года через три нам придется вывозить очень значительные массы нефтепродуктов, если судить по тому, что уже в этом году экспорт на 60% превысил довоенный, а европейский рынок пред'являет новые требования на наш нефтепродукт.

Во всяком случае, внутренний рынок без последних не останется, так как мы, конечно, не станем экспортировать в ущерб собственному хозяйству.

Что касается сырьевого вопроса, то, как мы уже указали в нача статьи, наиболее быстро развертывается процесс восстановления сельско хозяйства, именно в товарной части последнего, тем самым и в участк обслуживающих промышленность.

Вполне достаточно льна, очень быстро восстанавливается посевная пл щадь под хлопчатником, не плохо растут и посевы табака и т. д.

Хлопок мы и до революции выписывали из-за границы, т как своего не хватало, его импорт налицо и теперь долгое время пр дется прибегать к нему и в будущем, но пока мы не только без тру ввозим заграничный хлопок, но даже пользуемся кредитом фирм, имеющи с нами дело.

Очень плохо с шерстью, но и здесь надо отметить значительное бл гополучие со средними и низшими сортами шерсти, а тонкие сорта мы выну ждены импортировать, как и до войны.

Вообще с промышленным сырьем обстоит так, что, при отсутстви собственного, мы без переплат имеем возможность ввозить его из-за гра ницы.

Сырьевые затруднения имеются, они будут, но о сырьевых кризиса пока нет и речи.

Несколько иначе, чем с топливным, транспортным, сырьевым вопросами обстоит дело со сбытом.

До 1924 г. наша промышленность пережила не один кризис сбыта, при чем осенью 1923 г. он отразился на всем хозяйстве.

В 1924 и 1925 г.г. мы имеем иную картину: кризис промышленного предложения, т.-е. товарный голод.

В самом начале 1925 г. обозначились некоторые затруднения со сбытом промтоваров, но очень скоро товарно-голодная кон'юнктура восстановилась и по целому ряду товаров она продолжается.

Известно, например, что за вагоном ситца приезжают в Москву из провинции и здесь днюют и ночуют неделями, чтоб только всякими правдами и неправдами раздобыть бумажный товар.

И теперь, когда обычно рынок затихает, торговля стоит на уровне, превышающем такие бойкие месяцы, как ноябрь и декабрь.

Едва ли можно сомневаться, что при среднем урожае с сентября начнутся бои за промышленный товар, весьма возможно более ожесточенные, чем теперь.

Все будет зависеть от того, накопят ли наши тресты за летние месяцы достаточно продукции.

И все же говорить о кризисе предложения как о неминуемом явлении очень рискованно; ведь промышленность очень быстро нагоняет сельское хозяйство. Если верны подсчеты т. Громана, опубликованные им в № 1 «Планового Хозяйства», о соотношении валовых продукций сельского хозяйства и промышленности, то мы имеем такое количественное соотношение обеих отраслей нашего хозяйства (за 1924/25 г. продукция индустрии взята в 160% от 1923/24 г.)

	Промышл.	Сельск. хоз.
1913 г. .	100	167
1921/22 г.	100	376
1922/23 »	100	322
1923/24	100	269
1924/25	100	173

Как мы видим, в отношении валовых продукций довоенное соотношение восстановлено; что же касается рыночной части продукции, то здесь сельское хозяйство все еще господствует над индустрией.

Все дело в развитии нашей товарной системы.

Крестьянство может иметь товарные излишки, но благодаря слабости заготовительной сети не в силах реализовать их в деньгах и затем в промышленном товаре.

С другой стороны, даже при полной реализации сельско-хозяйственных излишков промышленность может оказаться при недостаточном рынке, если слаб аппарат, проталкивающий фабрично-заводской товар в деревню.

Именно поэтому ВСНХ, в лице т. Дзержинского, снова приковал общественное внимание к вопросу, по существу вырешенному уже С'ездом РКП: о поддержке или, вернее, о раскрепощении частного торгового капитала.

Мы не считаем этот последний настолько крупной силой, чтобы он мог избавить нас от кризиса сбыта, если он надвигается. Мы теперь больше чем когда-либо считаем главным распределителем промышленных товаров кооперацию. Но она не в состоянии, даже вместе с госрозницей, справиться с задачей реализации всей фабрично-заводской товарной массы, и частный капитал должен быть использован, если возможно, на все 100% его способности.

Итак, кризис сбыта возможен, но лишь потому, что темп промышленного развития буквально исключителен.

Можно наверняка сказать, что в 1925/26 г. о подобном темпе и речи не будет, а вместе с этим и менее вероятны кризисы сбыта.

Напротив, как об этом сказали и последние С'езды, мы должны во что бы то ни стало предупреждать и, во всяком случае, всемерно смягчать товарный голод, т.-е. увеличивать производство.

Но ведь уже года через 1½ мы используем имеющееся в нашем распоряжении фабрично-заводское оборудование в довоенной норме.

Как возможно дальнейшее увеличение производства? Конечно, путем нового промышленного строительства. У нас, по очень грубым подсчетам, имеется около 3½—4 миллиардов основного капитала.

Если бы эти миллиарды были вложены только в предприятия по последнему слову техники и организации, мы получили бы не довоенную продукцию, а, по крайней мере, двойную. На это мы указываем с той целью, чтобы читатель не пугался громадных для нашего времени цифр. И действительно, если строить новые заводы по-старому, то для ежегодного увеличения продукции процентов на 10 понадобилось бы, тоже ежегодно, 350—400 милл. руб. Слишком понятно, что при совершенном строительстве для получения

10% добавочной продукции потребуется 200 — 250 милл. рублей. Найдем л мы эти суммы?

Прежде всего укажем вслед за т. Дзержинским, что даже за три послед них нерентабельных года на капитальные работы промышленность израсхо довала: 115, 168, 225 милл. руб. Если такие суммы находились в плохи годы, то можно ли сомневаться в получении гораздо бо̀льших сумм теперь когда даже металло-промышленность готовится стать безубыточной? У на еще не имеется солидной проработки вопроса об основном капитале, и мы вынуждены гипотетировать. Но наши гипотезы отнюдь не носят фантастиче ского характера. Мы без малейшего сомнения можем полагаться на 300 м. р на первый год. Весь вопрос заключается в том, куда пойдут эти сред ства, на ремонт, или на новое строительство. Нам лично думается, что на ремонт надо тратить минимально, а на новое строительство максимально.

Мы об'ективной необходимостью поставлены лицом к лицу с интенсивным, в конечном счете хищническим, использованием основного капитала «переданной» нам по наследству от старого промышленности.

Нам нужны и выгодны новые фабрики, нам нет смысла вкладывать средства в большом размере в старые фабрики и заводы, о чем очень убедительно говорит следующая таблица:

В 1913 году было

в предприятиях с числом рабочих	предприятий Абсолютно.	В $^0/_0$.	рабочих в них. Абсолютно.	В $^0/_0$.
до десяти человек	2 366	13,2	17.314	0,7
от 11 до 20 чел.	3.782	21,1	58.513	2,5
» 21 » 50 »	5.411	30,3	177.720	7,7
51 » 100 »	2.707	15,2	196.197	8,5
» 101 » 200 »	1.484	8,3	213.566	9,2
» 201 » 500	1.233	6,9	403.028	17,4
501 » 1000	502	2,8	350.682	15,1
Свыше 1000	392	2,2	902.557	38,9
Итого.	17.877	100,0	2.319,577	100,0

Итак, 11,9% всех предприятий занимают 71,4% всех рабочих, а в 88,1% мелких и средних заведений задолжали только 28,6% рабочих.

Рассуждая схематично, в данном случае арифметично, мы приходим к выводу, что одно крупное (от 200 и свыше) предприятие дает столько же, сколько 18 мелких и средних. Учтем при этом, что основной капитал в общем капитале занимает меньше места в крупных предприятиях, чем в некрупных. Во всяком случае сотни миллионов для нового строительства мы сможем на ближайший год взять без особых усилий, «естественным» порядком. Нужно учесть, что несколько десятков миллионов нам должна дать реализация, так называемых, неликвидных средств. Мы могли бы при наличии покупателей даже распродать целый ряд обременяющих нас фабрик и заводов. Затем — внутренние займы. Наконец, государственная дотация.

Встает вопрос: в несколько месяцев новых предприятий не настроишь в требуемом количестве, мы сможем приняться за более или менее широкое строительство через год — полтора, а как повысить производство в тот год, когда новые фабрики будут только еще отстраиваться? Ведь довоенной нормы мы достигнем, по словам т. Дзержинского, года через полтора.

И здесь имеются выходы.

Прежде всего мы загрузим действующие заведения на все 100% их мощности, чего до войны, не говоря об отдельных предприятиях, никогда не было. Затем, мы можем работать в две, местами даже в три смены. В-третьих, мы несомненно значительно превысим довоенную производительность труда, что имеет место, пока в редких случаях, уже теперь.

Наша промышленность не стоит пред тупиками. Требуется лишь огромное напряжение сил и очень солидная подготовительная работа перед новым строительством.

Восстановительный процесс подходит к концу, и стихия уже вытесняется планом. Развить эту плановую деятельность, постройку каждой производственной единицы продумать всесторонне, — и мы имеющиеся средства сумеем использовать с максимальным эффектом.

Георгий Гапон.

Д. Сверчков.

(Продолжение).

V. Январские дни.

Фабриканты и заводчики очень косо смотрели на гапоновское «со(ние», вмешивавшееся в вопросы взаимоотношений между рабочими и питалистами.

«Питерская промышленность, — пишет т. Айнзафт («Зубатовщина гапоновщина», стр. 39), — больше всего была промышленностью, работаю на казну, т.-е. исполняющей казенные заказы, в то время, как московс промышленность относительно больше работала на частный рынок. Пит ские промышленники были поэтому ближе к правительственным сферам, наученные горьким опытом московской зубатовщины, успевшей уже к то моменту обнаружиться своими опасными для промышленников чертами, с могли и должны были оказывать серьезное противодействие утвержден зубатовщины в Питере».

В показаниях, данных жандармам после 9 января, один из главар гапоновщины, Иноземцев, говорил: «Осенью 1904 года среди членов наше «собрания», представителем которого был Гапон, начали ходить слухи, ч все заводчики относятся к нам с опасением, видя в нас надвигающуюся утро капитализму». Другой гапоновец, рабочий Путиловского завода Янов, гов рил: «... со стороны их (администрации и мастеров) было ясное глумление н рабочими вообще, и, в частности, над «собранием».

В результате заводчики, «желая приостановить быстрый рост Нарвско отдела «собрания», как пишет Павлов, решили начать с Путиловского заво кампанию против «собрания».

В конце декабря администрация Путиловского завода уволила четыр рабочих, членов «собрания», за принадлежность к «собранию», при чем п их увольнении им насмешливо было брошено: «Идите в «собрание» — оно в поддержит».

В напряженной атмосфере тогдашней политической жизни это увол нение сыграло роль искры, вызвавшей взрыв негодования в рабочей сре

«Собрание» усмотрело в этом вызов, брошенный по его адресу, решило энергично вступиться за своих членов.

«Собрание» живо обсуждало это событие, посылало депутации к директору Путиловского завода Смирнову и к фабричному инспектору. Директор завода Смирнов принял депутацию крайне грубо и заявил о незаконности вмешательства «посторонних организаций» в отношения между администрацией и рабочими. Фабричный инспектор принял депутацию очень холодно.

Павлов пишет, что по вопросу о необходимости энергичного вмешательства в защиту уволенных между «штабными» и Гапоном не возникло никаких разногласий. Однако сам Гапон в своих «Мемуарах» говорит:

«В течение пятнадцати дней я воздерживался от прямого вмешательства в это дело, надеясь, что обращение к фабричному инспектору повлечет за собой обратное принятие уволенных. Но, когда из всех попыток в этом отношении ничего не вышло, я об'явил, что долг нашего «собрания» вступиться за этих жертв хозяйского своеволия и защищать их во что бы то ни стало» («Мемуары», стр. 162).

Неудача первых депутаций заставила «собрание» обсудить вопрос более широко. Было решено послать депутацию к градоначальнику во главе с самим Гапоном, при чем, как пишет Гапон, была принята следующая резолюция:

1. Отношение между капиталом и трудом в России ненормальны; доказательством этому служит произвол, применяемый мастерами по отношению к рабочим.

2. Мы просим правительство потребовать от администрации Путиловского завода немедленного увольнения мастера Тетявкина, — виновника беспричинного расчета четырех рабочих и постоянно причиняющего рабочим всякие несправедливости.

3. Мы просим немедленного обратного приема на завод четырех рабочих. уволенных за то, что они состоят членами «собрания».

4. Доводя об этом до сведения градоначальника и фабричного инспектора, мы просим принять меры к тому, чтобы подобные факты не повторялись в будущем.

5. Если законные желания рабочих не будут выполнены, то «собрание» снимает с себя всякую ответственность за беспорядки, которые могут вспыхнуть в столице.

(Резолюцию эту, как и все другие цитаты из «Мемуаров» перевожу с французского языка по оригиналу французского издания книги. *Д. С.)*

«Генерал Фулон, — пишет Гапон, — принял меня сначала одного с обычной благосклонностью... он прочитал с озабоченным видом резолюцию, которую я ему передал, и, дойдя до пятого пункта, воскликнул с изумлением:

«— Но ведь это революция! Вы угрожаете спокойствию столицы!

«— Ничего подобного, — возразил я спокойно. — Мы вовсе не собираемся ничем угрожать. Мои рабочие хотят только поддержать своих товарищей. Вы обещали им помогать при затруднениях. — вот как раз подходящий случай. Если рабочие не станут на защиту своих товарищей, то все скажут, что наше «собрание» — просто комедия и что оно создано, чтобы помогать администрации притеснять рабочих, а последних удерживать от сопро-

тивления. Все рабочие столицы возбуждены и ожидают ответа на их про и, если они не будут удовлетворены, то спокойствию города создается ствительная угроза. Я умоляю вас принять делегатов и самому убедиться настроении» (стр. 167).

Фулон принял рабочих и обещал сделать с своей стороны все, их удовлетворить.

О результатах этой делегации Гапон сообщил председателям отде которые об'явили их членам «собрания». Однако, как рассказывает Га тогда же было решено в случае необходимости об'явить забастовку, чем начать ее с Путиловского завода, поставив двухдневный срок для влетворения пред'явленных требований.

«Накануне нового года я отправился, — говорит Гапон, — в пос ний раз к директору завода Смирнову и говорил с ним в течение трех ча убеждая его и надеясь избегнуть забастовки. Но все было напрас (стр. 170).

2 января Путиловский завод с его 13.000 рабочих забастовал. Б выработаны уже новые требования, которые привожу, опять переводя с французского по «Мемуарам» Гапона:

1. Заработная плата должна устанавливаться не по произволу хоз а по соглашению между мастерами и делегатами от рабочих.

2. На Путиловском заводе должен быть организован постоянный ко тет из представителей администрации и рабочих. Этот комитет должен дет разрешать все споры. и ни один из рабочих не может быть уволен согласия комитета.

3. Рабочий день должен быть ограничен 8 часами (на этом пункте делает примечание Гапон, — рабочие не настаивали, как на требован но приняли его, как пожелание для будущего законодательства).

4. Заработная плата для женщин не должна быть меньше 70 коп в день.

5. Сверхурочные работы должны быть отменены, за исключением т на установление которых дадут согласие рабочие, но в последнем слу оплата их должна быть вдвое выше, чем урочных.

6. Должна быть улучшена вентиляция в кузнечном цехе.

7. Заработная плата рабочих должна быть не меньше 1 рубля в де

8. Никто не должен подвергнуться взысканию за участие в забастов

9. За время забастовки заработная плата должна быть уплачена п ностью.

3 января генерал Фулон вызвал меня к телефону. Он был силь взволнован. Он сказал. что виделся с Витте, что получил обещание, что т из уволенных рабочих будут приняты обратно. Он просил меня прекрати забастовку.

«— Слишком поздно, — ответил я. — Дело идет теперь уже не толь об обратном приеме рабочих. Уже выставлены другие требования. Я м теперь только посоветовать администрации Путиловского завода устрои совещание с председателями отделов «собрания» и с делегатами от забаст

щиков. Я прошу вас дать ваше честное слово, что эти делегаты не будут арестованы и не подвергнутся какому-нибудь другому взысканию и, так как они, вероятно, потребуют и моего участия, то прошу таких же гарантий для себя.

«Генерал Фулон уверил меня, что я могу целиком на него рассчитывать. В то же время он сообщил мне, что считает меня живой загадкой и напомнил о доносе великого князя Сергея.

«— Знаете ли вы, — сказал он, — что если бы Плеве не был убит, вы давно уже были бы высланы из Петербурга?

«Я ограничился заявлением, что я всегда говорю ему правду вместо того, чтобы обманывать, как делают другие.

«— Вы можете приказать меня арестовать, — прибавил я, чувствуя, что от этого разговора зависит судьба всего движения,—но я вас предупреждаю, что если в течение двух дней Путиловские рабочие не получат удовлетворения, забастовка перекинется и на другие заводы, а если, несмотря на все это, хозяева будут слепо настаивать на своем первом решении отказа, то весь Петербург присоединится к забастовавшим. Недовольство в рабочей среде огромно. До сих пор оно проявляется только на экономической почве, но если вы не приоткроете клапана для выхода наружу этого недовольства без потрясений, то бойтесь чрезвычайно тяжелых последствий. Но я вас умоляю ни в коем случае не прибегать к насилию; не посылайте казаков. Может быть, в конце концов, рабочие столицы решат итти всей массой с петицией к царю. Все пройдет в полном порядке и мирно. Рабочий класс только просит, чтоб его голос был услышан.

«В конце нашего разговора генерал повторил мне честное слово солдата, что ни делегаты рабочих, ни я сам, не будут арестованы» (стр. 177—178).

Я привел этот рассказ Гапона, но не чувствую к нему ни малейшего доверия. В своих «Мемуарах», изданных за границей, Гапон, как я уже указывал раньше, слишком бесцеремонно обращался с истиной, умалчивая о том, что было в действительности, и сочиняя то, чего не происходило. Тем менее вероятно, что Гапон 3 января предупреждал Фулона о шествии с петицией, когда в это время он еще вел со своим «штабом» кампанию, высказываясь сам п р о т и в шествия и пытаясь убедить других отказаться от этого плана.

4 января, по словам Гапона, его вызвали к начальнику главного тюремного управления Стремоухову, личному другу министра юстиции Муравьева. Стремоухов убеждал Гапона прекратить стачку, угрожая уволить его от должности священника пересыльной тюрьмы.

На следующий день градоначальник Фулон сообщил Гапону, что он не может ничего сделать для удовлетворения рабочих («Мемуары», стр. 180).

К 7 января Петербург был охвачен всеобщей забастовкой.

Ночью с 6 на 7 января Гапон, боясь ареста, покинул свою квартиру.

8 января Гапон был у министра юстиции. Вот как рассказывает он об этом:

«— Когда мой друг К... (Карелин? *Д. С.)* возвратился из минис·
ства внутренних дел (куда он отвез письмо к Святополк-Мирскому. *Д.*
мы вместе отправились в министерство юстиции. Мой друг остался в са
недалеко от него расположились на страже несколько моих рабочих, чт
сообщить, если мы будем арестованы...

«— Ответьте мне откровенно, что все это значит? — спросил минис
когда мы остались с ним вдвоем.

«— Позвольте мне, ваше превосходительство, ответить вам другим
просом. Могу ли я ожидать ареста, если буду говорить совершенно свобод

«Он вначале несколько смутился, потом, подумав, ответил:

«— Нет.

«Тогда я рассказал ему, в каких ужасных условиях существова
находится рабочий класс не только в Петербурге, но и во всей России.

«— Страна, — сказал я, — переживает тяжелый политический и эк
номический кризис. Все классы населения высказались в резолюциях об
нуждах и пожеланиях; пришла очередь и рабочему классу, жизнь которо
так тяжела, сказать царю о своем горе.

«Я передал ему экземпляр нашей петиции. Пока она была переписа
в 15 экземплярах: 11 — для отделов «собрания», один — на роскошной б
маге — для царя, по одному — для министров: внутренних дел и юстиц
и один — для меня. Я был поэтому очень удивлен, когда Муравьев сказа
что у него уже есть ее копия.

«Однако он взял и предложенный мной экземпляр и пробежал его ец
раз. Потом, разведя с отчаянием руками, он воскликнул:

«— Но вы хотите ограничить самодержавие!

«— Да, но это ограничение послужит на пользу царю настолько ж
насколько и народу. Если эта реформа не придет сверху, то, при теперешне
положении России, революция неизбежна, и она повлечет за собой год
борьбы и реки крови. Мы ведь, наконец, не настаивали на немедленном удо
влетворении всех наших требований; пусть будет дано согласие пока на самы
главные, и мы будем удовлетворены. Но необходимы прежде всего амнисти
и созыв народных представителей. Тогда вы увидите, каким энтузиазмо
будет полна вся Россия по отношению к царю.

«Глубоко взволнованный той ролью, которую мог сыграть этот человек, я прибавил:

«— Ваше превосходительство, наступил исторический момент, в который вы можете сделать шаг огромного значения. Вас много лет ненавидит народ за вашу деятельность по преследованию тех, кто борется за свободу. Вы можете теперь одним взмахом стереть с себя это пятно. Идите прямо к царю, сейчас же скажите, чтоб он вышел поговорить со своим народом. Мы даем ему гарантию его безопасности. Если понадобится — падите к его ногам, умоляйте его в его собственных интересах принять депутацию, и ваше имя с благодарностью будет вписано в историю России.

«Муравьев, выслушав меня, побледнел. Вдруг он встал и, прощаясь со мной, сказал:

«— Я исполню свой долг.

«Что обозначали эти двусмысленные слова? Не значили ли они, что министр отправится к царю и посоветует без колебаний встретить рабочих штыками и свинцом?

«Я задрожал от этой мысли и, проходя приемную, подошел к телефону и вызвал министра финансов Коковцева, рассказал ему о происшедшем и умолял вмешаться с целью избежать пролития крови. Телефон раз'единили прежде, чем я получил какой-либо ответ» (стр. 189—191).

Видя оборот, который принимает движение, департамент полиции спохватился и решил арестовать Гапона. В делах департамента полиции, находящихся в Ленинградском архиве ВЦИК, имеется такая бумага:

М. В. Д. *Совершенно секретно.*

ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ.

ПО ОСОБОМУ ОТДЕЛУ.

8 января 1905 года.

№ 181.

Господину коменданту С.-Петербургской Крепости.

Имею честь просить ваше высокопревосходительство сделать распоряжение о принятии для содержания во вверенной вам крепости арестованного по обвинению в государственном преступлении священника Георгия Гапона с зачислением его содержанием за С.-Петербургским градоначальником. Арестованный Георгий Гапон имеет быть доставлен ротмистром отдельного корпуса жандармов Котеном, который и пред'явит настоящее отношение.

Товарищ министр внутренних дел, заведующий
полицией свиты его величества генерал-майор *Рыдзевский.*
И. д. директора *Зуев.*

Однако Гапона арестовать не удалось. Он открыто выступал на собраниях отделов, где его взять было невозможно, а в другом месте полиции не удалось напасть на его следы.

Решив стать на путь революционной борьбы и порвав с охранкой, Гапон всю свою энергию употребил на то, чтобы вызвать на улицы Петербурга 9 января действительно все рабочее население столицы с их женами и детьми.

С утра до глубокой ночи в отделах гапоновского «собрания» читали вслух группам рабочих петицию и приглашали ее подписывать. Небольшие

размеры помещения отделов не давали возможности вместить в них боль 300—500 человек сразу, и многотысячная масса длинной и широкой вол вливалась по очереди в залы, слушала петицию, клялась итти во имя выс вленных в ней требований и уступала место следующим.

Я бывал на собраниях Нарвского отдела — центра гапоновской ор низации. В моем, недавно полученном мною из-за границы, архиве сохра лись записи, сделанные мною непосредственно после посещения «собрани Нарвского отдела в эти исторические дни.

Привожу эти записи, ничего в них не изменяя:

7 января 1905 года.

— Нарвская застава! — сказал кондуктор, открывая дверь вагона.

Спрашивать, где помещается отдел «собрания русских фабрично-заво ских рабочих г. С.-Петербурга» не встречалось надобности, так как ту группами и в одиночку шли рабочие.

Длинный забор. От ворот вглубь к низкому деревянному дому вед узкий проход, оканчивающийся перед домом большой площадкой, туск. освещенной одним фонарем. Против ворот, на середине шоссе — городово Проход и площадка перед домом запружены черной массой народа. Сто: плотно, бок-о-бок. Двери дома открыты, и на освещенном извнутри фо видны двое рабочих. Это — распорядители собрания. Зал не вмещает больш 300 человек, и собравшимся приходится по группам выслушивать петици и подписываться под ней.

Стоящие перед дверями с нетерпением следят за каждым движение распорядителей и ждут от них слова: «Следующие» — откроющего им д ступ в зал.

В толпе очень тесно, но перед дверями остается немного свободно места. Распорядители просили не подходить к дверям вплотную, чтоб• і было давки. Их слов достаточно, чтобы установить порядок.

— Из города будете? — спросил меня один из рабочих, бегло окин взглядом.

— Да.

— Служащий или так послушать пришли?

— Конторщик. В транспортном обществе служу.

— Так. И у вас, видно, слыхали?

— Слыхали. Как не слышать!

— С товарищами пришли или один?

— Один. Послушаю и им расскажу.

— Что ж, пойдете с нами?

— Пойдем.

Он немного подумал, потом вдруг крикнул вперед:

— Братцы! Пропустите, — из города тут один, служащий. С нами, го ворит, хотят итти.

Толпа раздвинулась и пропустила меня вперед во двор.

При скудном свете фонаря перед домом старик-рабочий читал вслух вчерашний вечерний выпуск «Биржевых Ведомостей». (7-го газеты уже не вышли.)

— Ну, что про нас пишут? — спрашивали кругом.

— Ничего нетути.

— У тя, видно, глаза ослабли. Стариковские.

— Ей-богу, братцы, нетути. Как есть всю газетину осмотрел, — оправдывался тот.

— Не велено писать про нас. Запрещено градоначальником, — сказал один из толпы.

— Ништо! Напишут еще. Ужо хвосты-то подожмут градоначальники да енаралы, как батюшка-царь всю правду проведает, — заговорили кругом.

— Градоначальник-то об'явление расклеил, чтоб беспорядку не было. Войсками, говорит, подавлю.

— Нестоящее оно. Наши везде его посрывали. Сказано: не будет беспорядку. Сами смотреть будем. Чего ему еще?

— У нас в ящике за решоткой это об'явление развесили, чтоб не срывали, значит, — заговорил протискавшийся в толпу парнишка, торопясь и захлебываясь от удовольствия, что увидел повод вмешаться в общий разговор. — А Еремка чиркнул спичку, да в дирочку огонь и просунул. Так оно — чуфык. Только пепел на гвоздочке остался.

— Это не про нас об'явление, а про тех, что с красными флагами ходят; про студентов, значит.

— Сами флаги отберем, коли увидим, без градоначальника. Да и не будет их. Обещали.

— Товарищи! — раздалось сзади. — Пропустите депутацию. Семянниковцы. Забастовали.

В толпе мигом открылся широкий проход, и человек пять рабочих пошли к дому. Точно искра, что-то пронеслось по толпе, потушило разговоры, и вся она слилась в один порыв.

— Привет товарищам! Браво! Спасибо! — неслось кругом. Становились на носки, чтобы лучше разглядеть лица депутатов. А те, в свою очередь махали шапками и кричали: «Привет от семянниковских! Заодно все идем, товарищи.

Депутаты вошли в дом. Вновь поднялись разговоры, вновь толпа разбилась на кучки, но все лица были одухотворены сознанием великого дела, к которому готовился рабочий люд.

— Следующие! — раздался голос одного из распорядителей.

Передняя часть толпы отделилась и медленно стала вливаться внутрь дома.

Прихожая. У входа в зал — рабочий с кружкой.

— На общее дело, товарищи! — приглашает он входящих. Звякают медяки и мелкие серебряные монеты.

Низкий зал, освещенный двумя висячими лампами. Против двери — эстрада. По стенам портреты лиц царствующей фамилии. Вокруг стены — скамейки, но на них никто не садится.

Двери в зал закрылись.

Встал сидевший за столом священник, и собравшихся сразу охвати напруженная, внимательная тишина.

Священник обвел собрание мягким взглядом своих упорных карих гл и слабым надорванным голосом начал:

— Братья-рабочие! Мы собрались сюда, чтобы поговорить, как пойд мы к дворцу и что скажем государю. Вот здесь, на бумаге, написано в о чем говорили мы на наших собраниях и к чему мы пришли. Прослушай эту бумагу, а потом скажите, верно ли здесь изложено и не пропущено чего. Согласны?

— Согласны. Читай с богом! — пронеслось по собранию.

— Слушайте!

И он прочитал известную петицию.

В зале царила тишина.

— Теперь скажите, — произнес священник, — верно ли изображен здесь наши нужды?

— Верно! Правильно! — отозвались все.

— Все ли перечислены наши просьбы?

— Все. Целиком.

— Не пропущено ли чего?

Молчание. Вдруг сзади поднялся чей-то голос:

— Так что... насчет мастера...

— Ну, чего тебе? — раздалось кругом. — Какого мастера? Что ты Разве можно?

Священник поднял голос:

— Не мешайте ему говорить. Так нельзя. Всякий должен сказать если у кого что есть.

— Так что я говорю... насчет мастера Тетявкина... чтобы уволить нету...

Священник об'яснил.

— Кто еще хочет говорить?

Никого не нашлось.

— Согласны подать эту петицию?

— Согласны. Все согласны, — эхом отозвалось собрание.

В соседней комнате, отделенной от зала тонкой перегородкой, зашумели голоса разговаривающих.

— Пойдите, попросите, чтобы потише говорили, — сказал священник одному из распорядителей.

— Это писатели там собрамшись. На нас поглядеть пришли, — произнес кто-то около меня.

Священник продолжал:

— Братья! Не только для себя, а и для детей, для внуков наших мы должны добиться всего, что высказано было нами и что записано теперь в нашем прошении. Не только мы, рабочие, но и весь народ русский вздохнет свободно, когда исполнится все, чего мы требуем. С глубокой верой

в наше дело, с решимостью бороться до конца должны мы итти. Так поклянемся же все перед богом, перед совестью нашей поклянемся вечной клятвой, что не отступим ни от одного слова, что будем крепко стоять на нашем прошении.

— Клянемся! — как один человек ответили все.

Священник устало опустился на скамейку, но через минуту встал и продолжал:

— Братья! Есть у меня просьба к революционным партиям, и я выскажу ее здесь, перед вами и от имени всех вас. Все вы знаете, кто такие социал-демократы и социалисты-революционеры. Многие из вас принадлежат к этим партиям. Братья! Много добра сделали социалисты рабочему классу. Принесли они ему свое чистое сердце и самоотверженную душу, отдавали за него свою жизнь и свободу. Всеми помыслами нашими должны мы любить и уважать их. И от всего рабочего народа я низко кланяюсь им.

Священник поклонился в пояс.

— Одна у нас теперь к вам просьба: не мешайте нам. Дайте нам до конца исполнить наше дело. Соблюдайте установленный нами порядок. Пусть не будет ни красных флагов, ни оружия.

Собрание кончилось.

Все тихо двинулись к выходу в другие двери.

У перил обледенелого крыльца стояли двое рабочих и сводили каждого под руки:

— Тише, товарищ, не поскользнитесь.

Шли другой дорожкой к воротам.

На заборе висело крупно написанное синим карандашом об'явление:

«В воскресенье, 9 января, в 2 часа дня, рабочие и жители г. Петербурга соберутся на Дворцовой площади для подачи государю петиции.

Рабочим Нарвского района собираться здесь, у отдела, к 10 часам утра».

— А что, царь-то выйдет к нам? — спрашивал кто-то.

— Выйдет. Почему не выйдет? Должон выйти.

— Вот что, братцы, — вмешался старик рабочий. — Скажите мне ради Христа... Как же это? Жили, жили и вдруг все на-ново. Петиция эта... Пойдем мы вот... Куда? К царю самому. Просьбы перечислили... Зачем? Ведь жили до сего дня? Туговато, правда, бывало, но ведь не померли же? Как же теперича по-новому-то будет? И что за советчики мы? В толк не возьму.

— А ты сам-то пойдешь? — перебили его.

— Вестимо пойду. Ведь миром идем-то, от мира я не отстану. Только вот зачем?

— А ты брось мудрить, старик! — сказал высокий хмурый рабочий. — Просто возьмемся за длинные волосья батюшкины, куда он пойдет — туда и мы потянемся.

У заставы я сел в конку.

— Ну, что, послушали? — спросил меня кондуктор.

— Да.

— Великие времена. Вся правда, может, в первый раз вскрывается.

— А вы забастуете?

— С завтрашнего утра ослобонимся. Придется уж вам пешечко

Расстрел шествия рабочих Нарвского отдела во главе с Гапоном о сывает сделавшийся в январские дни ближним другом Гапона начальник струментального цеха Путиловского завода инженер Рутенберг, котор суждено было сыграть роковую роль в жизни Гапона.

По рассказам Рутенберга и по свидетельству других участнико у Нарвских ворот 9 января произошло следующее:

VI. Воскресенье 9 января.

С раннего утра к Нарвскому отделу начал собираться народ. Оде по-праздничному, ведя с собой своих жен и детей, сопровождаемые ста ками, рабочие степенно шли и останавливались во дворе отдела, а когда переполнился, то на шоссе, и ожидали подхода остальных и прибытия Ге гия Гапона, чтобы начать торжественное шествие ко дворцу.

Настроение было торжественное. Разговаривали вполголоса, возник шие кое-где личные споры немедленно останавливали словами: «Перестань товарищи, не такой сегодня день»...

Пришел инженер Рутенберг [2]). Его сейчас же обступила толпа и ст спрашивать о «батюшке, отце Георгие». Интересовались каждой мелочь Часть рабочих отправилась за хоругвями и иконами к Болдыревой даче, помещалась столовая «общества трезвости». Сторож дачи выдал иконы хоругви. Блестя под солнечными лучами яркого и тихого зимнего дня, х ругви медленно поплыли к голове шествия.

Несколько рабочих спросили Рутенберга:

— Хоругви и иконы мы взяли. Не взять ли царские портреты?

Рутенберг был этим вопросом поставлен в затруднительное положен Настроение толпы было в пользу портретов. Поддержать эту мысль Руте берг, как с.-р., не мог. Он осторожно, сбиваясь и путаясь в об'яснениях, ст рался отговорить от портретов. Тем не менее портреты уже появились, несшие их также продвинулись в голову шествия.

У отдела появился Георгий Гапон. Он был бледен и утомлен до изн можения. Голос его был окончательно надорван. Говорить он мог толь шопотом.

Он спросил, исполнили ли все обещание не брать с собой никако оружия. Ему ответили утвердительно.

— Вот и хорошо, — сказал он. — Так мы и пойдем к царю безору ными, чтобы всякий видел, что у нас нет никакой плохой цели.

---

[1]) «Мемуарами» Гапона в этой части я вовсе не пользуюсь, так как, жел блеснуть перед иностранцами, он договорился в них до того, что рассказывал, буд рабочие пели «Боже, царя храни», а некоторые социалисты переиначили эти сло и пели: «Боже, храни Георгия Аполлоновича»... («Мемуары», стр. 205—206).

[2]) Начальник инструментальной мастерской Путиловского завода, член парт социалистов-революционеров.

Рутенберг переговорил с Гапоном и громко сказал рабочим:

— Знаете ли, товарищи, против нас высланы войска. Может быть, будут стрелять и не пропустят к дворцу. Хотите ли все-таки итти?

Все ответили без колебаний, что пойдут.

— Ну, с богом!

Многие стали креститься. Хоругви двинулись вперед. Толпа сжалась у мостика, стиснулась у ворот и широкой волною вылилась на шоссе.

— «Спаси, господи, люди твоя и благослови достояние твое...» — запел кто-то, и молитва, сразу подхваченная тысячами голосов, понеслась, опережая шествие.

Выйдя за поворот улицы, увидели выстроившуюся серой неподвижной стеной у Нарвских ворот пехоту.

— «Побе-еды благоверному императору нашему Николаю Александровичу...» — еще увереннее и тверже понеслись слова молитвы навстречу войскам.

Гапон шел в переднем ряду. По дороге толпу встретили и пошли впереди ее с обнаженными головами помощник полицейского пристава Жолткевич и околоточный Шорников. Они заставляли встречавшиеся повозки и экипажи сворачивать в сторону, чтобы освободить путь шествию.

Вдруг из-за Нарвских ворот вылетел во весь опор отряд кавалерии с шашками наголо и помчался на толпу. Толпа раздалась, и он пролетел, разрезав шествие пополам, по образовавшемуся проходу. Толпа дрогнула.

— Вперед, товарищи! Свобода или смерть! — прохрипел Гапон остатками голоса. Толпа сомкнулась и вновь двинулась вперед.

Отряд кавалерии вновь врезался в нее сзади и опять промчался к Нарвским воротам. Передние ряды шествия с хоругвями и царскими портретами подходили уже к линии войск. Пехота ощетинилась навстречу толпе штыками, блеснули взятые на приклад винтовки, и раздался сухой резкий длинный треск, перекатившийся от одного края войск до другого. Передние ряды шествия были разорваны пулями. Неестественно свернувшись, легли на снег десятки рабочих, упали хоругви. Помощник пристава бросился вперед к войскам:

— Что вы делаете? В крестный ход стрелять!..

Следующим залпом он был тяжело ранен. Рядом с ним лежал убитый околоточный. Часть толпы бросилась бежать. Стоны, крики и проклятия наполнили воздух. Многие бросились на землю и поднялись после первого залпа. По ним дали второй, потом третий...

Рутенберг упал на землю рядом с Гапоном. Когда просвистали пули третьего залпа, он осторожно поднял голову и тихо спросил:

— Жив?

— Жив — шопотом ответил тот.

Они поползли через дорогу к ближайшим воротам, и пробрались во двор. Двор был полон ранеными. Многие лежали и стонали, корчась от боли, некоторые сидели, уставив тупой взгляд перед собой и ничего не соображая. Забившиеся сюда же уцелевшие тоже стонали и метались.

Гапон встал, сбросил с себя шубу и рясу.

— Нет больше царя, — прохрипел он, обращаясь ко всем, и как б дал ответ на копошившиеся у каждого и мучившие всех вопросы.

— Нету царя, — грозно повторили окружающие, и глаза всех жглись огнем непримиримой ненависти.

Гапон взял у одного из рабочих пальто и шапку. Перелезая через боры и пробираясь задворками, он с Рутенбергом добрался до дома, насел ного рабочими. Всюду бродили группы растерянных мужчин и женщин. Га постучался в несколько квартир. Перепуганные жильцы отказались его в стить. Рутенберг предложил ему итти в город. Он согласился.

Забравшись в укромный угол во дворе одного из домов, Рутенберг ост Гапона. Несколько рабочих, которые присутствовали при этом, с благо вением брали и прятали отрезаемые пряди его волос.

Глухими переулками, наталкиваясь на отряды полиции и жандарм Гапон и Рутенберг пробрались через Варшавский вокзал через цепь вой отрезывавших окраины от Петербурга. Гапон дрожал и пугливо озирался каждого встречного. Полицейская форма приводила его в трепет. Он в был поглощен одной мыслью: если его арестуют, то немедленно расстреляк Животное чувство самосохранения взяло верх над всем и целиком госпс ствовало над его жалкой фигурой.

Рутенберг повел его к одним знакомым, потом. чтобы замести сл к другим. Всюду Гапон говорил только об угрожающей ему опасности и б язливо озирался кругом. От того Гапона, каким он был несколько часов н зад — перед началом шествия — не осталось ничего.

Видя, что опасности близко нет, что его местопребывание не высл жено, Гапон немного успокоился, и над страхом стало брать верх чувств тщеславия. Ведь это он поднял сотни тысяч рабочих Петербурга, ведь эт он повел их к Зимнему дворцу, это он читал им петицию и брал клятву по бедить или умереть! Залпы 9 января прокатятся по всему миру. Крованое воскресенье войдет в историю. И над всей этой эпохой, которую не забуде никогда рабочий класс всего мира. будет стоять его, Гапона, имя и сделаетс известным в обоих полушариях!

Рутенберг привел Гапона к своих знакомым, не говоря им, кто он Однако через несколько часов, успокоившись окончательно и чувствуя себя в безопасности, Гапон сообщил всем, под строжайшим секретом, кто он такой, и начал делиться своими планами на будущее перед оторопевшими и ничего не понимающими обывателями.

Ему достали штатское платье. Трудно было узнать в уродливо остриженном, сутуловатом и худом человеке священника, имя которого повторял весь Петербург.

Вечером 9 января Гапон сидел в кабинете у Максима Горького.

— Что теперь делать?

Горький смотрел на растерянного человека, переходившего от бахвальства к паническому страху за свою личную жизнь. Он твердо сказал:

— Надо итти до конца. Все равно. Даже если придется умирать.

Рабочие задавали тот же вопрос. Истерзанные пережитым, они всюду искали своего вождя и прислали сказать ему, что Нарвский отдел ждет его к себе. Гапон колебался, ехать или нет. В результате не поехал и послал им записку о том, что он «занят их делом» и скоро будет с ними. Вместо Нарвского отдела он вместе с Горьким отправился в Вольно-Экономическое Общество, где собралась перепуганная и взволнованная интеллигенция. Там он задним ходом прошел на хоры и слушал истерические речи, метания из стороны в сторону, видел проникшее всех сознание необходимости и близости революции и вместе с тем страх перед нею...

Присутствовавшие выслушивали сообщения от прибывающих о происходящем в городе. Повсюду шла стрельба, везде рубили шашками, убивали безоружных людей. Царила растерянность. Либеральная интеллигенция видела, что она уже отстранена от какого бы то ни было влияния на ход событий, что из ее рук окончательно и навсегда ушла возможность какого-либо руководства борьбой с самодержавием, что эта борьба стала делом рабочего класса, который не остановится на той границе, до которой либеральная буржуазия допускала развитие революции.

Максим Горький сидел с Гапоном в верхней комнате на хорах. Гапон пожелал показаться перед собранием и об'явить всем, кто он. На него нашла вновь полоса жажды славы и поклонения. После уговоров и указаний на опасность от такого выступления для него самого, он согласился прочесть написанное кем-то перед этим воззвание всему собранию, будучи отрекомендован, как близкий друг Георгия Гапона.

Максим Горький громким голосом с хор попросил дать слово «другу Георгия Гапона». Слово было дано.

Гапон подошел к перилам, сообщил, что Георгий Гапон цел и здоров, и прочел следующее письмо к рабочим Петербурга:

«Родные, кровью спаянные братья, товарищи-рабочие.

«Мы мирно шли 9 января к царю за правдой. Мы предупредили об этом его опричников-министров, просили убрать войска, не мешать нам итти царю. Самому царю я послал 8 января письмо в Царское Село, просил его выйти к своему народу с благородным сердцем, с мужественной душой. Ценой собственной жизни мы гарантировали ему неприкосновенность его личности. И что же? Невинная кровь все-таки пролилась.

«Зверь-царь, его чиновники-казнокрады и грабители народа сознательно захотели быть и сделались убийцами безоружных наших братьев, жен и детей. Пули царских солдат, убивших рабочих, несших царские портреты, прострелили эти портреты и убили нашу верю в царя. Так отомстим же, братья, проклятому народом царю и всему его змеиному отродью, его министрам и всем грабителям несчастной русской земли. Смерть им всем! Кто, чем и как может, я призываю всех, кто искренно хочет помочь трудовому народу жить и свободно дышать,—на помощь. Всех интеллигентов, студентов, все революционные организации — всех. Кто не с народом, — тот против народа.

«Братья, товарищи-рабочие всей России. Вы не станете на работу, пока не добьетесь свободы. Пищу, чтобы прокормить себя, жен и детей, разрешаю

брать где и как сможете. Бомбы, динамит — все разрешаю. Не грабьте то. частных лавок, где нет ни еды, ни оружия. Не грабьте бедняков, избег насилия над невинными. Лучше оставить девять сомнительных негодяев, уничтожить одного невинного. Стройте баррикады, громите царские дво и палаты, уничтожайте ненавистную народу полицию.

«Солдатам и офицерам, убивающим невинных братьев, их жен и де всем угнетателям народа — мое пастырское проклятие. Солдатам, кото будут помогать народу добиваться свободы, — мое благословение. Их сол, скую клятву изменнику-царю, сознательно пролившему невинную народ кровь, не пожелавшему даже выслушать свой народ, их солдатскую кля разрешаю.

«Дорогие товарищи-герои. Не падайте духом. Верьте, что скоро бьемся свободы и правды — неповинно пролитая кровь тому порукой. П печатывайте, переписывайте все, кто может, и распространяйте по « России это мое послание и завещание, зовущее всех угнетенных и обе: ленных восстать на защиту своих прав. Если меня возьмут или расстреляю продолжайте борьбу. Помните всегда данную мне вами — сотнями тысяч клятву. Боритесь, пока не будет созвано Учредительное Собрание на осн всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права, где будут браны вами самими защитники ваших прав и интересов, выставленных в шей петиции изменнику-царю.

«Да здравствует грядущая свобода русского народа!

Священник *Георгий Гапон*».

12 час. ночи 9 января 1905 года.

Прочитав письмо, Гапон быстро скрылся. Кто-то попробовал нач аплодировать. Хлопки прозвучали нелепо и фальшиво. Его немедленно ос новили.

Письмо Гапона произвело огромное впечатление, но вместе с тем ле новой тяжестью на сознание собравшихся. Они видели, что есть кто-то мимо них, кто имеет право и возможность обращаться к рабочим с п зывами, зная, что эти призывы не останутся пустым звуком, и что про танное письмо никак не может быть адресовано участникам этого собран

VII. За границей.

Гапон попал в руки партии социалистов-революционеров в лице Рут берга. Рутенберг стремился прежде всего сохранить Гапона для усиления вл ния своей партии в рабочей среде, где социалисты-революционеры почти всем не имели приверженцев. Поэтому его удерживали от свиданий с ра чими, к которым он стремился в минуты храбрости, уговаривали как мож скорее скрыться в безопасное место, чтобы потом, оттуда «руководить бо бой». Его перевезли в имение одного из петербуржцев, обещая немедлен вызвать в Петербург, как только в нем встретится нужда, и на всякий случ указали способ перебраться за границу и снабдили деньгами.

Предоставленный самому себе вдали от Петербурга, Гапон вновь подпал под влияние страха за свою собственную судьбу и уехал за границу.

Некто Г. Л. И. так описывает обстоятельства бегства Гапона из России за границу («Исторический Вестник», февраль 1906 г.):

«Прежде всего Гапон окончательно изменил свой внешний вид, надел пенснэ, облачился в штатский костюм и хорошее пальто и в таком виде 12 января отправился на вокзал Царскосельской железной дороги. Часть дороги его сопровождала знакомая дама, а на дебаркадере ожидали два приятеля. На обязанности одного лежало взять билет и незаметно ему его передать, а другого — следить за полицейскими агентами и немедленно предупредить его на случай малейшей опасности. Для дальнейшей уверенности у Гапона в кармане лежал заряженный револьвер, с помощью которого он решил защищаться».

Дальше Г. Л. И. приводит рассказ самого Гапона в переводе из его «Мемуаров» (стр. 256):

«Выйдя из саней, я увидел, что вокзал полон жандармами и агентами полиции в штатском платье, которые внимательно осматривали пассажиров. Некоторые из них останавливали на мне в упор свой пристальный взгляд, некоторые жандармы прохаживались взад и вперед, точно по чьему-то следу. Мне казалось, что самое лучшее иметь беззаботный вид, чтобы пройти незаметным, и я в этих видах смело остановил одного жандармского офицера с просьбой дать мне закурить. Он весьма любезно исполнил мою просьбу, а я, вежливо поблагодарив его за одолжение, начал прогуливаться по платформе, покручивая усы и придавая себе какой-угодно вид, но только не тот, чем я был в действительности».

«Гапон сел в одно отделение второго класса, его приятель — в следующее, — между собою они не были знакомы. Поезд тронулся и столичная полиция потеряла из виду того, которого она в течение целой недели сначала не решалась арестовать, а потом не умела и не смогла.

«Не доставало только, чтобы из окна вагона он послал ей прощальный поцелуй!» — прибавляет Г. Л. И.

Переменив четыре раза направление, Гапон приехал в условленное имение, пробыл там несколько дней и отправился к границе, которую перешел после ряда приключений, с контрабандистом.

А по телеграфным проводам летела следующая шифрованная телеграмма, адресованная пограничным жандармским офицерам Вержболово и всех границ:

«Священник Георгий Гапон, роста среднего, тип цыганский, смуглый, волосы остриг, бороду сбрил, оставив маленькие черные усики, нос горбинкой, слегка искривлен, бегающие глаза, на левой руке ниже последнего сустава наружной стороны указательного пальца свежая пулевая рана [1]), говорит ха-

[1]) Ни сам Гапон, ни другие участники нигде не говорят о ранении Гапона 9 января. *Д. С.*

рактерным малороссийским акцентом, одет в штатское или рабочее плать может ехать за границу по чужому паспорту, по этим приметам наблюди проездом Гапона. обыщите, арестуйте, телеграфируйте.

Директор *Лопухин*» [1]).

Гапон благополучно приехал в Женеву.

В сборнике «За кулисами охранного отделения», вышедшем в Берли в 1910 году, некто В. Ленуар (повидимому, под этим псевдонимом скрыл В. Чернов) так описывает настроение русских эмигрантских кругов в ожида нии приезда Гапона в тогдашний центр русской политической эмиграци

«Мы с большим нетерпением и большими надеждами ждали прибыти легендарного Гапона. Нам казалось, что мы встретим глубоко искреннег страстного, порывистого энтузиаста, отдающегося до самозабвения заветнс идее, с жгучей жаждой правдоискательства. Так рисовали мы себе эту фигур a priori. будучи не в состоянии иначе представить себе человека, которы еще вчера шел в рясе с хоругвями и крестом, а сегодня, сбросив рясу и от толкнув ее негодующе презрительным толчком, уже взывает к восстани к террору, к бомбам и динамиту...

«Помню, какая тревога поднялась у нас, когда вдруг мы узнали, чт Гапон, переехав русскую границу, куда-то запропал, что его товарищ, кото рый должен был встретиться с ним в одном германском пограничном город не нашел его там... Не знающий иностранных языков, затерявшийся вблиз русской границы, быть может, уже доставляемый обратно предупредитель ными прусскими жандармами — такая картина уже тревожила наш ум, и м принялись за розыски, пустили в движение свои немецкие связи, стараяс выяснить, куда девался Гапон...

«Но наши тревоги оказались напрасными. Через несколько дней м узнали, что Гапон цел и невредим, что по незнанию языка он запутал в Женеве, не нашел никого по данному ему (Рутенбергом) адресу, случайн попал в русскую студенческую библиотеку и открылся одному из библиоте карей, социал-демократу, который и отвел Гапона немедленно к Плеханову где он уже несколько дней вращается среди социал-демократов и больш не появляется никуда... Еще через несколько дней мы увиделись с Гапоном

---

[1]) Помимо этой телеграммы, в архиве ВЦИК в делах б. департамента полици я нашел еще такую телеграмму (перевожу с французского), посланную из Рим 22 (9) января 1905 г.

«Князю Мирскому—Петербург.

«Из Рима 107,37—22,3—40 п.

«Есть указания, что священник, стоящий во главе движения, — агент наши врагов. Распорядитесь расследовать найдете фунты стерлингов. Все меры должны быт хороши против негодяя, который работает на пользу врагов и пользуется бедствиям своей родины, чтобы обеспечить успех своих замыслов».

Телеграмма не имеет никакой подписи. Тем не менее министр Святополк-Мирски присоединил ее к делу департамента полиции.

Отсюда — сказка об англо-японских 18 миллионах, которыми подкуплены был рабочие, о чем правительство выпустило официальное объявление 15 января, а «свя тейший» синод — 16 января.

Перед нами была фигура, совершенно непохожая на тот образ, который мы мысленно рисовали себе. Перед нами был подвижной человечек с бегающими и глядящими исподлобья глазами, с хитроватой улыбкой, с неровной речью. Было что-то своеобразное, скрытно-развязное во всей фигуре, во всех его манерах. Той подкупающей фанатической страстности, того кипучего энтузиазма, которых мы ожидали, не осталось и следа. Были временами взрывы одушевления, но в них сказывалась только какая-то стихийная внутренняя сила, находящаяся в полном подчинении у «человека себе на уме». И чем дальше, тем яснее и яснее обрисовывался с этой стороны его моральный образ» (стр. 144—146).

Плеханов принял Гапона и с интересом стал расспрашивать его о событиях 9 января и о его дальнейших намерениях. В разговоре он сейчас же понял, что имеет дело с политически безграмотным суб'ектом, выброшенным наверх революционной волной и безнадежно гибнущим вследствие прежде всего огромного самомнения. На вопрос о том, к какому из течений он примыкает, Гапон без запинки об'явил себя социал-демократом. Г. В. Плеханов, немного подтрунивая над ним по этому поводу, усиленно рекомендовал ему почитать и, уже получив политическую грамотность, стремиться к какой-либо из партий. Гапон попросил книг и, получив их, ушел как будто удовлетворенный.

«— Через несколько дней, — рассказывал Г. В. Плеханов, — Гапон пришел снова. Из разговора с ним я понял, что даже популярные брошюры остаются совершенно недоступными его пониманию и ничего, кроме скуки, в нем не вызывают. Я дал ему еще несколько книжек. Через несколько времени он, однако, совершенно пропал. Встречаю его как-то на улице.

«— А, батя, куда же вы девались?

«— Я теперь к социалистам революционерам перешел, — отвечает он.

«— Ну, где же лучше по-вашему?

«— Конечно, там! Вы заставляете всякие книжки читать, а у тех настоящее дело. Там меня учат из револьвера и из ружья стрелять, верхом ездить, баррикады строить, бомбы начинять, — словом, настоящая работа!

«— Вы смотрите, батя, — социалисты-революционеры хитрые. Самого главного они, верно, вам не показывают.

«Тот насторожился.

«— Чего же именно?

«— А вот на воздушном шаре летать! Наверно, про это ничего не говорили?

«Гапон ушел обеспокоенный, и больше Г. В. Плеханов его не встречал.

«В это время его уже нашел выехавший за ним за границу Рутенберг, который и постарался вытащить его из-под «вредного» плехановского влияния и возвратить в лоно партии социалистов-революционеров».

Оригинальную картинку из жизни Гапона в Женеве у с.-р. рисует А. С. в «Русском Богатстве» за 1909 г. (кн. I: «Из заграничных встреч»):

«Гапон жил у одного из с.-р. Ш. (Шишко). Как человек болезненный, всецело поглощенный литературными занятиями, Ш. жил в большом уединении

в дачном домике-особняке на окраине города. Таким образом самый исı ный сыщик не мог бы следить за этим домом, не будучи сам тотчас заме' ным. Это-то отчасти и побудило поместить здесь Гапона, которого в то вр тщательно скрывали отчасти из опасения, чтобы швейцарское правительс его не выдало, а главным образом из боязни покушения на его жи со стороны какого-нибудь «наемного мстителя».

«Гапона я нашел не в его комнате, а у хозяев в зале за довольно нео: данным спортом. Он стрелял в прицепленную к стене цель из детского пис лета палочкой с гуттаперчевым наконечником, который прилипал к тс месту, куда попадал. Гапон был сильно увлечен этой стрельбой, радова, как ребенок, когда попадал в цель, а неудачные выстрелы старался об'ясні каким-нибудь внешним препятствием. Поспешно поздоровавшись со мн он тотчас же воскликнул:

«— А ну-ка, ну-ка! Попробуйте стрелять! Попробуйте!

«Я выстрелил и не попал в цель. Гапон пришел в восторг.

«— Не попали! А я вот почти раз за разом попадаю! Смотрите!

«И он снова принялся стрелять.

«Присутствовавшая тут же хозяйка заметила с добродушной незлоб востью, с какой взрослый человек говорит о шалостях ребенка:

«— С самого раннего утра идет эта стрельба! Мы уже все одуре. от нее!

«— Вот сейчас, сейчас, Н. В., — бросил Гапон поспешный отв хозяйке. — Еще пять раз выстрелю — и довольно!

«Но после пяти выстрелов он попросил разрешения еще на пять, и ец на пять. Наконец, сделав усилие, он отложил пистолетец. При этом он, прı няв серьезное выражение, об'яснил мне:

«— Надо научиться стрелять. Скоро начну брать уроки фехтованиı Буду учиться верховой езде... Надо все это уметь. Скоро все это понадс бится, — добавил он несколько загадочно» (стр. 177—178).

Конечно, такого рода «подготовка» к революции, которую заставил Гапона проходить соц.-революционеры, разорившись даже на покупку дл «героя 9 января» игрушечного детского пистолетика, гораздо больше нра вилась Гапону, чем чтение серьезных книг по плехановскому рецепту...

Приведенный мною рассказ А. С. мог бы показаться насмешкой и на социал-революционерами, и над Гапоном, если бы не был напечатан в «Рус ском Богатстве», — журнале, являвшемся почти официальным легальным органом той же партии социалистов-революционеров и дружественных им «народных социалистов».

Однако вскоре соц.-революционеры, все же опасавшиеся вредного влияния на Гапона со стороны соц.-демократов, перевезли его в Париж — подальше от социал-демократической Женевы.

Социалисты-революционеры старались все время поддерживать в Гапоне настроение величия содеянным, обращались с ним, как с величайшим революционером, как с вождем, устраивали совещания, обсуждения важнейших вопросов, среди которых на первом месте стояли динамит, оружие, террор,

бомбы... Ему заказали написать несколько брошюр и прокламаций. Он писал и читал их Азефу, Чернову и другим членам центрального комитета партии социалистов-революционеров. Однако писать брошюры ему не показалось достаточно важным. Он предпочитал письма, и не иначе, как к самым высокопоставленным лицам. Первое такое письмо было адресовано Николаю Романову. Рутенберг высказался против его напечатания, но Азеф поддержал Гапона, и письмо было напечатано за границей.

В Париже Гапон поселился в семье Азефа.

Случайно или намеренно, два провокатора стали жить вместе, Гапон рассказывал Азефу о своем знакомстве и сношениях с охранником Зубатовым и другими полицейскими, а Азеф слушал и пересказывал его сообщения другим своим товарищам по ЦК партии социалистов-революционеров, с притворным омерзением сплевывая в сторону и говоря, что «прошлое попа мне претит»...

Кроме литературных упражнений, Гапон решил при содействии своих новых друзей показаться в свет. Заводить в Париже знакомство он счел возможным в первую очередь с Жоресом, Вальяном и Клемансо.

Азеф поддержал его и устраивал ему эти свидания. Рассказывал о них Гапон с большим пафосом:

«— Вальян сказал мне: у вас большой ум и великое сердце... Так и сказал: большой ум и великое сердце... Оба они — и Жорес, и Вальян — страшно рады были повидаться со мной и сказали, что это для них большая честь»...

Так переводили друзья Гапона ему самые обычные слова вежливости, сказанные Жоресом и Вальяном при свидании с ним, от которого у них осталось довольно странное впечатление.

«— Я спросил Жореса, могут ли меня арестовать в Париже? — продолжал свой рассказ Гапон.—Жорес поднял кулаки, раскричался. Сказал, что все разобьет, если меня арестуют»... — и Гапон смеялся мелким смехом, расплываясь от восторга сознания своей значительности и величия.

В день свидания с Клемансо, к которому также неизвестно зачем таскали Гапона его новые товарищи, он устроил безобразнейшую сцену из-за того, что ему купили рубашку с гладкой, а не гофрированной крахмальной грудью.

(Окончание следует).

Истоки правового индивидуализма.

И. Ильинский.

1.

Эпоха буржуазии, говорит Маркс в «Коммунистическом Маниф отличается тем, что она упростила классовые противоречия [1]). Промь ный капитал разрушил ремесло. Вместо традиционных, передававшихся поколения приемов, секретов личного искусства, заботливо охраняв рецептов смешения красок и закалки стали, обессмертивших лионские брюссельское кружево и толедские клинки, промышленный капитали ставил математически выверенные и легко сводимые к единообразным кам формул монотонные движения машин с колесами, поршнями и рыч одинаковыми в Толедо и Золингене, Лионе и Дрездене, Брюсселе и Значок мастера — гарантия точности и ручательство за художествен работы — сохранил свое значение разве для таких, напоминающих ка и статуи предметов, как скрипки Страдивариуса или часы Людвига Бр Рескин и Вильям Моррис могут сколько угодно вздыхать о забытых дос ниях средневекового ремесла, когда каждый башмак или каждая п кружка носили на себе отпечаток изящного вкуса того мастера, котор изготовил. Промышленный капитал, ничуть не стесняясь этим, заменяе ный вкус потребителя модой, значок мастера — товарным знаком, р щимся, впрочем, далеко не всегда, за прочность товара и лишь в редки чаях претендующим на ручательство за художественность. Посл не отвечает существу калькуляции, то-есть торгово-промышленного ра имеющего дело по преимуществу с однообразными элементами цены.

Торговый капитал подготовил, но он же продолжил и расширил р своего промышленного собрата. В союзе с ним он довершил упразднение и помог раскрепощению крестьян от бесконечного множества опутыва их натуральных и трудовых повинностей. В значительной степени собс ными усилиями торговый капитал добился снятия сотен внутренних там и заграждений, взимавших разорительные октруа, попудные и прочие при в'езде и выезде из города, проездом через владения того или иного

[1]) «Коммунистический Манифест», гл. I, во 2-м изд. под ред. Д. Б. Ряз стр. 72.

ната, при посещении ярмарки и т. д. Товар, благодаря этому уменьшению накладных расходов, получил более устойчивую и определенную цену, иными словами, то денежное выражение, которое одно только и могло дать ему совершенно законченный смысл товара — предмета, имеющего меновое назначение. В этом свете все вещи получили новые очертания: вместо богатства красок какого-нибудь придворного турнира или нежных блеклых тонов света, изливавшегося сквозь расписные стекла собора,—мир получил ровную сероватую окраску заводского цеха или товарного склада в лондонском Сити, где все поражающие своим богатством и разнообразием продукты природы и промышленности от тропиков до Шеффильда затюкованы в одинаковые тюки и снабжены составленными по одинаковой форме фактурами. В том же «Коммунистическом Манифесте» превосходным слогом описан этот процесс. В нижеприводимых словах Маркса чувствуется не только мыслитель-революционер, но и историк-художник, способный облекать в выпуклые образы сухие выкладки теории и статистики:

«Всюду, где она достигла господства, буржуазия разрушила все феодальные, патриархальные, идиллические отношения. Безжалостно разорвала она пестрые феодальные нити, связывавшие человека с его наследственными повелителями, и не оставила между людьми никакой связи, кроме голого интереса, бессердечного чистогана. В холодной воде эгоистического расчета потопила она священный порыв набожной мечтательности, рыцарского воодушевления и мещанской сентиментальности. Она превратила в меновую стоимость личное достоинство человека и на место бесчисленного множества видов благоприобретенной и патентованной свободы поставила одну беззастенчивую свободу торговли» [1]).

Движение человеческих страстей и интересов было заменено движением товаров, приобревших как бы самостоятельное бытие и поставивших себе на службу своих производителей и потребителей, то-есть людей. В этом суть товарного фетишизма, открытого и с неподражаемой силой описанного Марксом в конце первой главы первого тома «Капитала». Связь товарного фетишизма с некоторыми чертами буржуазного правопорядка отлично выяснена в ценной работе Е. Пашуканиса «Общая теория права и марксизм». Мне останется дать здесь лишь некоторые восполняющие штрихи. Автор «Капитала» нашел время и возможность хотя в самых общих чертах учесть преобразующее влияние товарооборота на социальную психологию товарноменового общества. «Товаровладельцы, — говорит Маркс во второй главе I тома «Капитала», — уже делали дело, прежде чем начали рассуждать. Законы товарной природы проявляются в виде природного инстинкта товаровладельцев». Выражение «инстинкт» не может считаться случайным, ибо несколькими страницами ниже Маркс развивает ту же мысль в следующих словах: «Чисто атомические отношения между людьми в их общественно-про-

---

[1]) Там же, стр. 74.

изводственном процессе приводят прежде всего к тому, что их собст производственные отношения, стоящие вне их контроля и их сознат индивидуальной деятельности, принимают вещный характер, вследстви все продукты их труда принимают форму товаров»[1]). В этом изобра общество товаровладельцев напоминает действующее точно также і стинкту, помимо соображений сознательной индивидуальной деятель общество муравьев. Товаровладельцы, однако, ограничивались прежде и по преимуществу делом, которое, вопреки евангельскому изречению раньше слова. Но и «слово», в данном случае идеологическое предстаı о товарно-меновом обществе, не заставило себя долго ждать.

Гизо указывал, что идея порядка для феодального общества была т кажущейся, и что в действительности порядок разрушался постоянны сильственными актами отдельных групп и лиц. Отсюда выросла нео(мость абсолютной монархии, постепенно подготовившей почву для пер власти в руки буржуазии. И феодальный, и буржуазный строй опир. на насилие, но методы его применения совершенно различны, как раз. методы войны и формирования вооруженной силы.

В праве повторился тот же процесс, что мы наблюдали в хозя и военном деле. Массовый, однообразный характер товарного произво и оборота сказался здесь теми же чертами. Умирают права, основа на привилегиях, прерогативах, родовых традициях и прочих выражениях ı венства. На место сложных и запутанных, как латинские неправил глаголы, старинных правоотношений становятся новые, вытекающие из е образного понимания и применения формулы закона, выработанной в ра на неопределенное, почти бесконечное число случаев, как производительн капиталистического предприятия в идеале определяется лишь степенью е сти рынка. Борьба с пестротою местного законодательства и правопор занимает одно из первых мест. От простой записи обычаев государстве власть в начале робко и неуверенно, а потом все смелее переходит к прям правотворчеству. В какой мере обусловливается этот процесс потребност капитала, прежде всего торгового, — общеизвестно. В XVI веке француз юрист видит едва ли не главную свою задачу в собирании и записывании м ных обычаев, так называемых кутюмов. Но с XVI по XVIII век развал сре. вековых хозяйственных форм протекает с чрезвычайной быстротой. На нается систематическая колонизация разных стран Нового Света. Ост-И ская компания закладывает основы британского владычества в Индоста Африка становится грандиозной разработкой живого товара — рабов; Ли пуль, порты Франции, Испании и Голландии обогащаются благодаря быс растущей работорговле. Из вновь открытых рудников Мексики и Боливии лото и серебро непрерывным потоком льются в Европу. Еще в XIV и XV ве торговый капитал сделался силой, с которой должны были считаться кор(

---

[1]) «Капитал», 1920 г., стр. 56—63.

но свобода торговли даже в наиболее крупных коммерческих центрах фактически отсутствовала ввиду того, что правопорядок этих пунктов повторял характерные черты феодального порядка вообще, то-есть основывался на привилегиях и разного рода охранительных правилах [1]). Для производства постоянной торговли в каком-либо городе, кроме уплаты налогов, подчас весьма обременительных, нужно было еще иметь определенное звание. Все эти затруднения в совокупности были настолько велики, что лишь такие мощные организации, как Ганзейский Союз, имели возможность содержать свои фактории в разных странах. Отделения Ганзы едви ли не монополизировали в своих руках некоторые отрасли торговли в Лондоне, Брюгге, Бергене, Венеции, Новгороде и других городах. Расширение рынка в связи с колонизацией новых земель и прилив благородных металлов открыли новые пути для личной предприимчивости, оборотливости и организаторских дарований, которым раньше не давали ходу повсеместно наставленные юридические рогатки. Короли, поддержанные золотом предпринимателей, становятся все решительнее в установлении закона свыше, диктовавшегося якобы их доброй волей, а в действительности отвечавшего интересам и воле капиталистов, которым он накатывал пути к дальнейшему обогащению. И если в начале городские общины ведут с королевской властью борьбу за право постоянного участия в управлении и законодательстве (Генеральные Штаты), то в дальнейшем обе стороны отлично прилаживаются друг к другу. Финансовый капитал опутывает своими сетями придворную знать и вместе с нею короля. Видимость абсолютизма сохранялась, он мог временами даже дерзать на разорительные для капиталистов затеи (как, например, отмена Нантского эдикта), но в общем и целом абсолютистское правление шло по начертанным ему интересами промышленности, торговли и финансов путям. Там, где вотчинная идеология феодализма, подкрепленная католическим духом авторитарности, берет на себя смелость в лице королевской власти оказать сопротивление растущей мощи капитала, и где искусство политиков и законоведов оказывается недостаточным для того, чтобы найти приемлемый для обеих сторон мирный modus vivendi, вопрос окончательно разрешается силой оружия. Свободный торговец одерживает верх над самовластным держателем вотчины, и одновременно их отражения на идеологическом экране воспроизводят ту же схватку. Свободный индепендент и пуританин побораю неистового паписта. Только через 40 лет по завершению решительного фазиса борьбы, английские юристы находят изящную формулу в об'явлении вакантным престола бежавшего Иакова Стюарта. «Достославная революция» возвела на этот престол Вильгельма Оранского, а ст. 4 Билля о правах окончательно закрепила участие буржуазии через ее парламентских представителей в установлении и сборе налогов для нужд государства.

С 1-й трети XVIII века на помощь этим тенденциям приходит промышленная революция. Она началась изобретениями Кэя, Уатта и Харгривса

---

[1]) Кеннингем, Западная цивилизация с экономической точки зрения, т. II, стр. 169.

в ткацком деле, затем перекинулась в горную промышленность и трансп С изумительной, далеко не всегда в истории встречающейся точностью и нога в ногу с этим ростом буржуазии рост правового могущества централы власти. С внешней стороны он нашел себе вполне отчетливое выраже в новой государственной функции — законодательстве. Медленный ход зяйственного развития в средние века мог уживаться с тем несовершенн регулированием, которое обеспечивали ему косные обычаи и привилег Почтение к освященным древностью законам было столь велико, что да на первых порах развития капитализма, когда власть вынуждена была п ступить к весьма энергическому творению права, с этим мирно уживал иллюзия о непоколебимости старых законов. Самое слово закон не сра стало прилагаться к актам королевской власти. Первоначально им поль вались почти исключительно для обозначения закона божественного, зако естественного, принятого во всем мире римского права, и, наконец, того осн ванного на обычном праве уклада политической организации страны, котор называли законами королевства. Законодательные акты французских корол именовались ордонансами, то-есть указами. Русские князья издавали устав а московские государи — указы. В России слово «закон» для обозначения пр вотворческих актов государственной власти стало употребляться со време Петра Великого. Только в XVIII столетии окончательно присваивается гос дарственной властью правотворческая функция. Последующий ход событи ведет все к большему и к большему ее расширению, пока буржуазное государ ство не ставит на ближайшую очередь задачу полной монополизации прав творчества в руках государства и получивших от него на то полномочи общественных организаций. Обычай из верховной нормы права сделался во полнительной.

2.

Все это не могло, разумеется, протекать совершенно безболезненно Переживания феодального строя порой находили в себе силу для весьма вну шительного протеста. В лице де-Местра, Бональда и Константина Леонтьев мы видим протестантов, руководствовавшихся в большой мере побуждениям эстетического порядка. Историческая школа юристов с ее культом обычая пыталась в сочинениях некоторых своих представителей подвести под феодальную реакцию некоторую видимость научного фундамента. Но разлагающие влияния нового времени сказывались на ней уже с достаточной силой Е. Пашуканис преувеличивает поэтому, когда целиком сводит историческую школу на феодальную и мелко-буржуазную реакцию. Установившийся в науке взгляд на писателей этой школы, как на безусловных поборников партикуляризма и национального духа, требует значительных поправок. Савиньи видел общую цель развития права в «признании всюду равного нравственного достоинства и свободы человека и юридической охраны этой свободы при помощи соответствующих институтов». Из взаимодействия этих начал с более узкими началами народного права рождается прогресс правового развития, дающий высшее единство тех и других. Другой, ныне забытый юрист той же

школы Юстус Мезер дает еще более любопытный образчик действия могущественного духа времени на самых упорных и, так сказать, заскорузлых поклонников старины. Этот ученый не без основания считался приверженцем крепостничества. В своих исторических работах он с особенным удовольствием останавливался на изучении небольших княжеств и графств, обломков феодального периода (такова история крохотного Оснабрюкского владения — 1768 г.). Тем более характерно, что Мезер, писавший за 50—60 лет до Савиньи, развивал взгляд на государство, как на акционерную компанию. Каждый гражданин — обладатель известной акции в виде принадлежащей ему собственности. Различие акций порождает различие прав, отсутствие их — бесправие. П. И. Новгородцев, давший лучшую в русской литературе работу об исторической школе юристов, по поводу Мезера противополагает «современную идею равенства всех перед законом» средневековым воззрениям, «ставившим права человека в зависимость о его положении, как собственника» [1]). Можно, конечно, найти средневековых писателей, для которых вопрос стоял именно так. Но сваливать всецело на средневековье идею, столь типичную для буржуазного правопорядка (цензовое избирательное право, множественный вотум и т. п.), — значит иметь весьма смутное представление о роли собственности при господстве буржуазии. Дело обстоит как раз наоборот. По средневековым воззрениям, круг права собственности нередко очерчивался в зависимости от статуса данного лица. Об этом свидетельствует в первую очередь система землевладения с ее спутанной сетью феодов, аллодов, бенефиций, коммендаций и т. п. Можно сказать, что и самое-то право собственности в его чистом виде, т.-е. как абсолютное право пользования, владения и распоряжения, стало мыслимо лишь в буржуазном обществе, т.-е. в таком, где земля является одним из товаров и при том не самым важным. Английское земельное право, до сих пор, как известно, хранящее весьма значительные пласты феодализма, охотно пользуются чуждым континентальному юристу понятием держания (tenure) и устанавливает особые виды исков для истребования недвижимого имущества.

— ——

Случай с П. И. Новгородцевым в некоторых отношениях весьма поучителен, как пример юридического фетишизма. Равенство перед законом, зачаровывающее этого ученого, как многих других, не только заставляет его переворачивать историю с ног на голову, но и поражает особого рода умственной слепотой. Иначе нельзя назвать неспособность видеть глубочайшую связь собственности со всеми основами буржуазного правопорядка. «Определить буржуазную собственность, — писал Маркс, — значит, сделать не что иное, как описание всех отношений буржуазного производства» [2]). Мы имеем, впрочем, высоко авторитетное свидетельство с другой стороны. В своей известной монографии о собственности (1848 г.) Тьер признал

[1]) П. И. Новгородцев, Историческая школа юристов, М. 1896, стр. 54

[2]) Письмо к редактору «Социал-Демократа» (1865 г.).

ее основанием, на котором покоится общество. Из этой монографии узнаем, что наши руки, ноги и прочие члены тела принадлежат нам на пр собственности. Отсюда Тьер и начинает свое исследование, думая, что о рается на твердые, незыблемые устои. «Я чувствую, — пишет он, — что п надлежу самому себе [1]). Против такой уверенности, поистине, вряд ли можно возразить. Изолированный буржуа, утешающийся созерцанием св членов, как принадлежащих ему на неоспариваемом никакими социалиста праве собственности, — сюжет, достойный кисти художника. Мудрый зако датель должен был бы распорядиться о помещении такой картины во в биржах, нотариальных конторах и судебных залах. Но Тьер на этом не ос навливается. Способности, рассуждает он, точно также состоят на пр собственности у своих носителей. Но если такова юридическая природа с собностей, то ничего другого нельзя сказать и об их употреблении, то-е о труде. Дальнейший путь этих мыслей достаточно хорошо известен. Со нение Тьера забыто, имя его служит синонимом ограниченности или про поводом для юридической усмешки историка, но его идеи, отпочковавши от своего творца, цветут и наслаждаются всеми радостями жизни. Труд ра чего, — постановил в 1886 г. Верховный Суд Пенсильвании, — есть его п мая собственность и признан за таковую конституцией Соединенных Штат Нельзя, следовательно, ограничивать использование этого труда какими бы ни было направленными к его охране мерами, ибо таковые посягали бы конституционные вольности граждан. Заботы штата Пенсильвании бы плохо оценены американским Конгрессом, который принял в 1914 г. так наз ваемый акт Клэйтона, указывавший, между прочим, что человеческий тр не есть товар или об'ект коммерции. Штат Массачузетс усилил этот акт пр усмотрительным раз'яснением, что право быть нанимателем или рабоч не может быть рассматриваемо, как право собственности. Но тут-то и на лась самая интересная часть истории. Верховный Суд штата Массачузетс ст на точку зрения Тьера и об'явил приведенное раз'яснение неконституционн на том основании, что оно нарушает незыблемое право собственности ра чего на его физическую силу, лишая его тем самым связанных с собствен стью солидных юридических гарантий [2]).

Человек принадлежит самому себе. Таково представление о со ственности, как о естественном праве, взятом вне социальных отношен Перенесем это представление в социальную среду и скажем: законно и доп стимо право проститутки торговать своим телом, как право ее клиен входить с ней в сделку о найме на срок или навсегда; законно и допусти право должника ручаться своей головой за выполнение обязательства и ит в рабство к верителю, если долг не уплачен. Чувствительные юристы возм щаются появившимися, в связи с новыми успехами медицины, сделками о п реливании крови из жил молодого крепкого бедняка в жилы истощенно пороками и излишествами полуразрушенного буржуа. Но когда не вра

---

[1]) Тьер о собственности, СПБ., стр. 24.

[2]) E. Lambert, Gouvernement des Juges aux Etats Unis, Paris, 1921, p. 168.

а социальный порядок из года в год осуществляет это переливание из жил одного класса в жилы другого через присвоение добавочного труда, то-есть опять же теплой крови, нервной энергии, мышечной упругости, — чувствительность уступает место законности. Можно смело порекомендовать молодому поколению юристов Европы изучение Тьера. Они поймут тогда, что последовательность превыше всего, как это поняли отчасти американские суды. Круг исторического развития, вернувшись к началу, замкнется, и торговля людьми будет построена на незыблемой основе торжественно провозглашенных в конституциях всего мира вольностей прав.

3.

Упрощая общество, буржуазия стремится упростить и мышление об обществе. Период ее господства характеризуется двумя основными чертами: машинным производством в промышленности и свободной конкуренцией в торговле. Эти черты дают главный материал при построении буржуазной идеологии. Техника машин рождает потребность в машинизации мышления. Но все успехи техники основаны на расчленении материи на первичные элементы и умении найти простейшие законы, руководящие движением этих элементов. С другой стороны, коммерческое воображение, как отмечает в одной из своих работ Рибо, вытекает из конкуренции, борьбы и пользуется при этом схематическими образами. Схематическими Рибо называет такие представления, которые движутся между конкретным образом и чистым понятием, но как правило, больше приближаются к понятию, чем к действительности. Ценность этого замечания станет нам ясна в дальнейшем. Пока же стоит отметить, что первые, достаточно завершенные проявления общественной идеологии буржуазии мы встречаем в так называемой социальной физике XVII века. Опасаясь чрезмерной загрузки настоящей работы историческим материалом, я воздержусь от приведения даже наиболее разительных примеров из числа собранных в известной монографии Е. В. Спекторского. Основной вывод его необходимо, однако, привести. Таковым является желание обществоведов XVII века преобразовать свою науку в физику человеческого общежития, поставить ее на уровне нового естествоведения[1]). Е. В. Спекторский констатирует их неудачу и всю свою работу посвящает доказательству того, как несправедливо были забыты эти мыслители и в их числе замечательный Эдуард Вейгель. Книги, конечно, умеют свои судьбы. Историк политических учений, излагающий философию права Гоббса, редко задумывается над вопросом, почему в XIX и XX веках нужно изучать этого теоретика абсолютизма XVII века. Еще реже он задумывается над вопросом, почему забыт современник Гоббса немецкий рационалист Эдуард Вейгель. Сам Е. В. Спекторский, пытающийся воскресить Вейгеля для науки, ограничивается по этому поводу жалобами на историческую несправедливость.

---

[1]) Е. В. Спекторский, Социальная физика XVII столетия, т. I, Варшава 1910 г., стр. 49.

А между тем при изучении забытых мыслителей едва ли не самым интересны
является вопрос, почему они забыты. И здесь история нас поучает, что всегд
почти обречены этой участи слишком ранние предтечи. Пантометрия и схема
тизм Эд. Вейгеля не находили еще достаточного отклика в хозяйственнс
политических потребностях его времени. Разделение общества на людски
атомы еще идеологически не назрело. Сейчас, когда мы читаем, «что граждан
ская жизнь, это — моральное пространство, в котором размещаются мораль
ные субстанции», это звучит для нашего уха архически только по форме. За
меним мысль Вейгеля следующим положением: «правовое общение есть сово
купность взаимодействий морально и юридически равноценных суб'ектов»
и тогда в новой оболочке она покажется нам живой и благополучно здрав
ствующей современницей. Если бы Вейгель жил в наше время, он избрал бы
вероятно, вторую или близкую к ней формулировку для своей мысли. И, надс
думать, он испытал бы высокое удовлетворение, видя, какой теплый прием
встречают моральное пространство и моральные субстанции в современной
юридической идеологии только потому, что сменили фижмы и кринолин
на более модный костюм.

Вейгель надеялся, разумеется, на громадную экономию умственных сил благодаря использованию открытых им математических способов социального познания. Его современники не оценили этого стремления. Но капиталистический строй, экономно использовывающий в своем хозяйстве всякую мелочь, не может не задумываться и над вопросом об экономике мышления. Стремление к дешевизне и расширению рынка рождает массовое производство однообразных товаров. Стремление к упрочению власти над пробуждающимися массами выбрасывает на рынок доступные всем и каждому, пленяющие своей простотой, изяществом и дешевизной продукты идеологического производства. При этом в идеологическом хозяйстве использовывается с большим вкусом и уменьем всякого рода историческое старье. Пауль Шенде справедливо отмечает в настоящем вопросе два момента. Первое, это— то, что самый принцип экономии мышления возник из потребностей капиталистического строя. Второе — господство идеологий облегчается именно тем, что весьма часто они идут навстречу естественной склонности к экономике мышления [1]). Для нашего времени принцип договорного образования государств является, конечно, историческим старьем. Однако, будучи преобразован или переплавлен в соответствии с новейшими требованиями идеологической техники, принцип этот продолжает служить в самых различных отраслях частного и публичного права. Наиболее существенная часть его — сознательно и добровольно договаривающиеся суб'екты — уцелела до наших дней. Это видит и Макс Вебер, когда отмечает по своему обыкновению

---

[1]) P. Szende, Eine soziologische Theorie der Abstraction,—Arch. f. Sozialwiss., 1923, B. 50, H. 2, S. 421; ср. его же Verhüllung und Enthüllung,—Arch. f. die Gesch. des Sozialismus, 1922, H. 2/3, S. 204.

в несколько путаной и тяжеловатой форме: «Добровольный разумный договор в виде либо исторической основы всех общественных форм, либо как регулятивное оценочное мерило — один из универсальнейших принципов естественно-правовой конструкции» [1]).

Теория общественного договора понадобилась буржуазии, как одно из ее орудий в борьбе со связывавшей хозяйственную инициативу королевской властью. Но бороться предстояло на несколько фронтов, ибо развитие производительных сил задерживалось господством крупных землевладельцев и прочими остатками феодального строя. Идея ранга была не приемлема при новых условиях. Ее должна была заменить идеология равенства и прежде всего свободы, отвечавшая требованиям новой фазы хозяйственного развития. Первые поняли это экономисты и выдвинули мысль о свободно хозяйствующей личности, как единственно способной двинуть вперед общественную экономику. Человек гораздо вернее достигает своей цели, писал Адам Смит во 2-й главе 1-й книги «Богатство народов», если обращается к личному интересу своих ближних. Ему надо лишь суметь убедить их, что, поступая согласно с его намерениями, они находят в том выгоду для себя. Между тем, свободная игра личных интересов стесняется разными формами вмешательства извне. В 10-й главе той же книги Смит исчисляет бедствия, приносимые этим вмешательством, и настаивает на раскрепощении личного почина. Вне всякого сомнения, что идеи Смита были для его времени прогрессивны и революционны даже более, чем обыкновенно думают. Он был, разумеется, выразителем интересов подымавшегося к власти класса. Однако следует помнить, что революционный класс действует во имя не только своих интересов, но и нужд всего общества в целом. Именно это придает такой пафос его идеологам и такой романтический ореол его борьбе. Вожди и идеологи революций на короткое время возвышаются над интересами своего класса. Их преемники, обыкновенно, увязают с головой в обыденщине и самодовольстве класса-победителя, не желающего расстаться с завоеванным на жизненном пиру местом. Только тот класс, который борется за уничтожение классового деления общества, может рассчитывать избежать этой участи. Робеспьер не знал, что его историческими потомками будут Адольф Тьер и генерал Шангарнье. Адам Смит, вероятно, не предвидел ни Рошера, ни Сэя, ни Бастиа. Новейший английский социолог Роберт Тауней подчеркивает, что Смит строил свою теорию тогда, когда главное было не в деятельности капиталистов, а в тормозивших прогресс привилегиях и ограничениях [2]). Однако у Смита есть немало характерных мест, направленных именно против капиталистов, в частности, против торговцев. Так, в заключении упоминавшейся уже мною I книги «Богатства народов» великий шотландец иронизирует над теми, кого капиталисты успели, благодаря своей выработавшейся при спекуляциях изворотливости, убедить, что общественное благо заключается именно в благосостоянии капиталистов. Идеология есть не грубое, а весьма утонченное отра-

---

[1]) Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Tüb. 1922, S. 497.

[2]) Tawney, The acquisitive Society, Lnd. 1923, p. 20.

жение классовых интересов. Требование «внутренней согласованности» о котором говорил Энгельс по поводу права, играет первостепенную роль и в других идеологиях. Так, вместо хозяйствующей личности буржуа рождается хозяйствующая личность вообще.

Принцип эгоистической личности, имевший в свое время, как мы видели, ярко революционное значение, постепенно получает совершенно иной смысл. Восторжествовавший капитализм, пишет Тауней, использовал этот принцип, как орудие закрепощения рабочих. Каким путем было это достигнуто? Мысль идет здесь по той самой линии, какую начертил Маркс при характеристике произведенных капитализмом перемен в общественном строе: по линии упрощения. Индивид был поставлен в центре своего собственного мира. Жизнь общества была сведена при этом к игре экономических сил, автоматически исправляющих из'яны и заполняющих пробелы, которые по временам возникают в этом царстве, где, по словам Маркса, владычествует свобода, равенство, собственность и Бентам.

С этой новой точки зрения, собственность не есть, разумеется, социальное отношение. Мало того, она не есть даже продукт труда, на чем настаивал Тьер в известной уже нам книге. Индивид возвращается в первобытное состояние, совлекает с себя мишуру цивилизации и обретает в собственности блаженство биологического порядка. Можно подумать, что речь идет об одной из робинзонад, излюбленных старыми экономистами. В действительности, биологический индивид заставляет говорить о себе еще во время мировой войны. Немецкий ученый Унру раз'ясняет, что собственность есть яркое проявление биологического инстинкта, присвоения. Но этим он еще не довольствуется. Принцип индивидуализма проливает яркий свет на те области, в которых сближаются социология и биология. Из работы Унру мы узнаем, что критика органической доктрины Гумпловича построена на недоразумении. Современная биология отнюдь не рассматривает организм, как систему несвободных, механически связанных и неравных частей. Наоборот, она склонна учитывать равенство частей, в общей связи и их самостоятельность в отдельных проявлениях [1]).

История несправедлива к Христиану Вольфу, ибо только теперь его давно отцветшие идеи начинают давать плоды. Ведь именно Вольф и его школа рассматривали человека, как своего рода астрономическую систему аффектов или иных психических элементов, связанных с взаимным притяжением или отталкиванием. Общество же, связанное в государство, мыслится как новая система, элементами которой являются уже человеческие индивиды [2]). Подкрепленная новейшими гипотезами биологии, школа Вольфа может с открытым забралом принять участие в турнире идеологий. Отвлеченным умствованиям современных сторонников равенства и социальной солидарно-

---

[1]) V. Unruh, Zur Biologie der Sozialwissenschaft. Lpz. 1914, S. 33, 55.

[2]) Е. В. Спекторский, указ. соч., т. II, Киев 1917, стр. 422.

ти эта школа может противопоставить трезвое и мудрое изречение своего основателя: «Любя других, не следует забывать и себя». Это изречение, подхваченное Вольфом, надо думать, у честного башмачника из Оффенбаха или, в лучшем случае, солидного негоцианта из Бремена, хорошо уже тем, что оно в тысячу раз понятней и вразумительней однозначущей с ним тирады нашего современника-экономиста Рудольфа Штольцмана: «Общество, государство, народное хозяйство! организуйтесь так, чтобы свободно волящие индивиды восприняли заветы автономного общества, как элемент собственной автономной воли» [1]). Штольцман еще только призывает к организации такого общества. Для других оно уже организовано. Американский юрист Северенс видит выражение соответствующих принципов в конституции Соединенных Штатов и проповедует осторожное отношение к тем мероприятиям, которые нарушают ее индивидуалистический характер [2]).

4.

В своей замечательной работе о социологической теории абстракции Пауль Шенде показывает на многочисленных примерах классовую природу целого ряда тончайших отвлеченностей. Право имеет дело с живыми людьми, с конкретными, в полном смысле слова, социальными отношениями. И, однако, правовая идеология испытывает все время неудержимое влечение к абстракции, высоко взлетающей над теми отношениями, которые право призвано регулировать. Отрываясь от действительности, юридическая мысль создает свой особенный мир, рождает царство теней, еще меньше напоминающих подлинные предметы, чем тени в Платоновой пещере. Об этом писал уже гегельянец 50-х годов Людвиг Кнапп. Выдающиеся достоинства сочинений этого философа первым в европейской литературе XX-го в. отметил, если не ошибаюсь, М. А. Рейснер. Сейчас наследие Кнаппа уже извлечено из тьмы забвения, и, напр., Корнфельд в своей весьма специальной работе о правовом чувстве отводит ему весьма почетное место. О юридическом мышлении Кнапп писал, что, стремясь к об'единению и упрощению, оно из'емлет чувственные впечатления из их действительной связи во времени и пространстве. Вся мыслительная механика построена при этом на раздроблении и сцеплении представлений, рождающих всевозможные фантазмы [3]). Здесь обнаруживается стык между абстракциями и фикциями, то-есть заведомыми в технических или иных целях совершаемыми искажениями действительности. Фикции играют в праве немаловажную роль. Неоднократно они давали повод к весьма язвительным нападкам на юридическую науку в целом. Основательность этих нападок признавали и сами юристы. В 1769 г. вышла книга Антония Альтессеры: «Семь трактатов о юридических фикциях». Один из цитируемых Альтессерой писателей, Донат, с прискорбием указывает: «фикции вводятся

[1]) Rud. Stolzmann, Grundzüge einer Philos. der Volkswirtschaft, Jena, 1920, S. 29.

[2]) A. Severance, The Constitution and the Individualism, Amer. Bar. Assoc. Journ. 1924, Sept.

[3]) S. Kornfeld, Das Rechtsgefühl,—Zeitschrift. f. Rechtsphilos. 1919, II B., S. 86—87.

в ущерб истине (contra veritatem), и вся сила фикции определяется содер› шейся в ней мерой преобладания лжи над истиной». Покойный Г. Ф. Дор донтов, из мало известной работы которого я заимствую эту цитату, сколько патетически заявлял: «Вопрос о фикциях для юриста есть вог чести, — вопрос, затрагивающий самое значение и достоинство той отра знания, которой он посвящает свои силы». Разумеется, Дормидонтов прихс к утешительному для чести юридической науки выводу. Фикция и обман заключает он после продолжительного исследования, — понятия несовмес мые. О фикции можно говорить лишь тогда, когда вымысел допускается все и когда никто на этот счет не обманывается [1]). Возникает естественный прос: для чего же тогда пользоваться фикциями и не проще ли говорить прямик, как обстоит дело? Дормидонтова этот вопрос мало тревожит. С шей точки зрения он решается вполне определенно. Наука не нуждае в фикциях, поскольку целью ее стремлений служит истина, как такоі В классовом обществе право и наука права самой природой вещей вынуж ются в той или иной мере маскировать действительность, подменять ее бо или менее утонченной символикой. Иными словами, право идеологично с мого начала. Оно не может обойтись без фикций, ибо само является, е угодно, огромной систематизированной фикцией. Дормидонтов не видит этс Поэтому, утверждая, что фикция и обман — понятия несовместимые, он ‹ делается жертвой... фикции. Известное предположение римского права «Pa est quem est nuptiae demonstrant», широко воспринятое всеми почти закоі дательствами, — наглядный пример. Судья, применяющий по приказу закс это предположение, вынужден сплошь да рядом обманывать самого себя, крывая глаза на действительность. Но обманут не только судья. Эту учас разделяет с ним все общество, которому юристы преподносят сладкоречив заверения о святости брачных отношений и самой природой установленн правах законных детей на наследство.

Слабо дифференцированное общество избегает отвлеченных форм и фикций. Оно стремится отразить в правовых положениях жизнь во вс ее разнообразии. Обычай на этой ступени тесно сливается с бытом [2]). Зак по необходимости казуистичен, ибо люди не научились еще искусству обі цвечивать действительность согласно с требованиями истинно юридическ техники. Недавно открытый хеттский кодекс царя Хаттушила дает люб пытные тому доказательства. Так, статья 91 этого кодекса гласит: «Ес собака с'ест свиное сало, и собственник сала берет ее и убивает, чтоı вынуть сало из ее внутренностей, то он не дает никакого вознаграждения Курьезность содержания этой статьи ничем не выше курьезности казуса, н которым, по свидетельству Эрлиха, ломали голову выдающиеся юристы разн

[1]) Г. Ф. Дормидонтов, Классификация явлений юридического быта, относим. к случаям применения фикций, Казань 1895 г., стр. 137.

[2]) См. мою статью работу «Право и быт», 1925.

[3]) И. Бородин, Хеттские законы,—«Новый Восток» 1923, № 4, стр. 291 и сл.

специальностей. Речь шла о том, кто пользуется правом собственности на извлеченную из тела раненого на войне пулю. Предлагались всевозможные решения, основанные на нормах гражданского, уголовного и международного права. Использовывались понятия приращения, завладения, находки и т. п. Право собственности приписывалось самому раненому, стрелку, наконец, врачу, извлекшему пулю. Спор остался нерешенным, и Эрлих пришел к выводу, что налицо — пробел в праве.

Буржуазное сознание не может помириться с наличием такого пробела. Воспитанное на рациональных правилах математики, техники и бухгалтерии, оно считает возможным создать такие нормы права, которые сообщили бы гармоническое единство раздираемого классовыми противоречиями обществу. Социальная физика XVII века пыталась построить общество, как физическую модель. Эта попытка кончилась неудачей, и вместе с ней та же участь постигла опыты алгебраической теории права. XIX век возвращается к безвременно погибшим надеждам своего деда. Органическая теория общества пускает отростки в область юридических наук, в частности, государствоведения (Блунчли). Наученные опытом социологи XIX века довольствуются, правда, менее жесткими, по сравнению с физикой и механикой, законами и аналогиями из области биологических наук. Несмотря на то, избалованная мнимою точностью своих формул мысль юриста продолжает расширять свои домогательства. Она хочет во что бы то ни стало строить на физико-математическом базисе. При этом случаются курьезы, особенно в области уголовного права. В русской литературе некто инженер Оранжиреев начертал, например, целую систему алгебры наказаний. Соблазняются, однако, и более крупные ученые. В 3-м издании огромного коллективного труда немецких ученых «Handbuch der Politik» напечатана статья венского профессора Адольфа Менцеля «Понятие и сущность государства». Сущность государства Менцель усматривает в особой доступной измерению энергии, под которою разумеется: 1) душевная жизнь составляющих государство людей; 2) материальные богатства нации [1]); энергия, как видит читатель, несколько особого рода. Но этому удивляться не следует. Особенность идеологической техники права в том и заключается, что, заимствуя свои понятия из строгой науки, она оставляет от них внешность, а содержание перерабатывает до неузнаваемости. На эту сторону дела обратил внимание выдающийся германский цивилист Крюкман. Сличая юридическую причинность с естественнонаучной, он пришел к следующим выводам. Понятие причинности в праве не есть точное отображение философского понятия, а приспособление его для практических нужд права. Непрерывный поток событий разрезается на определенном месте (лице), к которому приурочивается фикция существенного условия. Причинная цель для юриста начинается с действия [2]). Поясню примером: N убит в результате многочисленных причинных рядов, пересекшихся в одном месте Тут играло роль и его богатство, и неосторожность,

[1]) Handbuch der Politik, 3 Aufl., I B., S. 49.

[2]) P. Krückmann, Fictionen und Bilder in der Rechtwissenschaft,—Annalen des Philos, 1922, S. 422.

и случайное знакомство его кучера с уголовным преступником X, и, сам собою разумеется, множество общих условий социального порядка. Юрис вырывает из всей этой сложной ткани 2—3 кусочка и заявляет: смерт N последовала от тяжких повреждений, нанесенных ему в полость живот при помощи острого орудия рецидивистом X, учинившим данное преступлени с целью грабежа. На первый взгляд, это кажется ясным и особых сомнени не возбуждает. Но мало-мальски идущее вглубь судебное расследование упи рается в побочные причинные ряды (почему X стал рецидивистом? Как слу чилось, что N нажил такие огромные богатства? и т. д.). Тут-то и обнаружи вается искусственность юридической причины, требующей разных подпоро вроде вменяемости, крайней необходимости, непреодолимой силы и т. д. дл того, чтобы замаскировать свою внутреннюю скудость и шаткость.

Эта бесплодность юридического насилия над действительностью был понятна еще молодому Марксу, когда он писал: «Не правовая природа вещей должна сообразоваться с законом, а закон — с правовой природой вещей» (дебаты шестого Рейнского ландтага, статья 3). Но от внимания юристов профессионалов, то-есть догматиков, она ускользала. Иначе не могло и быть ибо мысль этих людей привыкла вращаться в заколдованном царстве формул речений и понятий, живущих своею собственной, хотя и призрачной жизнью и ткущих свою собственную логику, ничего общего не имеющую с «вуль гарным» здравым смыслом. Таким образом и создается знаменитый прием юридического мышления, именуемый конструкцией. Профессиональной рутине этот прием кажется вполне естественным. Конструировать какое-нибудь чрезвычайно сложное и запутанное жизненное отношение, может быть, и трудно, но раз конструкция завершена, иными словами, раз найдена формула или несколько формул, подходящих к данному случаю, дело сделано. В осталь ном автоматически действует самая логика закона, все предвидящая из начала и не допускающая никаких пробелов. Покойный черновицкий юрист Евгений Эрлих, всю жизнь посвятивший изучению «живого права», то-есть обычая судебной практики, документного права и т. п. и потому нащупавший огром ный угол расхождения между жизнью и правом юристов, очень остро чув ствовал опасность конструкции. В последней из своих крупных работ, вышед шей в 1918 г., он писал: «Юридическая конструкция заключается в том, что для нахождения права используются не те понятия, на которые опи рается подлинное значение и защита жизненного интереса, но абстракции этих понятий». Так, решением от 3 февраля 1908 г. Верховный Федеральный Суд Соединенных Штатов признал рабочие союзы сговорами продавцов рабо чей силы, имеющими целью поднять цену на их товар и тем ограничить сво боду покупателей. Эта конструкция понадобилась для применения к рабочим союзам закона Шермана, который об'являл такие сговоры продавцов проти возаконными. Легко видеть, что здесь было взято не самое понятие жизнен ного интереса рабочего—рабочая сила, предлагаемая нанимателю, как един ственный источник средств к существованию для своего носителя, а только

абстракция этого понятия — рабочая сила, как товар. Против этой конструкции и был направлен акт Клэйтона, о котором я уже упоминал. До опубликования акта Клэйтона оставалось в силе положение, которое можно охарактеризовать следующими словами того же Эрлиха: «Благодаря юридической абстракции, достигается, что новое отношение или новое столкновение интересов регулируется при помощи старой правовой нормы без учета новых соотношений интересов, исключительно путем логической дедукции» [1].

5.

Рациональная идеология имеет одно значительное отличие от своих предшественниц—мистической и эстетической идеологией. Те стремились опереться прежде всего на чувство и подсознание. Они стремились подавить критическую деятельность разума, заполоняя сознание мощными влияниями иррационального порядка. Наоборот, рациональная идеология пытается овладеть крепостью изнутри. Она рисует мир, движущийся в трех измерениях и разлагаемый на частицы, разнородные количественно и однородные качественно. Здесь действует практический разум не в смысле Канта, а в смысле Бергсона, — разум, который в интересах покорения природы отказался от поисков какой-нибудь внутренней или потусторонней ее «сущности» с тем, чтобы видимое и осязаемое упростить и разложить. Бергсон, как и Шенде, хотя отправляющиеся от различных исходных точек зрения, приходят к одному пониманию разума, как орудия производства, выработанного человеком в процессе борьбы за существование и в соответствии с ее нуждами. По мере того как борьба за существование развертывается в борьбу классов, получает новое направление и деятельность разума. Рациональная идеология окончательно вызревает в ту эпоху истории, когда машинное производство вполне обнаружило свою способность к бесконечному развитию и когда вместе с тем стали все явственнее проступать признаки разложения капиталистического общества. Динамо-машины и турбогенераторы, как кристализация вычислений в металле и электричестве, были слишком могущественным и непререкаемым свидетельством побед человеческого разума. После них мистика и оценочная идеология должны были отступить и если не вовсе исчезнуть, то по крайности скрыться в самых заброшенных и пыльных углах современности, куда не доспела еще метла истории. Но диалектика событий повернула дело по-своему. Разлагающая способность разума была использована для создания новой идеологии. Обманчивой и туманной сделалась самая ясность.

Аэндорская волшебница нуждается в темноте для вызова духов и, следовательно, для приведения в благоприятствующее тому состояние своих посетителей. Ведьмы старого времени приручали таких зловещих ночных птиц, как филины и совы. Современный гипнотизер усыпляет больного, заставляя его глядеть на прозрачный хрустальный шар или просто на ярко светящуюся

[1]) Eugen Ehrlich, Die juristische Logik, Tüb. 1918, S. 252, 266 u. passim.

точку. Помрачение сознания одинаково успешно достигается и тем и д гим способом. Идеология же по существу есть не что иное, как резуль тем или иным путем достигаемого помрачения деятельности разума Без основательного знакомства с явлениями массового гипноза и внуш мости нельзя составить себе научное представление об исторической р идеологий. Это начинают понимать и в западной науке. Любопытно, что б жуазные ученые все шире усваивают себе марксистское понятие идеолог Так, весьма консервативный писатель Альберт Дитрих разумеет под идео. гиями «маски политических воззрений, рассчитанные на переработку м совой психики». Вполне последовательно он указывает поэтому, что в изу нии психического механизма идеологий проблема оглушения и зачаровыва должен занять первое место [2]). В рациональной идеологии зачаровыва достигается нарочитой ясностью. Читатель мог видеть, что эта ясность в никла как результат совершенно определенных общественных формац Значение тех или иных классовых интересов здесь вполне очевидно. Ав новейшей работы о классах, скандинавский ученый Понтус Фальбек, выво ясность права и самую идею права, равного для всех, из потребностей т говли [3]). В то же время покойный Георг Зиммель, следуя иному ходу мысл устанавливает теснейшую связь между свободной конкуренцией с одной с роны и идеями свободы и равенства — с другой [4]).

Мы возвратились таким образом к нашему исходному пункту, прос див развитие индивидуалистической идеологии по исторической и логическ линиям. В обществе, лишенном пышных красок и замысловатых линий феода. ного строя, на первый план выступает товар, утративший свое первонача. ное значение продукта, предназначенного для удовлетворения определен потребности. На пути от производителя к потребителю товар этот испы вает различные превращения. Сегодня он поступает с фабрики на оптов склад в сопровождении надлежащей спецификации. На завтра машина о рота подхватывает его железными клещами, и он ежедневно меняет с лицо, выступая то в виде обеспечения банковых ценностей, то как сод жимое коносамента, переходящего из рук в руки по надписям на оборо то, наконец, как груз большой скорости, оцененный в такой-то и застра ванный в иной сумме. Потребителя не видно. Им интересуется лишь последн инстанция оборота — розничный торговец. До этой инстанции товар не за мает даже отдельного места на полке. Он живет, как фантом с приклеенн этикеткой, в которой самое существенное — цена, то-есть более или мен удачное выражение в цифрах затраченного на производство товара рабоч времени. К товарным фантомам прикреплены или, лучше, причислены лю

[1]) В таком смысле употребляют это слово Маркс и Энгельс. См. работы Рейсне Адоратского и особенно Разумовского «Сущность идеологического воззрен в «Вестнике Соц. Академии» за 1924 год.

[2]) Alb. Dietrich, Kritik der polit. Ideologien,—Arch. f. Polit. und Gesch., 1923, H S. 31—32.

[3]) P. E. Fahlbeck, Die Klassen und die Gessellschaft, Jena 1922, S. 204.

[4]) G. Simmel, Grundfragen des Soziologie, Brl.—Lpz. 1920, S. 102.

ские фантомы, равные между собой, как равны в последнем счете товарные атомы, то-есть часы, минуты или секунды общественно-необходимого рабочего времени. В этом царстве равенства господствуют свои законы, чудесным образом не ограничивающие ничьей свободы, ибо сущность свободы заключается, как известно, в подчинении равному для всех закону. Движение товарных и человеческих фантомов и есть подлинная жизнь буржуазного общества. Различные моменты этого движения дают посредникам всех наименований возможность участия в прибылях, юристам — средства к жизни, философам и моралистам — благородный материал для размышления на тему о равенстве и свободе. Наоборот, конечный пункт движения — потребление — никого не интересует и поэтому вычеркивается из всех наук, кроме разве статистики, которая, впрочем, растворяет его в своих астрономических числовых массах.

Здесь лежит одно из глубочайших противоречий буржуазного общества. Жизнь человека сводится к процессам приобретения и затраты энергии, иными словами, к потреблению и труду. Продукт сам по себе есть звено, связующее эти два процесса. Но продукт, ставший товаром, то-есть предметом оборота, порождает тьму обманчивых представлений о своей природе и о природе общества, в котором его свойства, как товара, преобладают над остальными. Рациональная идеология возводит эти представления в систему. Она сооружает из них ласкающий соразмерностью своих частей и изяществом целого, но тем не менее воздушный замок. В расчетах рациональной идеологии людские атомы, повинуясь заложенному в них стремлению к собственной выгоде и соприкасаясь между собой в стихии свободной конкуренции, естественно и закономерно учреждают царство свободы и равенства. Эта пышная, хотя несколько холодная картина оживает, когда рациональная идеология в своей юридической оболочке вплотную подходит к жизненному, в первую очередь к хозяйственному интересу. Классовая борьба наделяет ее пафосом, заставляет звучать в ней, пусть фальшивым, звуком идеалистические струны, заимствованные, вероятно, где-нибудь напрокат, ибо бухгалтерия и пафос не имеют ничего общего. Предыдущее изложение подготовило нас к тому, чего мы должны ждать от юридического мировоззрения буржуазии. И действительно, индивидуализм буржуазной юриспруденции в комически преувеличенных, утрированных формах повторяет все те черты и, в частности, все те противоречия, которые присущи рациональной идеологии вообще.

Автопортреты героев юнкерской Германи

В. Гурко-Кряжин.

1.

Реакция, крепнущая сейчас в Германии, вызывает из временного н
бытия и забвения политических деятелей довоенного времени и эпохи мир
вой войны. Еще недавно казалось, что все эти гогенцоллернские сановники
генералы обречены на брюзжание, писанье мемуаров или на неудачные, чис
авантюристические выступления, вроде пресловутого мюнхенского «путча
устроенного в ноябре 1923 г. Людендорфом, Эрхардом и др.

Пришествие к власти Гинденбурга—этой символической фигуры милит
ристической Германии — открывает совершенно новые перспективы для вс
«бывших людей». Весьма вероятно, что мы будем скоро наблюдать неч
вроде шиллеровского торжества победителей, а именно шествие (или наш
ствие) в берлинские министерства, вслед за Агамемноном-Гинденбурго
всех остальных «героев» войны: Одиссея-Людендорфа, Нестора-Тирпица и п
и пр. Правда, на войне они оказались не «победителями», а побежденным
но немецкие античные герои рассчитывают взять реванш на внутренне
фронте, а впоследствии, кто знает? быть может, и на внешнем. Ведь нед
ром в той же балладе Шиллера имеется многозначительная строфа:

> Все великое земное
> Разлетается, как дым;
> Ныне жребий выпал Трое,
> Завтра выпадет другим.

Благодаря этой частичной реставрации гогенцоллерновской Германи
приобретает весьма значительный интерес политическая физиономия наибол
крупных героев ее. Как же указывалось выше, в течение семи послевоенны
лет, все они усердно сочиняли мемуары, записки и пр., рассчитанные на по
томство. Сейчас эта литература приобретает, помимо исторического, круп
ный актуальный интерес. Она дает нам возможность судить о политическо
физиономии, идеологии и программе той фаланги государственных деятелей
которая вслед за фельдмаршалом Гинденбургом неизбежно пойдет на завое
вание или вернее на отвоевание власти. С этой точки зрения чрезвычайн
своевременным является предпринятое Госиздатом опубликование мемуаро

трех характернейших деятелей старой Германии, а именно: знаменитого адмирала Тирпица, ех-канцлера Бетман-Гольвега и «героя» Брест-Литовска генерала Гоффмана.

2.

Адмирал Тирпиц, несомненно, является одной из самых ярких. колоритных фигур довоенной Германии. Вместе с А. Круппом, Балином, братьями Маннесманами и другими, он был один из энергичнейших проводников немецкого империализма, признанным лидером пангерманских кругов, сторонников «мировой политики» (Weltpolitik) Германии, приведшей в конце концов к великой бойне 1914—1918 г.г.

Историческое значение Тирпица заключается в том, что именно на его долю выпала реализация одной из основных тенденций немецкого империализма, а именно стремления к морскому могуществу.

Германия Бисмарка, как известно, чуждалась моря. В течение пятнадцати лет, последовавших за победоносной франко-прусской войной 1870—1871 г.г., она представляла из себя чисто континентальную державу, политическая и экономическая экспансия которой ограничивалась лишь Европой. Правда, и в эту эпоху находились деятели, которые мечтали о развитии немецкого флота, но их проекты не имели корней в тогдашней экономической действительности. Что касается до самого Бисмарка, то, как известно, он резко отрицательно относился ко всяким колониальным и морским авантюрам. По меткому замечанию Тирпица до 90-х годов он в своих политических взглядах исходил из представления о Германии 1871 года и Англии 1864 года.

В конце XIX в. мощно развивающейся немецкой индустрии становится уже тесно в Европе. Начинается эпоха «стремления на Восток» (Drang nach Osten), поиски «места под солнышком» для отечественного капитала, пора колониальных захватов. В 1884 г. у Германии совершенно не было колоний, спустя каких-нибудь 12 лет она обладала уже колониальной империей в 2.000.000 квадр. килом. с населением в 3 миллиона человек.

Потребности экспортной торговли вызывают к жизни огромный коммерческий флот. Знаменитый Балин дает колоссальный толчок Гамбургскому судоходству, превращая Гамбургско-Американское Акционерное Общество почтовых пароходов (Hapag) в мировой пароходный трест. Развитие торгового мореходства вызывает необходимость защиты морских путей, т.-е. создание военного флота. Погоня за колониями, за анексиями (в Китае); стремление к мировой (т.-е. империалистической) политике также властно побуждает Германию, на-ряду с развитием милитаризма, увеличивать и ее маринизм. Начинается пора постройки огромных военных гаваней, устройства каналов, проведения морских программ и т. п. Эпиграфом для этой эпохи могут быть сделаны слова министра финансов Посадовского. «Кто хочет действовать сообща с мировым концертом, тот должен иметь для этого нужный инструмент — в виде флота».

Создателем морского могущества Германии и стал Тирпиц, так же ка. создателем немецкой военной индустрии явился Альфред Крупп.

Начиная с вступления в должность морского министра (в 1897 году в течение почти двадцати лет он ведет огромную работу по созданию герман ского военного флота, подробно описанную им в своих «Воспоминаниях» Не ограничиваясь количественым увеличением флота, он осуществляет но вую организацию его. Он отделяет администрацию от стратегии, разрабаты вает комбинацию морских и сухопутных операций, наконец, всячески форси рует постройку подводного флота.

Против какой великой державы был направлен бурно развивающийся немецкий маринизм? разумеется, против «владычицы морей»—Англии. Именно благодаря этому обстоятельству, деятельность Тирпица приобретает огромный общеполитический интерес, помогая нам разобраться не только в довоенных международных отношениях, но и в сложной проблеме происхождения мировой войны.

Как и надо было ожидать, Тирпиц делает все возможное, чтобы доказать, что морские вооружения Германии не преследовали решительно никакой агрессивной цели. В этом отношении его «Воспоминаниям» присущи те же тенденции, что и запискам, мемуарам и размышлениям, вышедшим после войны из-под пера решительно всех империалистов, начиная от Вильгельма II и кончая Людендорфом. Представление о том, что война спровоцирована военной кликой и автократическим режимом — это «чистейшая легенда». Всю вину миролюбивый адмирал перелагает на плечи дипломата, которые, также не желая войны, вместе с тем не сумели предотвратить ее. Конечно, он не отрицает, что галвным врагом Германии была Англия, а вовсе не какие-либо континентальные державы. Однако морские вооружения Германии вовсе не обостряли англо-немецкого антагонизма, а, как оказывается, даже увеличивали шансы мира. Ведь по очаровательному, по своей глубокомысленной наивности, замечанию Тирпица — они увеличивали для Англии риск войны, а потому и заставляли ее быть миролюбивой.

Не разбирая подробно этой бесхитростной апологии маринизма, мы должны указать, что действительные факты «немного» противоречат утверждениям адмирала. Несомненно, что в правительственных кругах Германии накануне мировой войны существовали две тенденции. Одна — мирная— была как раз достоянием «штатских» политиков, типа хотя бы мягкотелого Бетман-Гольвега. Другая — военная — была представлена военщиной всех сортов и оттенков, при чем вдохновителями ее и являлись Тирпиц и его школа. Сначала они действительно исходили из идеи «вооруженного мира, но когда выяснилось «окружение» (Einkreisung) Германии державами Антанты, они громко начали проповедывать идею предупредительной (превентивной) войны, так как Германия, по их утверждению, очутилась перед дилеммой: «мировое могущество или крушение» (Weltmacht oder Niedergang).

Что касается до Англии, то смешно, конечно, думать, чтобы постройка немцами дредноутов и подводных лодок увеличивали ее «миролюбие».

Чрезвычайно интересные записки лорда Хольдена [1]) (военного министра в период 1905—1912 г.г.) ярко рисуют то беспокойство, тот милитаристический под'ем, который испытывала Англия от морского строительства Германии. Ответом на него было решение адмиралтейства на каждый киль опускать в море два киля так наз. two powers standard). Уже до войны британский флот был сконцентрирован в Немецком море: ответом на постройку Кильского канала явилось создание мощных баз на берегу последнего (в Портсмуте и Розите). Характерно, что английские моряки многое перенимают у немцев: так, они учреждают морской штаб, устанавливают связь между флотом и сухопутной армией. Наконец, «английский Тирпиц» — знаменитый адмирал Фишер — проектирует даже внезапное нападение и захват немцами флота без об'явления войны [2]).

Все вышесказанное достаточно доказывает, что в ряду причин, вызвавших мировую войну, огромное значение сыграло англо-германское морское соперничество, в каких бы лазорево-пасифистских чертах ни пытался изображать последнее адмирал Тирпиц.

Помимо своего исторического значения, «Воспоминания» последнего имеют в настоящее время известный специфический интерес, о котором говорилось выше. Ведь Тирпиц далеко не является сыгранным человеком, вышедшим в политический тираж. Напомним вскользь, что Людендорф в своих «Воспоминаниях о войне», разоблачая план устройства в 1917 году государственного переворота в Германии и установления военной диктатуры, называет в числе выдвинутых кандидатов в диктаторы Тирпица. В последние два года, в связи с ростом реакции в Германии, в правой печати неоднократно упоминалось имя Тирпица, как возможного кандидата в председатели рейхстага или даже канцлера.

В этом нет ничего случайного. Помимо исторических заслуг, обеспечивающих за Тирпицем эпитет «наиболее крупного государственного деятеля после Бисмарка» — его политический символ веры настолько архи-реакционен, что под ним смело подписывались бы даже вожди фашистских отрядов Гитлер и Росбах. Бравый адмирал рекомендует себя, прежде всего, совершенно открытым монархистом. Республиканские формы правления, по его мнению, не подходят для Германии, благодаря ее «опасному географическому положению» (?!), национальному многообразию и религиозной пестроте. Ввиду этого, для Германии нужно регулирующее начало... в виде монарха, при чем указывается, что как никак, а Гогенцоллерны имели в прошлом большие заслуги. Отсюда вытекает суровая адмиральская оценка революции, которая даже в Шейдеман-Носковской редакции, как оказывается, «выбросила за борт все, что создало наше величие, и явилось преступлением для будущего нашего народа».

Не имеет смысла прибавлять дальнейших штрихов к махрово-черносотенному политическому автопортрету Тирпица, однако кто знает? — ведь

---

[1]) Before the war (Перед войной). Намечена к выпуску Госиздатом.

[2]) Fisher, Memories.

может случиться, что, подобно нашему адмиралу Дубасову, немецкий адм также окончательно обоснуется на твердой земле и, став у власти р с Гинденбургом, будет яростно уничтожать тот пагубный «материалист ский» дух, на который он горько сетует в своих «Воспоминаниях».

3.

Генерал Гоффман является для нас наиболее памятной фигурой из немецких военноначальников эпохи мировой войны, благодаря его учас на мирных переговорах в Брест-Литовске. Блестящая характеристика Го мана и всех его соратников дана тов. Троцким в статье «Брестский эт где он живописует их, как «представителей могущественного тогда мил ризма, насквозь проникнутого победоносным солдафонством, кастовой дменностью и величайшим презрением ко всему не истинно гогенцоллерн прусско-немецкому». Несколько дальше, говоря о самом ген. Гоффм тов. Троцкий указывает, что «во все время конференции он не переста громыхать и угрожать нам — представителям побежденной страны».

Действительно, Гоффман во всех отношениях является идеальным об чиком прусского солдафона. Даже его наружность настолько ярко типи что начинает уже переходить в карикатуру: круглое лицо с низким л неподражаемо надменный взгляд, презрительно вздернутая толстая губа, вершенно одеревенелая фигура с выпяченной грудью — все это произво впечатление не реального человека; а скорей карикатурального портр прусского генерала из Симплициссимуса.

В своей книге «Война проигранных возможностей» (Der Krieg der säumten Gelegenheiten) Гоффман рисуется, впрочем, не просто солдафоном, солдафоном, находящимся в оппозиции к своим собратьям. Задачей его ляется анализировать причину крушения германского империализма и на лиц, виновных в этом. Свою задачу Гоффман разрешает очень просто — «по неральски». Прежде всего, для него совершенно ясно, что крушение Герма сводится к определенному количеству проигранных сражений или же неп вильно (с его точки зрения) выполненных операций. Главная часть его кн не лишенная интереса для специалистов, и заключается в критике воен действий и выявлении тех «возможностей», котрые, будучи своевреме использованными, несомненно обеспечили бы Германии победу или почет мир. При такой упрощенной постановке проблемы сразу же выясняются и новники проигранной войны: это, разумеется, те генералы, которые ошибо руководили операциями: Мольтке, Фалькенгайн и, наконец, Людендорф, с торым, кстати, отношения у Гоффмана были испорчены, хотя Людендорф характеризует его великодушно в своих «Воспоминаниях» как «чрезвыча одаренного и прокладывающего вперед, дорогу офицера».

Правда, даже для других военных (Людендорфа, Тирпица) было яс что война, да еще такого масштаба, как мировая, не определяется лишь с жениями, что огромное значение имеют чисто политические факторы, так как и экономические. Но бравый Гоффман почти полностью игнорирует эти «невесомые данные» и повсюду исходит исключительно от армии.

Эта точка зрения, конечно, не случайная, и она вовсе не об'ясняется одной лишь ограниченностью Гоффмана. Дело в том, что за последние три года войны в Германии фактически установилась военная диктатура. «Сверхчеловек» немецких милитаристов—Людендорф сумел концентрировать в ставке все нити внутренней и внешней жизни страны. Достаточно указать, что акт о восстановлении Польши был провозглашен по инициативе Людендорфа, закон о всеобщей трудовой повинности был разработан в ставке и т. д., и т. д. Недаром Эрцбергер указывает в своих мемуарах, что вплоть до перемирия Людендорф «оставался почти неограниченным властителем Германии и частью сам решал политические вопросы, частью существенно влиял на их решение». Отсюда становится вполне понятным, что все мысли такого «идеального солдафона», как Гоффман, исходили от армии и возвращались к ней. Политика, вернее дипломатия, являлась для него своего рода резонатором, чутко вибрирующим на все военные действия, удачные или неудачные сражения, планы ставки и пр.

В книге Гоффмана для нас особенно интересна, впрочем, не эта полемическая военная сторона, а те материалы, которые имеют отношение к после-октябрьской России.

Когда русский фронт рухнул, перед Германией, по его мнению, открылись две возможности — «или решиться на водворение порядка в России, заключить дружественный союз с новым русским правительством, после чего обратиться к Западу»... или «использовать освободившиеся на русском фронте военные контингенты, для решительной схватки на Западе».

Как известно, временно был избран второй путь, повлекший брест-литовские мирные переговоры, при чем необычайно комичное впечатление производят самооправдания Гоффмана в том, что, посоветовав заключить мир с советским правительством, он «вовсе не хотел способствовать распространению большевизма».

Наиболее яркие страницы его книги посвящены, как и надо было ожидать, брестским переговорам. Совершенно бессознательно, Гоффман расскрывает омерзительную картину тех мошеннических проделок, которые были задуманы, а частью и осуществлены правящими кругами Австрии и Германии на конференции. Достаточно указать на тот обман, который был допущен в вопросе о переброске германских войск с восточного фронта на западный, о котором с необычайной откровенностью повествует Гоффман: как оказывается, еще до открытия переговоров в Бресте, главная масса германских войск была переброшена на запад. «Я мог поэтому с легким сердцем согласиться с русскими, что в течение заключаемого перемирия не будет производиться никаких перебросок с германской стороны»... цинично указывает Гоффман. Ярко изображены трения на конференции между немецкой, австрийской и турецкой делегациями, аннексионистская подоплека немецкого требования о самоопределении Курляндии и Литвы и т. п. Наконец особенно хорошо освещена предательская роль, сыгранная в Бресте украинской мирной делегацией, которую, по выражению Людендорфа, Гоффман «взял под свое особое покровительство». Вообще роль, которую играл сам Гоффман на конферен-

ции, можно охарактеризовать крылатой фразой Вильгельма II: «Где являет гвардия, там нет места демократии».

Специфический интерес представляет глава, посвященная после-брес скому периоду отношений между Германией и Советской Россией.

Отметив те затруднения, которыми сопровождалась немецкая оккуп ция Украины и Прибалтики, Гоффман сообщает план свержения советско правительства, который он, как оказывается, предлагал осуществить еи в начале 1918 года. Проект его заключался в движении немецких войск н Смоленск-Москва-Петроград, реставрации монархического правления (цар вич, а при нем регент—великий князь Павел Александрович, с которым неме кое командование находилось «в постоянных сношениях») и заключени с «Новой Россией» союзного договора на выгодных для нее условиях.

Эти страницы книги Гоффмана пополняют те сведения о предполагаемо ликвидации советской власти, которые мы находим у Людендорфа. Последни убедившись, что мир на Востоке в конце концов оказался весьма тяжелы «военным миром», начал развивать план «короткого удара» на Петрогра при одновременном наступлении донских казаков на Москву. Таким путе можно было бы установить новое правительство, абсолютно зависимое о Германии. Переходя от слов к делу, Людендорф торопится оказать помощ Краснову, Скоропадскому и др., довольно комично в то же время негоду на «нарушение» Россией Брестского договора. Характерно, что, стремясь кон солидировать все анти-большевистские силы, Людендорф обращал свои благо склонные взоры и на Алексеева с его добровольческой армией. «Он действо вал под английским влиянием, — замечает с характерным цинизмом Люден дорф, — но я думаю, что он был настолько предан России, что перешел бы на нашу сторону, если бы мы свергли советское правительство».

История показала, что немецкие генералы просчитались в своих планах В то время, как они создавали свои проекты реставрации монархизма, рево люция уже стучала в двери Германии. «Сверхчеловек» милитаристов и его по мощник «идеальный солдафон» — принуждены были очистить оккупирован ные ими на Востоке территории, после чего быстро исчезла и вся оставлен ная ими нечисть: державный гетман Скоропадский, генерал Краснов и другие

Свержение советской власти осталось, таким образом, для немецких генералов одной из «проигранных невозможностей».

4.

Воспоминания Бетман-Гольвега [1]), несомненно, производят трагическое впечатление. Годы его канцлерства (1909—1912 г.г.) падают на самую тревожную для Германии эпоху, непосредственно предшествующую мировой войне и на бо́льшую часть последней. В эти полные драматизма годы происходит кристаллизация Антанты, разражается первый Балканский кризис 1908 — 1909 г.г., вызванный австрийской аннексией Боснии и Герцоговины, через три

---

[1]) Betrachtungen zum Weltkrieg, I—II.

года вспыхивает опаснейший конфликт в Марокко, вызванный так называемым «агадирским ударом» Германии, происходят бесконечные трения на Ближнем Востоке вокруг Багдадской железной дороги, наконец, возникают балканские войны, являющиеся уже несомненной прелюдией к мировой войне.

И вот в этот ответственный период истории Германии во главе ее оказываются совершенно неспособные, растерявшиеся политики, напоминающие героя сказки, который испугался им же самим вызванных духов. Руководитель внешней политики Германии — Бетман-Гольвег дрожащими руками строит и поддерживает, по его собственному выражению, «карточные домики» европейского равновесия; однако мощное дыхание империализма беспощадно валит эти хрупкие постройки. Медлительный, склонный, по словам Вильгельма II, к «проповедническим нравоучениям», канцлер пытается проводить систему компромиссов, названную им «политикой диагонали». Однако во внешней политике эта «диагональ» ломается, упершись в «окружение» (Einkreisung), созданное державами Антанты. Не как трезвый политки, а как романтик, он мечтает прорвать это стальное окружение, войдя в дружественное соглашение с Англией. Однако эта политическая линия разлетается вдребезги, сталкиваясь с программой Тирпица, провозглашающей, что «будущее Германии на морях», и стремящейся к сокрушению главного врага последней — Великобритании путем колоссальных надводных и подводных вооружений.

Десятки красноречивых страниц посвящены Бетман-Гольвегом миролюбию германской политики, при чем даже Вильгельма II он ухитряется изобразить в виде какого-то ангела мира. Однако в свете послевоенных разоблачений этот пацифизм приобретает довольно подозрительную физиономию. Как оказывается, уже в эпоху первого балканского кризиса (1908—1909 г.г.) Германия открыто грозила России выступить «в блистающих доспехах» на защиту своей союзницы Австро-Венгрии. Спустя три года Германия устраивает демонстрацию в Марокко, послав туда военное судно «Пантеру». Опять спустя три года, в тревожный период балканских войн, Вильгельм II уже любезно предлагает России устроить «пробу сил» (Kraftprobe), т.-е. фактически начать войну.

Как же примирить все эти дипломатические «удары», помахиванье бронированным кулаком и т. п. с миролюбием германской политики? Бетман пытается выйти из этого затруднения, указывая, что все эти вызывающие действия были обусловлены исключительно необходимостью «сохранения престижа» Германии и затем стремлением оказать защиту ее союзнице Дунайской монархии. Но, при этой аргументации экс-канцлера, остается совершенно непонятным, чем же собственно отличается миролюбивая политика «сохранения престижа» от самого беспардонного зарвавшегося милитаризма, стремящегося спровоцировать войну? Затем совершенно нелепо, исторически неправильно живописать Австро-Венгрию в виде какой-то приживалки, мирно прозябающей под защитой Германии. Разоблачения, появившееся в последние годы в Австрии, рисуют яркую картину венского милитаризма, ничуть не уступающего по своей интенсивности берлинскому, парижскому или петербургскому. Лидер австрийских империалистов, начальник штаба Конрад фон

Гецендорф в своих записках (Aus meiner Dienstzeit) совершенно откровен признается, что он в течение 8 лет осаждал Франца Иосифа и австрийск министерство иностранных дел требованиями ринуться в бой против Серби стоящей за ее спиной России и даже против коварной «союзницы» — Итали Когда начался кризис 1914 г., вызванный сараевским убийством, то, как и вестно, в Вене не ожидали и не хотели, чтобы сербы приняли австрийскі ультиматум, хотя для всех совершенно было ясно, что война с Сербией н избежно приведет к мировому пожару.

Как мы видим, если Германии и приходилось защищать Дунайскую м нархию, так это вызывалось не беспомощностью последней, а, наоборот, чрезвычайной агрессивностью. Германия, начиная с 1908 года, часто плы в фарваторе австрийской политики и принуждена была ввязываться в те ко фликты, которые создавались последней.

Мирные тенденции, наличность которых нельзя отрицать в германско политике (конечно, на-ряду с более ярко выраженными агрессивными), нах дят себе совершенно иное об'яснение, нежели то, что дает в своей апологи Бетман-Гольвег. Это не была продуманная и решительная мирная программ стремящаяся ликвидировать возникающие конфликты. Скорее это была тру ливая политика выгадывания времени, быстро переходящая от угроз к поло винчатым компромиссам, преследующая единственную цель отогнать, хотя б на короткое время, тот призрак войны, тень от которого уже покрывала вс Европу. Огромная машина милитаризма, пущенная в ход уже десятилетия на зад, неудержимо влекла все европейские державы к кровавой бойне. А Бетман Гольвег продолжал думать, что во всех осложнениях повинна лишь русска экспансия да сербские интриги; досадно, что они находят поддержку со сто роны Франции и Англии, а то карточный домик европейского равновеси можно было бы еще в течение долгого времени сохранить от падения!

Когда разразился австро-сербский конфликт 1914 г., то для всех про ницательных политиков, одинаково в странах Тройственного Согласия и странах Антанты, было ясно, что он примет мировые размеры. Проницатель ный же канцлер и возглавляемая им партия мира думали или, вернее, хотел думать, что австро-сербский конфликт может быть локализован испытан ными, но увы уже окончательно выдохшимися, средствами тайной и явно дипломатии. Пасифистски настроенный канцлер и его единомышленники в эт трагические годы и месяцы, предшествующие мировой войне, напоминал растерявшихся людей, которые, боясь наступления неизбежного роковог часа, пытаются обмануть себя тем, что они безостановочно переводят наза стрелку на своих карманных часах.

5.

Мировая война открывает новый том «Размышлений» Бетман-Гольвег и вместе с тем знаменует новый этап в его политической деятельности.

Когда разразился мировой катаклизм, то вся юнкерская и милита ристическая Германия начала требовать создания «твердой власти», кото-

рая бы целиком ликвидировала парламентаризм, задушила прессу и рабочее движение и явилась бы орудием для их аннексионистской, пан-германской программы. Трудно представить себе менее подходящего человека для выполнения этих задач, нежели Бетман-Гольвег. Основным дефектом его было то, что у него не было, в противоположность милитаристической клики, никакой определенной программы. Он попрежнему пытался проводить политику «диагонали», пытаясь таким путем стать «над партиями». Жестоким требованиям пан-германцев он противопоставил дряблую тактику компромиссов и уступок. Пытаясь завязать мирные переговоры, он не решался потребовать от милитаристов категорического отказа от Бельгии, без чего вся его мирная дипломатия теряла всякую базу. Восставая против беспощадной подводной войны, он соглашался на куцую, ограниченную войну; заигрывая со всеми партиями рейхстага и одновременно учитывая требования военщины и реакционных кругов, он плелся в хвосте у событий, не руководя политической жизнью, а одновременно ориентируясь на придворную клику, ставку и парламентское большинство.

Немудрено, что с самого начала мировой войны у канцлера возникли трения с военными кругами, дошедшие до необычайной остроты после водворения в верховной ставке Людендорфа. Бетман-Гольвег жалуется на вмешательство военных в политику, на стремление Людендорфа к военной диктатуре, кроме неограниченной свободы военных действий; он отмечает, что до войны его главным противником был адмирал Тирпиц, теперь же стал Людендорф и т. п.

Последний, как это выясняется из его «Воспоминаний о войне 1914 — 1918 г.г.», считал канцлера неспособным сохранить единство «тыла», обвинял его в сознательном уничтожении боеспособности народа, в подрывании «упования на собственную мощь» и т. п.

Как и Тирпиц, он указывал, что в противоположность державам Антанты, вручившим правительственную власть энергичным диктаторам типа Клемансо и Ллойд-Джорджа, в Германии власть принадлежала слабовольным политикам, неспособным поддерживать «священный огонь».

Вполне понятно, что, не поладив с канцлером, Людендорф начал концентрировать в ставке все нити как военной, так и внутренней и международной жизни страны. «Государственные люди с трудом могли понять, — пишет он в своих «Воспоминаниях»,—что с начала войны высшее военное командование образовало новый центр, который не только разделял ответственность с государственным канцлером, но и выносил на себе невероятные трудности».

В неравной борьбе нерешительного, склонного «к проповедническим нравоучениям», канцлера с немецким «железным человеком» Людендорфом— победа, разумеется, должна была остаться на стороне последнего. Согласие на неограниченную подводную войну, вырванное у канцлера, лишь отсрочило его падение. Когда же в середине 1917 года в парламенте образовалось большинство, стоящее за «мир на основах соглашения» — судьба канцлера была предрешена. Последняя глава его «Размышлений» производит трагическое впечатление. Решительно все партии и политические группы требуют его отставки.

Людендорф заявляет, что война будет проиграна, если Бетман-Гольвег ост нется у власти. Одновременно парламентские фракции утверждают, что (является препятствием для заключения мира. Чтобы свалить ненавистно канцлера, военное командование прибегает к любопытному способу: Гинде бург и Людендорф направляют ультиматум кайзеру об удалении Бетман угрожая в противном случае своей отставкой.

Карьера половинчатого политика, столь характерного для довоенн Германии, сделавшего своим политическим credo тактику безграничных ком промиссов, бесповоротно рушится. Свои «Размышления» он заканчивает ук занием, что хотя после его ухода и наступила внешняя парламентаризаци но на самом деле решающая санкция по всем вопросам после этого перешл к верховному командованию. Необходимо внести, однако, маленькую пс правку в «Размышления» неудачливого канцлера; как указывают интересней шие мемуары Эрцбергера, да и «Воспоминания» самого Людендорфа, власт перешла в руки военщины не после его ухода, а фактически она была захва чена Людендорфом и примыкающими к нему милитаристическими кругам уже за год до этого.

Фигура Бетман-Гольвега с его политикой «диагонали» — необычайн типична не только для военной, но и для современной Германии. Элементь «бетманщины» присущи в той или иной степени всем германским оппортуни стическим партиям, начиная от социал-демократов и кончая народной, като лической и т. п. срединными партиями. Недаром после войны их постигл та же самая судьба, как и «надпартийного» канцлера: после семи лет беспо мощного топтания, они были оттеснены в сторону реакционными милитари стическими партиями, выбравшими в качестве своего символического предста вителя — старшего товарища Людендорфа — фельдмаршала Гинденбурга.

Транс-арктические воздушные пути.

Г. Д. Красинский.

I.

Проблема использования арктических морских пространств европейско-азиатского материка, в качестве кратчайшего пути к богатым южно-азиатским рынкам, была поставлена в Европе 400 лет тому назад.

Морские открытия конца XV и начала XVI столетия, совершенные испанскими изыскательными экспедициями Колумба (Америка), Магеллана (морской путь к азиатским областям Тихого океана, вокруг Южной Америки) и португальскими экспедициями Диаса и Васко де Гамма (морской путь в Индию, вокруг Африки), установившееся затем господствующее положение испанского и португальского флота на южных морских путях, — повлекло за собой попытки других морских торговых стран (Англии и Голландии) установить связь между Европой и странами восточной и южной Азии (Китаем, Индией), так называемым северо-восточным проходом, т.-е. морским путем из северо-восточных областей Атлантического океана, через Ледовитый океан, вдоль всего полярного побережья СССР, — в азиатские бассейны Тихого и Индийского океанов.

Попытки эти, предпринимавшиеся разновременно (экспедиции Себастьяна Кабота, Най, Баренц, Гудсон и др.)(в течение 123 лет (с 1553 г. по 1676 г.) неизменно кончались неудачей. Это и естественно, ибо, при отсутствии реальных представлений о природе Арктического океана и при совершенной неприспособленности морских судов того времени для плавания во льдах, все эти путешествия обрекались с самого начала на тяжелые последствия. Ни одному из тех моряков не удалось проникнуть дальше западного района Карского моря, и, конечно, пути в Индию и Китай они не нашли. В результате указанных экспедиций идея северо-восточного прохода была оставлена.

Следующий затем период является периодом более планомерного обследования рассматриваемых нами областей Ледовитого океана, в котором исключительную настойчивость проявляли, начиная с XVII столетия, русские моряки: Дежнев, Врангель, Лаптевы, Прончищев, Овцын, Малыгин, Литке, Пахтусов и другие.

Наконец, новую, казалось тогда, эпоху в истории северо-восточног прохода открыл шведский полярный исследователь Норденшельд, которы после двух удачных походов из Швеции в Енисей в 1875 и 1876 г.г. предпри нял на небольшом парусно-паровом судне «Вега» новое плавание, с намере нием пройти Ледовитым океаном в Тихий океан. Пройдя вдоль всего почт сибирского побережья, Норденшельд вынужден был все же зазимовать у Кс лючинской губы, на Чукотском полуострове, километрах в 300-х всег от Берингова пролива. В Тихий океан он вошел летом 1879 г.

Однако, открывшиеся с походом Норденшельда перспективы испол зования северо-восточного морского пути — не оправдались. Путь этот бы пройден затем лишь дважды: 1) в 1914—1915 г.г. — в обратном направле нии, т.-е. с востока на запад—русскими гидрографическими судами «Вайгач» и «Таймыр», под командой Б. А. Вильницкого, с зимовкой по западную сторон Таймырского полуострова и 2) в 1918—1920 г.г., с запада на восток, норвеж цем Амундсеном на суне «Моод», с двумя зимовками — по восточную сторон Таймырского полуострова и у Чаунской губы, Чукотском полуострове близ р. Колмы.

По состоянию и характеру льдов, степени доступности для морепла вания и степени изученности прилегающий к нашим берегам Арктически океан может быть подразделен в общем на четыре части.

Первая, европейская, часть, образуемая Баренцовым (или Мурманским морем, расположенным между Мурманским берегом, островами Новой Земли архипелагом Франца-Иосифа и Шпицбергеном, не бывает покрыта льдами Те льды, которые в зимнее время здесь встречаются, представляют собой ил ледяные поля, вынесенные из восточной части океана, или ледяные глыб (айсберги), отколовшиеся от горных ледников, образующихся на Франц Иосифе и Шпицбергене. Все эти льды уносятся дальше на запад, в Атлантиче ский океан. Поэтому Баренцово море является наиболее доступной и наиболе изученной частью океана.

Вторая, западно-сибирская, область океана, охватывающая западны район Карского моря, между Новой Землей и устьем Енисея, бывает в опреде ленное время года (август — сентябрь), часто на большом расстоянии свободна от льдов. Это обстоятельство дает возможность поддерживат ежегодные рейсы морских судов из европейских портов в устья Оби и Енисе и обратно (так называемые Карские товарообменные экспедиции). Те ж условия способствовали относительно полному изучению этой част океана.

Третья, средне-сибирская, область, между Енисеем и Леной, охватываю щая также район Таймырского полуострова, представляет собой наимене доступную часть Ледовитого океана. В истории арктического морепла вания известны лишь пять случаев прохождения морских судов мимо мыс Челюскина (северная оконечность Таймырского полуострова). При это в трех случаях корабли вынуждались к зимовкам, в одном случае корабли с большим трудом удалось продвинуться вперед, и лишь в пятом случа корабль прошел этот путь без особых затруднений. В число указанных судо

входят также упоминавшиеся нами выше суда, проходившие у Таймырского полуострова на пути из Баренцова моря в Берингов пролив или обратно.

Обследованными отчасти смогли быть лишь восточный район средне-сибирской области и прилегающая к остальному побережью узкая водная полоса.

Четвертая, восточно-сибирская, область океана, от устья Лены до мыса Дежнева (крайний северо-восточный выступ азиатского материка), бывает в своей южной, прибрежной, части втечение полярного лета доступна для плавания морских судов. Совершаемые между Владивостоком и Колымой пароходные рейсы большей частью оканчиваются успешно, хотя иногда случается, что корабли на обратном пути задерживаются льдами и также вынуждаются к зимовке. Этот район может считаться в известной мере обследованным.

Совершенно почти неисследованными должны считаться обширные пространства арктического океана, лежащие к северу от описываемых областей и оказывающиеся тем недоступнее, чем ближе они расположены к северному полюсу. Лишь Нансену удалось, двигаясь на корабле вместо со льдами, достичь в одном месте 86-го градуса северной широты. Приближение же Пири (от американского материка) почти вплотную к северному полюсу не могло, вследствие быстроты его продвижения, дать существенных исследовательских результатов. К тому же и достигнутое им не может быть пока проверено.

Таким образом, после продолжавшихся столетиями усилий, связанных с большим количеством погибших людей и раздавленных льдами кораблей, человечество имеет перед собой все тот же ледяной, не всегда и не всюду доступный для морских судов — Арктический океан.

II.

Столкнувшись с непреодолимыми льдами, исследовательская мысль искала других путей в недоступные арктические области земного шара. Естественно, что изысканием этих путей преследовалась в первую голову цель изучения крайних арктических, приближающих к полюсу, зон, представляющих самый притягательный об'ект для исследований и к достижению которых предпринимались уже многообразные попытки, начиная со второй половины XIX столетия. Сам собой напрашивался такой путь, который бы наименее зависел от состояния льдов в океане — путь воздушный.

Первое воздушное путешествие к полюсу предпринято было в 1897 г. шведским инженером Соломоном Андрэ. Сконструированный им, заполненный водородом, аэростат «Эрнен» (Орел) об'емом в 5.000 куб. метров, рассчитан был на грузопод'емность в 3.000 килограмм.

Предполагалось, что с постепенным расходованием взятого балласта, весом в 1.700 килограмм, шар сможет продержаться в воздухе 30 — 35 дней. В случае нужды имели быть сброшены и некоторые технические принадлежности, весившие до 800 килограмм, что, в общей сложности должно было довести летательную способность шара до 50-ти дней.

По расчетам Андрэ полет к полюсу при попутном ветре должен б
продолжаться 6 дней. Аэростат снабжен был парусами, а также передвига
щимися рулями, которые в соединении с парусами должны были создать н
которую управляемость шаром, в смысле отклонения от линии ветра (так ж
как это делается на обычных парусных судах).

В первый раз Андрэ предполагал подняться со Шпицбергена в 1896
но отсутствие попутного ветра заставило его отложить полет до следующе
года. В последний раз он с двумя спутниками — Стриндбергом и Френк
лем — поднялся от северо-восточной оконечности Шпицбергена 11 ию
1897 г., и с того дня аэростат исчез. Из всех выпущенных Андрэ почтов
голубей (их у него было 32) лишь один был сбит. Несколько пловучих буйк
(их у него было 13), сброшенных с аэростата в первые дни полета, были так
впоследствии обнаружены в различных местах (западнее Шпицбергена, на с
вере Норвегии, у Исландии), но полной картины полета они не дали. Посла
ные на розыски Андрэ спасательные экспедиции никаких результатов не д
стигли. И лишь долгое время спустя экспедицией Фиала на Франц-Иоси
был обнаружен в глубине архипелага, в значительном расстоянии от берет
цилиндр от аэростата Андрэ.

Вторая попытка полета к северному полюсу, уже на управляемом аэр
стате, предпринималась американским журналистом Вальтером Вельмано
который до того пытался от Шпицбергена дойти до полюса на корабле, разд
вленном в 1894 г. льдами, а затем организовал в 1898—99 г. г. экспедици
к полюсу на санях, но, дойдя всего до 82-го градуса сев. широты, вынужд
был снова вернуться.

В первый раз Вельман подымался также со Шпицбергена в 1907 г.,
разыгравшаяся вслед за под'емом буря отбросила дирижабль обратн
В следующий раз он подымался в 1909 г., но после недолгого поле
оборвался один из соединявших шар с гондолой (подвесной корзиной) к
натов. Перестал действовать руль, и путешественники вынуждены бы
спуститься на лед, где они были подобраны находившимся в том райо
судном.

В дальнейшем, наиболее серьезный подход к идее достижения севе
ного полюса на воздушном корабле проявил известный конструктор неме
ких жестких дирижаблей — Цеппелин. Во главе комиссии из специалист
Цеппелин ездил в 1910 г. на Шпицберген с целью изучения условий перелет
Комиссия его пришла к заключению о безусловной возможности арктич
ских полетов на воздушных кораблях. Но осуществление всего дела был
задержано европейской войной.

Последняя попытка полета к северному полюсу на аэроплане предпр
нималась в 1922 г. норвежцем Роальдом Амундсеном (открывшим в декаб
1911 г. южный полюс). Должен был Амундсен подняться на Аляске и, пер
летев через полюс, спуститься на Шпицбергене. Одновременно со сторон
Шпицбергена должен был вылететь ему навстречу, по направлению к полюс
вспомогательный самолет с целью оказать Амундсену возможное в пут
содействие. Однако широко организованная операция закончилась безрезул

татно, так как гидроплан Амундсена во время пробных полетов у Аляски потерпел аварию.

В настоящее время известно о трех проектах перелета через полюс: проекте того же Амундсена, предполагающего на гидроплане осуществить намечавшийся им в 1922 г. маршрут, при чем исходным пунктом на этот раз должен явиться Шпицберген; проекта американцев совершить такой перелет на дирижабле «Шенандоа» (быв. ZR—1) с Аляски и обратно; и, наконец, о проекте германского аэрокапитана Брунса, по мысли которого основной базой для полета должен явиться Мурманск или же Гаммерфест (северная Норвегия). На последнем проекте мы остановимся затем подробнее ниже.

III.

Несомненно, что, поскольку речь идет о полетах на большие расстояния без удобных для спуска промежуточных станций, управляемые аппараты легче воздуха (дирижабли), в сравнении с аппаратами тяжелее воздуха (аэропланами), являются наиболее предпочтительными.

Принципы, на которых основано движение тяжелого аэроплана, который вне действия его моторов, вне развиваемой им скорости поступательного движения, представлял бы собой или неподвижное, или стремительно падающее вниз тело, известны, вероятно, многим читателям. Про дирижабли же у нас знают мало. Поэтому мы вкратце остановимся на их устройстве.

Дирижабль представляет собой оболочку-корпус, наполненный веществом более легким, чем окружающий воздух. Оболочка современного дирижабля заполняется легкими газами — водородом или гелием.

Исчислено, что при определенной температуре (10° Цельсия) все одного кубического метра водорода составляет 0,09 килограмма, а гелия — 0,18 килограмма. В то же время вес кубического метра сухого воздуха при той же температуре равен 1,25 килограмма. Таким образом под'емная сила каждого кубического метра об'ема дирижабля при заполнении водородом составит 1,25 кгр. — 0,09 кгр. = 1,16 кгр. а при заполнении гелием — 1,25 кгр. — 0,18 кгр. = 1,07 кгр. Полная под'емная сила всякого дирижабля будет поэтому равна под'емной силе одного куб. метра, помноженной на все количество куб. метров, составляющих его об'ем. Если мы встречаем в описании какого-либо дирижабля указание о том, что об'ем его равен, предположим, 70 тысячам куб. метров, это должно, следовательно, означать, что валовая под'емная сила его, если весь об'ем заполнен водородом, составит 1,16 кгр. × 70.000 = 81.200 кгр., а при заполнении гелием — 1,07 кгр. × 70.000 = 74.900 кгр.

Конечно, это будет лишь теоретическая под'емная потенция дирижабля. Из нее следует исключить «мертвый вес», т.-е. вес самого корпуса корабля, вес гондол, двигателей, различных установок и т. д. Стало быть, полезная грузопод'емность дирижабля будет равна его валовой под'емной силе минус мертвый вес.

Нужно, однако, при рассмотрении приведенных исчислений иметь в виду, что удельный вес воздуха не представляет собой неизменной величины, что вес этот уменьшается с высотой и с повышением температуры. Соответственно должна уменьшаться и указанная нами под'емная сила корабля. Скала изменений удельного веса воздуха на различных высотах, при различной температуре, давлении и т. д. — представляется довольно сложной. Практически же принято при исчислении под'емной силы дирижабля руководствоваться упрощенным расчетом, который для под'емов на высоту до 7 километров дает следующую предполагаемую под'емную силу одного куб. метра водорода:

Высота под'ема в клм.	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
Под'емная сила в кгр. . .	1,03	0,92	0,83	0,74	0,67	0,60	0,53

Из приведенного расчета мы видим, что под'емная сила одного куб. метра водорода на высоте 7-ми километров составит не 1,16, а лишь 0,53 килограмма, а валовая под'емная сила воздушного корабля с об'емом в 70 тысяч куб. метров, заполненным водородом, на высоте 7-ми километров составит уже не 81.200 килограмм, а всего лишь 37.100 килограмм.

Поэтому самыми выгодными маршрутами для дирижаблей считаются линии, пролегающие не над горными хребтами, а над равнинами и морями. Поэтому также конструкция дирижаблей «мирного времени» отличается от конструкции дирижаблей времени войны, когда они строились для полетов на большой высоте, с целью избежать как действий зенитных орудий, так и возможных нападений на них со стороны аэропланов.

Существующие в настоящее время дирижабли разделяются на несколько типов. Свести последние можно к трем: тип мягкого дирижабля (немецкий Парсеваль и некоторые французские), корпус которого сделан из мягкой, но прочной и непроницаемой материи; тип полужесткий (почти все итальянские), представляющий собой комбинацию частей мягких и жестоких; тип жесткий (немецкие Шутте-Ланц, французские Спис и английские Риджид), корпус которого состоит из легкого металла (дюраллюминий, верилайт и др. легкие сплавы) или из дерева. При постройке дирижаблей жесткого типа применяются ныне повсюду металл, являющийся самым прочным однородным материалом и качества которого могут все повышаться, благодаря совершенствующимся способам его обработки.

К последнему типу относятся и дирижабли системы Цеппелина, которые должны быть признаны наиболее прочными и целесообразно сконструированными воздушными судами.

Самые мощные цеппелины находятся в данное время в Америке. Один из них — упомянутый «Шенандоа» — построен там же. Другой — «Лос Анджелос» (быв. ZR—3) — построен был в Германии, в счет причитающихся Америке по Версальскому договору репарационных платежей, а в октябре 1924 г. он перелетел через Атлантику в Америку. Имеются также сведения о предстоящем выпуске в Англии значительно превышающего по мощности дирижабля (R—101), но он находится еще в стадии постройки.

«Лос Анджелос» сильнее «Шенандоа». Его конструкция дает представление о характере современных мощных цеппелинов.

Внешняя форма «Лос Анджелос» — сигарообразная, вызывающая наименьшее сопротивление воздуха. Корпус его обтянут материей, окрашенной специальной краской, благодаря которой оболочка дирижабля приобретает совершенно гладкую поверхность и упругость, в свою очередь уменьшающие сопротивление воздуха. Окраска эта, состоящая из нескольких слоев и имеющая алюминиевый оттенок сверху и черный внутри, предохраняет также материю от влияния солнечных лучей, отклоняя их и поглощая.

Для того, чтобы дирижабль мог сохранять устойчивое положение при различных направлениях в пути, а также в воздухе, при остановке двигателей, к корме его прикреплена особая система плоскостей (стабилизаторов).

Остов (каркас) дирижабля представляет собой решетчатую ферму. Разделен он рядом поперечных плоскостей на ряд изолированных отделений (отсеков). В каждом отсеке помещается по мешку-баллону с газом. Баллоны устроены из непроницаемой ткани, оклеенной бычачьими кишками (бодрюшем). Этим путем газ предохраняется от утечки, и, главное, сохраняется безопасность корабля при разрыве какого-либо баллона.

Поступательное движение дирижабля по воздуху достигается тем же способом, что и движение обыкновенного судна по воде, т.-е. помощью вращающихся винтов. Разница заключается лишь в том, что водяные винты состоят из четырех лопастей, а воздушные пропеллеры — из двух лопастей.

Винты приводятся в движение двигателями (моторами), работающими на бензине. Моторов у «Лос Анджелос» всего пять, по 400 лош. сил каждый. Размещены они, каждый в отдельности, в пяти гондолах. Две пары гондол подвешены попарно по бокам, в средней части корабля, пятая же — под кормой. Все гондолы имеют сообщением с внутренним коридором-галлереей, устроенной в нижней части корпуса дирижабля.

Управление кораблем производится при помощи горизонтальных и вертикальных рулевых плоскостей (плавников), которыми достигается и изменение направления, и изменение высоты полета.

Помещения по управлению дирижаблем (пилотские) и пассажирские помещения расположены в особой гондоле, устроенной под самым днищем корабля, в носовой его части.

Топливо, балласт, запасные части, багаж и всякий другой груз размещены в специальных отделениях, расположенных во всю длину внутреннего коридора. Там же устроены и помещения для обслуживающего личного состава (экипажа) корабля.

Радио-станция на «Лос Анджелос» рассчитана для работы телеграфом на расстоянии 2.500 километров и для радио-телефонных переговоров — на 500 километров.

Освещение, отопление и вентиляция дирижабля производится электрическим током. Вентиляция нужна для продувания пространств между наполненными водородом баллонами и оболочкой, в предупреждение образования взрывчатого газа.

На носу дирижабля устроено приспособление для причаливания к особым мачтам. Дело в том, что сооружение постоянных помещений (эллингов для дирижаблей требует значительных средств. Поэтому эллинги служат лишь для долговременной стоянки и ремонта. При кратковременных же стоянках — для приема и спуска пассажиров, почты, разных грузов, для снабжения топливом и т. д. — корабль пристает к так называемым причальным башням или мачтам (мууринг маст).

Способ причаливания очень прост и заключается в том, что сбрасываемый с дирижабля канат (трос) соединяется на земле с концом другого троса, спущенного с вершины мачты. При помощи находящейся внизу у мачты лебедки, наворачивающей соединенные канаты на вал, дирижабль затем подтягивается носом к головке мачты, где он и закрепляется. Такая же лебедка иногда устраивается и на самом дирижабле.

Верхушка мачты (головка) — поворотная, т.-е. вращающаяся вокруг оси. Таким образом прикрепленный к ней носом, свободно висящий в воздухе корабль представляет собой как бы флюгерную стрелу, вращающуюся в зависимости от направления ветра.

Мачты имеют высоту применительно к размерам дирижабля. Высота эта доходит до 50-ти метров и больше. Строятся мачты пустыми внутри; в середине имеется лифт для под'ема грузов и пассажиров.

Остальные данные об устройстве «Лос Анджелос»:

Длина . . .	200 метров.
Максимальный диаметр	27,6 метра.
Об'ем	70.200 куб. метров.
Валовая под'емная сила при заполнении водородом.	81.000 килограмм.
Полезная грузопод'емность	47.000 »
Мощность двигателей. .	2.000 лош. сил.
Скорость движения при работе всех моторов.	127 километров в час.

Таковы дошедшие до нас сведения о конструкции современного крупнейшего цеппелина.

Вылетел «Лос Анджелос» из Германии утром 12 октября 1924 г. и, перелетев через Швейцарию, южную Францию и Атлантический океан, спустился около Нью-Йорка 15 октября, пройдя расстояние в 8.651 километр в 81 час 17 мин., т.-е. делая в среднем около 107 километров в час. Наибольшая скорость полета на некоторых участках маршрута равнялась 130 километрам в час, наименьшая — 45 километрам в час. Такое понижение скорости вызвано было противным ветром, силой в 17 метров в секунду, т.-е. свыше 61 километра в час. В одном месте ветер дул еще сильнее, до 20—25 метров в секунду, но, будучи больше боковым, он не отражался так сильно на ходе корабля, вызывая лишь крепкую качку. Дирижаблю пришлось проходить и через туман, и через мощные наслоения облаков, и через полосу грозовых туч, но на всем пути безостановочная работа моторов была безукоризненной, а самый дирижабль сохранился в полной исправности.

Баллоны «Лос Анджелос» были на этом перелете заполнены водородом, который затем в Америке заменен был гелием.

Несмотря на больший удельный вес гелия по сравнению с водородом, исключительное достоинство его заключается в том, что он совершенно не воспламеняется. Вполне понятно, что ограждение дирижаблей от возможных взрывов путем применения гелия представляется делом чрезвычайно важным. Но затруднения здесь связаны с тем обстоятельством, что гелий является не искусственным газом, который можно было бы добывать в любых количествах, а газом природным. Извлекаемый из соответствующих источников, гелий легко очищается от сопутствующих газообразных примесей (кислорода, азота и проч.). Такие источники эксплоатируются пока только в Америке, но количество добываемого там гелия все же ограничено (не говоря уже о стремлении американского правительства не допускать вывоза гелия). Поэтому возможность его использования другими странами представляется пока исключенной. Лишь у нас, в СССР, обнаружены недавно газовые источники, содержащие гелий, но к утилизации их в надлежащем масштабе еще не приступлено. Попытки же итальянских физиков добывать гелий искусственным путем, хотя и дали успешные результаты, пока что не вышли за пределы опытов. Поэтому для нейтрализации опасности воспламенения водорода в Европе в настоящее время производятся успешные опыты по установке на дирижаблях моторов, работающих не на бензине, а на тяжелом (нефтяном) топливе. С нефтяными двигателями строится также английский R—101.

Однако и заполненные водородом дирижабли доказали свою полную способность успешно передвигаться на весьма значительные расстояния. Кроме указанного перелета «Лос Анджелос», следует отметить некоторые другие, наиболее значительные, полеты воздушных кораблей.

Первый из них — рейс германского цеппелина L—59, летавшего в ноябре 1917 г. из Болгарии в Восточную Африку и обратно, с военным снаряжением и медикаментами (всего намеченного маршрута он не покрыл, так как с пути был отозван). Пролетел он тогда без остановки, с полным грузом, около 7.000 километров в 97 часов, сохранив к моменту возвращения неиспользованным горючее, достаточное еще на 48 часов хода.

Другой дирижабль — английский R—34 (английской постройки, но скопированный с немецкого L—33) — совершил в июле 1919 г. полет из Эдинбурга (Англия) в Нью-Йорк и обратно, пройдя расстояние в 5.500 километров на пути в Америку в 108 час. 12 мин., а на обратном пути — в 75 часов.

Рекорд продолжительности беспрерывного полета поставлен был 20—25 сентября 1924 г. французским дирижаблем «Диксмюд» (быв. немецкий цеппелин L—72, перешедший к Франции по Версальскому договору), продержавшимся в воздухе 118 часов 41 мин. Полет его тогда был совершен с юга Франции (Тулон), через Средиземное море, вдоль северо-африканского побережья — в глубь Сахары и обратно.

Свой второй продолжительный полет «Диксмюд» предпринял утром 18 декабря 1924 г., снова с юга Франции — в глубь Африки. Достигнув конечного пункта пути (Ин-Салах), он вечером 19 декабря повернул обратно.

20-го он приближался к северному побережью Африки, где попал в поло свирепствовавшего тогда северо-западного урагана. Потратив несколь часов в борьбе со штормом, «Диксмюд» переменил свой курс, пытаясь д браться до итальянской воздушной гавани в Чиампино. На этом пути с в ночь с 20 на 21-е декабря, погиб от удара молнии. С ним погибло 50 чел век экипажа.

При об'яснении причин гибели «Диксмюд» следует иметь в виду, ч строился он в Германии специально для военных целей и что преследова шиеся при его конструировании соображения скорости (131 километр в ча и высоты под'ема (7.000—8.000 метров) несомненно отразились на общ прочности и устойчивости дирижабля. В то же время остается невыясне ным, была ли у командира «Диксмюд» необходимость в форсирован пути против штормовой полосы или наперерез ей, или же представляло более целесообразным лететь по ветру, дрейфовать с ним. Возможнос такого полета по ветру блестяще доказана последним эпизодом с англи ским R — 33 (однотипный с R — 34, совершившим в 1919 г. атлантическ перелет).

Готовясь к полету в Египет, R—33 был отшвартован к причальн мачте в Пульгаме (юго-восточное побережье Англии). Во время пронесшего утром 16 апреля тек. года над Великобританскими островами урагана, места силой до 125 километров в час, напором ветра на дирижабль была сорва головка мачты. Корабль, опустившись носом, ударился о платформу мачт получив большую пробоину. Был также поврежден передний баллон, из кот рого стал вытекать водород. Дирижабль с находившимся на нем к том моменту экипажем, в составе всего 20 человек во главе с помощником кома дира, понесло ветром над Немецким морем к северо-востоку. Было пуще два двигателя, но попытки продвинуться обратно на запад оказались бе успешными. К вечеру 16 апреля дирижабль находился у голландского п бережья. Воспользовавшись ослаблением ветра к утру 17 апрел дирижабль взял обратный курс на Пульгам, куда он и долет в тот же день.

В аналогичной почти обстановке был и американский «Шенандо в октябре 1924 г., во время трансконтинентального перелета, когда е штормом также сорвало с мачты, с повреждением двух баллонов и стабилиз торов. Несмотря на это, «Шенандоа» успешно закончил свой 14.000 килом тровый перелет.

Оба эти случая, вызванные не дефектами в конструкции самих дир жаблей, а лишь недостаточно прочными причальными приспособлениям (что является делом безусловно устранимым), доказали исключительну устойчивость и управляемость современных дирижаблей в штормовой обст новке. Они также показали, что гибель «Диксмюд» — это одна из неизбе ных жертв, сопутствующих всяким успехам в недостаточно исследованны областях техники.

Временные неудачи лишь стимулируют человеческую мысль к иска нию более совершенных конструктивных методов и подходов.

IV

Вопрос о транс-арктических полетах на дирижаблях был возбужден кап. Брунсом в 1919 г. Рассматривался он в ряде научных совещаний в Германии, в том числе в особой комиссии, состоявшей из 18 видных немецких ученых и техников, под председательством географа Кольшюттера. В результате появился специальный проект, опубликованный в иностранной прессе.

Особое движение проект получил в конце 1924 г., когда во главе комитета, взявшего на себя инициативу его осуществления, стал полярный исследователь Фритиоф Нансен (известный у нас еще по тому участию, которое он принимал в деле оказания помощи голодающим Поволжья в 1922 г.).

Проект этот охватывает два вопроса: 1) — воздушную экспедицию через северный полюс, с целью изучения неизвестных областей Ледовитого океана, и 2) — организацию регулярного сообщения на дирижаблях между Европой и Северной Америкой и Японией, по арктическим зонам. В такой последовательности мы эти вопросы и рассмотрим.

Для совершения научной экспедиции предполагается постройка цеппелина об'ема в 150.000 куб. метров, с общей под'емной силой в 155.000 килограмм, с группой двигателей, общей мощностью в 3.000 лош. сил, развивающих скорость в 120 километров в час. Дирижабль должен иметь запас горючего, достаточный для полной работы всех моторов в течение 100 часов. Он должен быть снабжен всеми новейшими инструментами и приборами по воздушной навигации, по научным исследованиям и радиосвязи, а также всеми возможными спасательными средствами на случай аварии. Экипаж корабля и научный персонал экспедиции исчисляется в 50 человек. Экспедиция должна быть, применительно к условиям перелета, снаряжена и обеспечена запасным продовольствием, нартами, палатками, каяками и т. п., — на случай вынужденного перехода с места аварии к населенному пункту.

Маршрут экспедиции намечается от Мурманска или Гаммерфеста — на Шпицберген или землю Франца-Иосифа, через северный полюс — к Аляске. Обратный полет — южнее: с Аляски — на остров Врангеля, мимо северной оконечности так называемой Земли Николая II и далее на мыс Желания (северный мыс Новой Земли) — к Мурамнску или Гаммерфесту. Расстояние от Мурманска до Нома (на Аляске) исчисляется в 5.700 километров. Если прибавить к ним еще 500 запасных километров, то намеченный путь может быть пройден воздушным кораблем при безветрии и работе всех моторов в 52 часа, а при работе $^{4}/_{5}$ всех моторов — в 62 часа.

Ориентировка в пути намечается при помощи двух пар, существующих уже полярных радио-станций: для западной части маршрута — при помощи норвежской станции на Шпицбергене и советской станции на о. Диксона (у устья Енисея в Карском море); для восточной части маршрута — советской станции в Анадыре (северный залив Берингова моря) и американской станции в Номе.

Основной базой для дирижабля должен явиться Мурманск или Гамм фест. На другом же конце маршрута имеет быть установлена лишь прича ная мачта, с дополнительным снабжением.

Лучшим временем для перелета считается апрель — май — начало ию когда в арктических областях не бывает сильных штормов.

Такова в общих чертах планируемая схема научно-исследовательск воздушной экспедиции через северный полюс.

Научные достижения ее могут сказаться в следующих отношениях:

1) В области географической — в выяснении расположения суши и мо в недоступных доселе арктических районах.

Имеются предположения, что между восточно-сибирским побережьем северным полюсом должны быть расположены еще неизвестные человечест земли. Бывавшие на о. Врангеля люди могли наблюдать, как весной на сев совершают свой перелет огромные стаи птиц, которые осенью затем возвр щаются со своими птенцами на юг. Гуси, например, птенцов на льду не в водят — следовательно, к северу от о. Врангеля должны существовать каки то неведомые пространства суши. Наконец, нам даже до сих пор неизвест истинное протяжение открытой еще в 1913 г. русской гидрографической эк педицией, к северу от мыса Челюскина (северная оконечность Таймырско полуострова), большого острова — так называемой Земли Николая II.

Возможности таких исследований с помощью дирижабля, несомненн имеются, как посредством фото-с'емки, так и путем наблюдений простым ч ловеческим глазом. Льды, правда, занимают в этих районах Ледовитого океан наибольшую часть пространства, но они при этом не представляют собс неподвижного поля, а находятся в постоянном движении. Зимою льды имею вид огромных, скованных морозом, дрейфующих (движущихся по течени площадей. К весне же площади эти, в частности у берегов, разбиваются што мами на ряд отдельных (иногда хотя и значительных) льдин, между кото рыми, в том числе у берегов, остаются пространства чистой воды (полыньи Эти темные пространства воды легко отличимы сверху от белых ледяны площадей.

Кроме того, в мае — июне должно также сказаться и влияние незахо дящего с середины апреля солнца, которое, растапливая снеговой покров, по степенно оголяет береговые склоны, придавая им местами естественно-темны оттенок. Кое-где к этому времени могут образоваться уже и так называе мые водяные забереги, т.-е. полосы чистой воды у самого берега, на мест зимнего прибрежного ледяного припая.

Частичный опыт воздушной фото-с'емки в полярных областях произ водился уже, и довольно удачно, в районе Шпицбергена в начале июля 1922 г вспомогательным к намечавшейся тогда воздушной экспедиции Амундсена гидропланом, о котором мы рассказывали выше. Лишь в одном месте наблю датель не смог отличить плавающих ледяных гор от маленьких островков Но при этом надо иметь в виду, что летал гидроплан со средней обязатель ной скоростью в 150 километров в час; между тем дирижабль может умень шать свою скорость до минимума.

К тому же в задачи рассматриваемой нами воздушной экспедиции должно входить не определение точного рельефа береговой линии, а лишь общее выяснение расположения суши и моря.

2) Другим результатом проектируемой экспедиции должны явиться достижения в области гидрологии, т.-е. области исследования морских глубин.

Измерения глубины океана в районе полюса могут дать, в дополнение к соответствующим наблюдениям с высоты, также представление о наличии суши. Установлено, что мелководная полоса океана, прилегающая к сибирскому побережью, все углубляется по мере приближения к полюсу. В прибрежном морском районе глубина составляет лишь 60—65 метров. На границе так называемой материковой отмели, проходящей севернее известных до сих пор островов Ледовитого океана, средняя глубина достигает 500 метров. Нансен при своем дрейфе достиг в 1895 г. глубины в 2.000 метров. Пири—по его расчетам в 9 километрах от полюса, но фактически южнее—имел в 1909 г. глубину, превышающую 2.750 метров. Измерения, полученные в 1912 — 1914 г.г. погибшим на «Анне» Брусиловым, также подтверждают такое наростание глубин: с 9 саж. на 73 градусе сев. широты до 420 саж. на 82 градусе.

Полученные в районе полюса глубины должны помочь решению вопроса о том, существует ли по близости от него суша, или же пространство вокруг полюса является сплошным глубоководным морем, ибо всякое наличие суши должно сказаться в резком уменьшении глубин на значительном радиусе от нее.

Возможности подобных измерений помощью дирижабля также несомненно имеются, ибо последний может (как мы уже указывали) над соответствующими полыньями замедлять при надобности свой ход, доставая глубину особым измерителем (лотом), которым также пользуются обыкновенные морские суда, в том числе суда, развивающие ход в 50 километров.

Над полыньями же может браться и температура океанской воды и ее соленость, очень существенные при изучении свойств Арктического океана. Так, Нансен на основании полученных им в 1893 — 1896 г.г. данных о температуре и солености воды на пути дрейфа его судна («Фрама») выдвинул об'яснение существующих в Ледовитом океане течений.

3) Следующим результатом экспедиции должно явиться изучение метеорологических условий на пути перелета, которые представляют большой интерес, с точки зрения их связи с метеорологическими условиями в наших широтах.

Здесь, однако, надо признать, что метеорологические наблюдения, которые будут вестись в течение относительно непродолжительного перелета по арктической зоне (3 дня вперед и 3 дня обратно) с промежутком всего в 3 дня, в период одной полярной весны, в различных широтах (вперед через полюс, а обратно южнее), — не могут быть особо значительными.

4) Наконец, основное значение проектируемой экспедиции должно заключаться в том, что она явится первым испытательным полетом на воздушном корабле по арктическим областям, который должен служить предпосылкой для будущих постоянных транс-арктических воздушных рейсов.

V.

Человечество стало уже фактически на путь максимального использования воздушных способов сообщения для целей мирового транспорта. Первенство в этой области принадлежит пока аэроплану.

Но, имея основное преимущество перед всякими другими средствами передвижения, заключающееся в развиваемой им большой скорости, аэроплан, однако, ограничен в сфере своей работы. Он должен иметь соответствующую поверхность для под'ема и спуска, чем вызывается необходимость постройки аэродромов или выбора подходящих площадок. Пилот должен хорошо видеть при посадке землю, поэтому ночные полеты возможны лишь на специально оборудованных линиях, связанных с большими затратами. Грузопод'емность самолета незначительна — она измеряется обычно сотнями килограмм, лишь в редких случаях тысячами. Вместилища для горючего, в связи с пределами грузопод'емности, не могут быть безграничны, что обусловливает и ограниченную дальность полета эксплоатируемого на транспорте аэроплана. Полет его в облаках или в тумане, в дождь или снег является делом весьма трудным. Наконец, аэроплан в случае аварии или остановки моторов, должен иметь возможность немедленно спланировать, снизиться,—между тем характер местности не всегда это позволяет.

В то же время дирижабль может летать и днем и ночью. Грузопод'емность его исчисляется в десятках тысяч килограмм, а со временем дойдет и до сотен тысяч (даже имея в виду исчисленный технически-целесообразный предельный об'ем в 400.000 куб. метров). Запасы горючего на нем могут быть весьма значительны, а соответственно — и дальность полета. Мощный дирижабль в состоянии летать при любых атмосферических условиях. Он может регулировать свой ход на любых скоростях. Он может держаться в воздухе безотносительно к работе его двигателей. Если бы даже все его моторы вышли из строя, во время нахождения хотя бы над морем, он может, в виде свободного аэростата, двигаться по ветру до тех пор, пока не окажется над сушей, и затем спуститься к земле.

Все указанные преимущества делают дирижабль естественным средством воздушного сообщения на больших расстояниях.

Практически дело использования дирижаблей для мирных перевозок было впервые поставлено в Германии, где еще в 1910 г. установлены были рейсы небольших цеппелинов между Гамбургом, Берлином и Фридрихсгафеном (у Боденского озера, где устроены эллинги). Совершено было при этом 1.588 полетов, пройдено около 160.000 километров, перевезено было 34.228 пассажиров без единого несчастного случая для пассажиров или экипажа. Однако полеты эти носили тогда все же преимущественно спортивно-променадный характер.

Деловой, транспортно-коммерческий характер имели установленные в Германии в 1919 г., по окончании военных действий, регулярные рейсы между Фридрихсгафеном и Берлином и между Берлином и Стокгольмом. Но

расширение этих рейсов было прервано союзными правительствами, к которым перешли германские воздушные корабли.

В настоящее время вопрос применения дирижаблей на транспорте принял совершенно актуальный характер в странах, занимающих большие материковые пространства (Сев.-Америк. Соед. Штаты), и в странах, владеющих отдаленными колониями (Англия, Испания, Америка — для Филиппин). В Америке этому вопросу уделяется исключительное внимание. Дирижаблестроение там приняло деловой, «американский» размах. В Англии разработана схема постройки группы дирижаблей большой мощности. Первый из них — упоминавшийся R — 101 — строится с об'емом в 142.000 куб. метров. Испания, как сообщалось недавно в прессе, переводит к себе из Германии верфи Цеппелина, для постройки 4-х кораблей, об'емом в 200.000 куб. метров каждый. Внимательное отношение к делу дирижаблестроения проявляется и в других странах.

Само собой разумеется, что вопрос делового, коммерческого, использования дирижаблей должен ставиться и решаться в плоскости экономических, преимущественно, расчетов.

Основным моментом выгодности всякого воздушного сообщения является его скорость, т.-е. выигрыш времени при передвижении. Вполне очевидно, что выгода эта возрастает в прямой пропорции к удлинению расстояния. Сообщение на дирижаблях будет, соответственно, особенно выгодно и рационально на больших расстояниях и, в частности, там, где обычно требуется комбинированное пользование сухопутными и морскими, — а тем более, чисто морским — средствами сообщения.

Основными предпосылками для рациональной эксплоатации воздушных линий на дирижаблях будут являться:

1) Максимальное использование грузопод'емности корабля в отношении перевозки пассажиров и грузов.

2) Регулярность рейсов.

Первая предпосылка зависит от направления избранных воздушных маршрутов. Если учреждаемыми линиями будут связаны далеко друг от друга отстоящие, густо-населенные промышленные центры, если, с другой стороны, линии эти будут захватывать отдаленные, богатые естественными возможностями, но совершенно не обслуженные транспортными средствами районы (возьмите, хотя бы, северные окраины СССР), — то полное и доходное использование, так сказать, тоннажа дирижабля привлекаемыми пассажирами и грузами будет вполне обеспечено. Под грузами здесь мы имеем в виду, понятно, не массовые, тяжелые грузы, а такие, как почта, драгоценные металлы, ценные химические продукты, пушнина и т. д.

Вторая предпосылка — регулярность, планомерность рейсов — зависит, естественно, в первую голову от метеорологических условий.

В этом отношении следует учесть производившиеся метеорологами наблюдения, по которым можно судить, что воздушное сообщение по Атлантике (Европа — Америка) представляется довольно затруднительным, ибо в период с мая до сентября там господствуют частые туманы, а с сентября по май —

сильные западные ветры. Относительно благоприятными месяцами для пег летов с Пиринейского полуострова в Нью-Иорк признаются июнь, июль август, хотя, как мы видим, и в это время года приходится преодолевать г стые туманы.

Метеорологические условия в Средиземном море и Тихом океане пр знаются более благоприятными. Поэтому проектируемые в Англии линии: Ло дон — Каир (Египет) — Мельбурн (Австралия) и Лондон — Каир—мыс Добр Надежды (Юнжая Африка), а также Американская линия Сан-Франциско—М нилла (Филиппинские острова), — должны оказаться более осуществимым в метеорологическом отношении, а движение по ним — более регулярным.

Метеорологические условия в арктических областях менее изучені в особенности условия в высоких слоях атмосферы арктических зон. На известны лишь наблюдения, производившиеся немецким метеорологом Гер зелем в 1910 г., в районе между северной оконечностью Скандинавского пс луострова и Шпицбергеном, и русским метеорологом Молчановым в 1917 на острове Диксоне. Но, по мнению ряда метеорологов, температура и да вление воздуха в арктических районах являются наиболее ровными на зем ном шаре. В пользу последнего заключения говорят также данные о том, чт самые сильные вихревые движения в атмосфере имеют место преимуще ственно в тропических зонах.

Арктические области имеют еще то колоссальное преимущество, чт они на много сокращают существующие ныне пути сообщения между различ ными пунктами Европы, Азии и Америки, расположенными в северной части умеренного земного пояса, не говоря уже о пунктах, расположенных в юж ных областях полярных широт. Достаточно нам взглянуть на школьный гло бус, чтобы уяснить, что по мере отдаления от экватора к полюсу пункты расположенные на равных или близких широтах, все сближаются.

Ясно поэтому, что связать наш Мурманск, находящийся на 69 градусе с Чукотским полуостровом, находящимся на 66—70 градусах сев. широты, выгодно только по прямой, т.-е. фактически воздушной, линии. То же самое будет и в отношении северной Скандинавии (и даже Шотландии) и Аляски. Но и более южные области Европы, в их сношениях хотя бы с Японией, чрезвычайно выгадывают в расстоянии и во времени, при направлении пути через полярные области. Не излагая имеющихся у нас более подробных вычислений, мы ограничимся указанием, что морской путь от северо-западных местностей Европы (в том числе и от Великобританских островов) до Японии продолжается около месяца. Комбинированный срочный маршрут морскими и железнодорожными экспресами, через Канаду, продолжается 15 дней. Тот же путь, через Сибирь, продолжается 16 дней. По воздуху же, через Мурманск, и дальше прямым направлением на северную Японию — этот путь займет всего 5 дней.

Стоимость подобного перелета, при рационально-поставленной воздушной службе, будет не на много превышать ему сумму, уплачиваемую в настоящее время пассажирами, при переездах на указанных нормальных линиях I классом.

Конечно, оборудование такого пути,— включая постройку самих дирижаблей, сооружение необходимых эллингов, а также радио-станций и причальных мачт по линиям перелетов, — связано с затратой известных денежных средств. Однако перспективная доходность таких линий должна быть признана несомненной, и всякий затраченный капитал сможет быть довольно быстро амортизирован.

Будь Ледовитый океан у сибирских берегов сплошь проходим для морских судов, функцию сокращения расстояния мог бы выполнять северо-восточный проход. Но перечисленные нами выше случаи сквозного перехода из Атлантического в Тихий океан показывают, что рассматривать северо-восточный морской проход как полезную транспортную артерию, — не приходится.

Северо-восточный морской путь доказал свою недоступность для нормального мореплавания. Его естественное назначение должно в ближайшее время перейти к северо-восточному воздушному пути.

Об Амундсене.

Статья эта была написана еще до того, как Роальд Амундсен предпринял свой полет к северному полюсу.

Местом под'ема Амундсена явилась морская бухта на северно-западном берегу Шпицбергена (недалеко от того места, где в 1897 г. подымался на своем воздушном шаре погибший Андрэ), куда Амундсен прибыл со своими летательными машинами в начале мая текущего года, на двух шхунах «Фарм» и «Гобби».

Экспедиция Амундсена предпринята на двух гидропланах («летающих лодках») немецкой конструкции, но построенных в Италии (результат ограничений, продиктованных германской авио-промышленности Версальским договором). На каждом аппарате установлено по два мотора, мощностью в 370 лош. сил каждый. Под'емная сила каждого аппарата — около 3.000 килограмм. Максимальная скорость — около 170 километров в час, средняя скорость — около 140 килом. в час. Каждый гидроплан имеет запас горючего для моторов, достаточный для полета на общее расстояние в 2.500 километров. Радио-установок гидропланы эти не имеют.

Экспедиция полностью снабжена полярной одеждой, обувью, спальными мешками, лыжами, каяками (кожаные лодки), нартами (легкие сани), винтовками, автоматическими ружьями, патронами, принадлежностями для варки пищи и запасом продовольствия (пеммикан, шоколад, сушеное молоко, бисквиты — т.-е. такие же продукты, какие Амундсен брал с собою в походе к южному полюсу в конце 1911 г.). Продовольствия взято из расчета на шесть недель для шести участников экспедиции.

На первом гидроплане руководителем и навигатором является Амундсен, пилотом Ларсен и механиком Омдаль. На втором — руководителем и пилотом Дитрихсен, навигатором Элсворт (американец, частью финансирующий экспедицию) и механиком Фоухт.

Целью Амундсена является производство научных наблюдений на самом полюсе, а также выяснение наличия в неисследованных арктических областях

неизвестных еще человечеству пространств суши. Норвежское правительст уполномочило Амундсена и Дитрихсена об'явить о присоединении к Норвег всех земель, которые будут ими открыты.

Предполагалось, что расстояние от Шпицбергена до полюса, исчисля мое в 1100 километров, должно быть покрыто в 7 — 8 часов. Считая врем необходимое для производства наблюдений, весь полет до полюса и обратн должен был, по первоначальным расчетам, занять 2 — 3 дня.

Поднялись оба гидроплана со Шпицбергена под вечер 21 мая (нуж иметь в виду, что в районе между Шпицбергеном и северным полюсом, нач ная с середины апреля, в течение четырех с половиной почти месяцев, свет незаходящее полярное солнце). С тех пор прошло уже две недели, но ни од аппарат пока не возвращался.

Какие бы то ни было определенные заключения о судьбе Амундсе и его спутников представляются сейчас, понятно, невозможными. Приходит лишь строить предположения.

Возможно, что Амундсен, не имея удобного для спуска места на сам полюсе, должен был спуститься в некотором отдалении от него, на чист воде (в полынье) или на льду; соответственно, расстояние от места посад до полюса и обратно Амундсену приходится покрывать на лыжах, что долж занять известное время. Возможно, что спустился он у самого полюса, метеорологические условия (туман, снег, сильный ветер) не позволили по подняться для совершения обратного перелета к Шпицбергену. Возможн что сильные холода на полюсе, когда солнечные лучи недостаточно нагр вают земные слои атмосферы, не позволяют завести моторы на гидроплан (такой случай был уже у Амундсена на Шпицбергене 19 мая, когда застывш в цилиндрах вода настолько охладила моторы, что пуск их оказался нево можным); если Амундсен не имеет необходимой в таких условиях спиртов смеси (это известно русским воздухоплавателям, которым приходилось п дыматься при сильных морозах), — он должен выждать теплой погоды. Во можно, что при спуске на лед аппаратам пришлось совершать необходимь до полной их остановки пробег по снегу, покрытому недостаточно крепк ледяной корой; в этом случае тяжело загруженные машины могли зарыться н сом в снег и получить значительные, быть может, непоправимые повреждени Возможно, что пилоты, попав в полосу тумана или низких облаков, не им возможности выбрать необходимую для правильной посадки площадку, вын ждены были снизиться в неблагоприятном месте, каковым могла оказать гряда торосистого (ледяные бугры, образуемые при столкновении льди льда; в такой обстановке аппараты могли потерпеть очень тяжелую авари

Если гидропланы экспедиции вышли из строя, Амундсен, несомненн предпримет свой обратный поход к материку на лыжах. Если ему придет итти от самого полюса, он может выйти или к сибирскому, или к америка скому берегу. Кратчайшим от полюса путем является маршрут в напр влении к Земле Гранта (большой остров к северо-востоку от американско материка, граничащий с Гренландией), где должны существовать депо (склады продовольствия, устроенные Пири при его походах к полюсу. Можно пре

положить также, что Амундсен пойдет в направлении к мысу Барроу на Аляске (северо-западная оконечность американского материка), с целью одновременного выяснения наличия суши в этой области, в связи с предположениями, высказываемыми рядом арктических исследователей («Земля Гарриса»). Однако представляется мало вероятным, чтобы Амундсен, не будучи достаточно снаряжен для такого тяжелого путешествия, решился на подобный поход.

Больше всего оснований рассчитывать, что пеший путь от полюса Амундсен совершит к мысу Колумбия (северный мыс Земли Гранта), расстояние до которого исчисляется в 600 километров. Шестинедельных запасов продовольствия (считая, что путешественники будут проходить по 15 — 20 километров в день) должно быть достаточно на такой маршрут, до достижения продовольственных депо на Земле Гранта. Запасы могут также пополняться охотой на моржей, тюленей, белых медведей.

История арктических путешествий знает случаи таких же вынужденных переходов по льдам, каковы, напр., поход Нансена и Иогансена в 1895-96 г.г. с 86-го градуса сев. широты до Земли Франца-Иосифа или поход Альбанова и Конрада (из экспедиции погибшего Брусилова) в 1914 г. с 83-го градуса сев. широты до мыса Флора (юго-западная оконечность архипелага Франца-Иосифа). Опасения лишь должно вызывать то обстоятельство, что некоторые спутники Амундсена, не бывшие в арктической обстановке, могут не выдержать тяжести такого перехода. Трудность перехода усугубляется еще весенней передвижкой льдов в Арктическом океане.

От Земли Гранта Амундсен должен будет направиться на Гренландию, с тем, чтобы выйти летом 1926 г. к юго-западному гренландскому побережью, посещаемому морскими судами.

Таким образом, если Амундсен лишился своих гидропланов, если своевременно снаряженной спасательной воздушной экспедицией не удастся оказать ему помощь, — возвращения его следует ждать осенью 1926 г.

В последние дни появился ряд сообщений о проектируемых в Европе и Америке экспедициях для помощи Амундсену. Норвежское правительство направляет на Шпицберген два гидроплана для обследования прилегающего района, на тот случай, если Амундсену пришлось спуститься недалеко от Шпицбергена. Снаряженная в Англии воздушная экспедиция Алгарсона, также ставящая своей задачей достижение северного полюса, имеет в виду заняться поисками Амундсена. Организующаяся в Америке воздушная экспедиция к северному полюсу Макмиллана намерена изменить свой план, посвятив себя поискам Амундсена со стороны Земли Гранта. Предполагает организовать спасательную экспедицию Гаммер, соратник Амундсена по неудавшейся воздушной экспедиции 1922 г. Сообщают также о намерении американского морского министерства направить для поисков Амундсена один из дирижаблей («Лос-Анджелос» или «Шенандоа»).

Но все эти сообщения не имеют еще пока под собой достаточно твердой почвы.

Переоценка ценностей в современной патологии.

Проф. О. И. Бронштейн.

Природа — сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней...
Тютчев. (1870 г.)

Мы привыкли говорить о «загадках природы», «загадках жизни», о «мировых загадках». И привыкли думать, что естествоиспытатели именно тем и занимаются, что «испытывают» природу, выпытывают у нее одну тайну за другой и, удовлетворительно раз навсегда разрешив одну задачу, переходят к следующей. В этом-де и заключается прогресс науки.

А вот, по мудрому слову старого прозорливого поэта, у природы, пожалуй, никакой загадки «нет и не было»...

Зато другие (не поэты, ученые), можно сказать, по пальцам могли эти загадки перечислить, как это сделал, например, Геккель. Дюбуа-Реймон свои семь загадок просто об'явил неразрешимыми — «ignorabimus», вечно будем оставаться в неведении. Гениальный Эйнштейн, наоборот, сразу разрешил едва ли не все, по крайней мере, главнейшие — из области междупланетного пространства.

Думается, суть здесь именно в подходе к явлениям природы. Слишком уж отзывается отжившим витализмом представление о природе, как о сфинксе, противопоставляющем пытливому человеку с его арсеналом научного исследования какой-то запас нарочитых шарад и ребусов. И с другой стороны, наш современный, единственно правильный, материалистический подход к пониманию жизненных явлений нередко грешит чрезмерной, если можно так выразиться, статичностью. А между тем, что может быть динамичнее природы, где поистине «все течет» — от небесных тел до электронов? Учитывая эту вечную динамику, мы и должны время от времени пересматривать накопившийся научный багаж во всех областях знания, сдавать в архив обветшалые гипотезы, хотя бы они имели вид установившихся «законов», создавать новые «рабочие гипотезы» применительно не только к новым точкам зрения на вновь добытые факты, но и к тем перестройкам, которые беспрерывно совершаются вне и внутри нас.

В современной научной медицине со всем обширным арсеналом так называемых вспомогательных и смежных дисциплин тоже происходит эта своеобразная переоценка ценностей, и с некоторыми выводами и достижениями ее мы и хотим познакомить читателя.

Намеченные нами вопросы затрагивают, по преимуществу, область патологии, этой истинной философии медицины, и неразрывно с ней связанной микробиологии — науки, в сущности, общебиологической, а не узкомедицинской, но в то же время составляющей настоящую базу современной медицины.

Обширный мир микроорганизмов еще первых заглянувших в него в конце XVII века исследователей поразил именно своею обширностью и разнообразием видов. Левенгук называл его «чудесным миром» (mundus mirabilis), а знаменитый Линней (в 1767 г.) дал ему пренебрежительное имя chaos и даже запрещал своим ученикам заниматься микроскопированием, «дабы не нарушить воли творца, пожелавшего навеки скрыть от человека вещи, недоступные его слабому зрению».

Это не могло не отразиться на взглядах последующих поколений ученых. И характерно, что те ботаники (Негели, Цопф и др.) и медики (Билльрот и др.), которые первыми пошли за великим Пастером в неизведанные дебри вновь открытого мира микробов, были плеоморфистами: для них не существовало в этом мире бесконечно-малых живых существ того постоянства видов, которое было установлено в биологии железным законом Кювье со всеми поправками, внесенными в него Дарвином и Уолессом. Может быть, именно потому, что существа эти крайне ничтожных размеров, они были для этих «отцов» современной микробиологии, так сказать, «все на одно лицо».

Не принимались в расчет не только несущественные (с точки зрения тогдашних несовершенных оптических инструментов) морфологические отличия между отдельными представителями микроорганизмов, но даже и биологические. Так, возможность перехода одного болезнетворного микроба в другой, со всею суммой патогенных свойств, считалась вполне допустимой. Кох в начале 80-х годов прошлого столетия положил решительный конец этим шатаниям мысли, по крайней мере, в сфере медицинской бактериологии. Точными лабораторными приемами так называемых разливок на твердых питательных средах, на которых здесь останавливаться не место, этот знаменитый ученый научил нас получать любой микроб в пробирке в изолированном состоянии, в чистой культуре и установил таким образом специфичность видов в микробиологии. Холера вызывается только одним — единственным, ей исключительно присущим, вибрионом; чума — своим бациллом, чахотка — своим. Один вид в другой не переходит никогда, и это незыблемо также и для возбудителей таких микробных процессов, как брожение, гниение и т. п.

Учение о специфичности и строгом постоянстве микробных видов, которое не совсем правильно называется иногда мономорфизмом (очевидно, в противовес плеоморфистам 70-х годов), стало доминирующим в нашей

науке. Именно на этой платформе только и могло развиться то стройнс целое, которое представляет собою современная микробиология со всем ее разветвлениями и блестящими достижениями в области распознавани: лечения и предупреждения заразных болезней.

Однако наблюдались то и дело факты противоположного свойств: т.-е. говорившие за возможность перехода видов и уж во всяком случа за изменчивость некоторых биологических их свойств.

Правда, это касалось в большинстве случаев несущественных призна ков, не выходящих из рамок лабораторного опыта. Сюда относятся наблюс дения над колебаниями пигментообразования у цветных микробных ра в зависимости от изменения внешних условий, опыты с получением неспорс образующих пород сибиреязвенных бацилл под влиянием нагревания и некс торых химических реагентов, морфологические варианты в биологически однородной группе так назыв. Bacillus Proteus и пр. Но было кое-что и по су щественнее. Если заявление Бухнера о том, что он перевел совершенн невинный сапрофит «сенной бацилл» в чрезвычайно вирулентную палочк сибирской язвы, встречено было всеобщим недоверием и не оставило ни какого следа в науке, то уж никак невозможно было игнорировать тако факт, что возбудитель натуральной человеческой оспы, пройдя через организ коровы, превращается в совершенно иную разновидность с новыми свой ствами — так назыв. вакцину.

Все эти, и им подобные, наблюдения и опыты, казалось, только под тверждали закон специфичности и, во всяком случае, не находили себ об'яснения по тогдашнему состоянию науки. Так дело шло до начала на стоящего века, когда появилась знаменитая работа де-Фриза «Учени о мутациях» (1902 г.). Здесь впервые почти, с ясностью и определенностьк на многочисленных примерах, главным образом из области высших растений было доказано, что «природа делает скачки». А между тем ранее считалос совершенно незыблемым как раз обратное положение: natura non facit saltus Мы и сейчас еще далеки от проникновения в материалистическую сущност этого явления, названного де-Фризом «мутацией»; ясно лишь, что он стоит в тесной связи с менделевским учением, резко изменивши взгляды ученых на наследственную передачу свойств организма.

Само собою напрашивалось перенесение учения о мутациях на ми микробов. В самом деле: если принять, что какой-либо микробный индиви дуум дает за 24 часа 48 последовательных поколений — при условии повто ряющегося деления каждые полчаса, — то это даст материал, равноценны тому, который накопится в роде человеческом лишь через 1½ тысячи лет Принимая средний производительный период у людей в 30 лет, мы увидим что у микробов он в 22.000 раз короче. Трудно найти более подходящи об'ект для изучения именно случайно, толчкообразно происходящих измене ний, да и вообще явлений из области генетики. Напомним еще, что идиоплазма (носительница наследственных свойств) у микробов еле покрыт плазмой соматической и потому весьма доступна всякого рода внешним воз действиям.

Впервые в микробиологии слово «мутация» было произнесено бактериологом Максом Нейссером, который в 1906 г. нашел новую разновидность обычно-кишечного бацилла и так и назвал его Bacterium Coli mutabile. Здесь еще можно было спорить на тему о том, истинная ли это мутация — в смысле закрепления внезапно происшедшего изменения в самой структуре палочки и необратимости приобретенных признаков? Ведь сейчас биологи, особенно посвятившие себя этой новой отрасли — генетике, — весьма тонко отличают мутации (как раз по их внезапности и необратимости, что говорит за глубокие изменения в самом генотипе) от модификаций или аккомодаций, т.-е. постепенных и обратимых трансформаций фенотипа... Здесь выработалась уже обширная и довольно путаная номенклатура — мы не будем забрасывать читателя чуждыми терминами.

Как мы уже говорили, вполне естественно ожидать всей этой суммы явлений вариабельности именно от микроорганизмов. Уже давно мы знаем о функциональной зависимости их биологических свойств: колебания температуры, приток кислорода, состав питательной среды и пр. тотчас же отзываются на разных физиологических функциях микроба, включая сюда и особо важные для нас в индустриальном и медицинском отношениях способности вызвать брожение и заразные болезни. Раз удалось вызвать мутации одному ученому и у одного бацилла, то как не попытаться и другим? Взялись за это дело, и получили, действительно, варианты и мутанты едва ли уж не у всех микробов, особенно болезнетворных. Выработались и специальные лабораторно-технические приемы для этого.

Словом, современное положение этого вопроса таково. Довольно легко удается получить у микробов, преимущественно у представителей некоторых определенных групп, культуры с новыми признаками. Большей частью это все же так называемый минус-варианты, т.-е. лишение вида того или иного свойства — скажем, сбраживать определенный углевод, отзываться на известное раздражение и т. п. Но отмечены и плюс-варианты, что представляет совсем исключительный интерес. Ведь если, например, холерная запятая может быть лишена ряда своих свойств (и, между прочим, особенно легко как раз патогенности) и тем превращена в совершенно невинный, сапрофитный микроб, то этот факт, при всем своем огромном научном значении все же не выходит из рамок лабораторного опыта. И этих опытов уже проделано множество. «Переводят» близко стоящие друг к другу биологические разновидности одну в другую: дизентерийные в псевдо-дизентерийные, тифозные в паратифозные и кишечные, дифтерийные в дифтерийноподобные и т. д. — не стоит нагромождать частные и мало понятные примеры. Но вот вопрос: возможен ли обратный переход? И особенно: возможно ли перевести вид неболезнетворный в патогенный? Вспомним пример Бухнера: страшная тревога поднялась в научно-медицинском мире по поводу его заявления о полной идентичности палочек сибирской язвы и так назыв. «сенной» (Bacillus subtilis), да и было от чего. Эти микробы, принадлежа к одной биологической группе (так назыв. антракоидов), до неузна-

ваемости сходны между собою по множеству признаков морфологическ и физиологических.

Одного лишь не хватает сенному бациллу, чтобы стать сибереязв ным — способности вызывать сибирку у животного. Ну, а вдруг Б у х н прав? И если такая зловредная (с нашей, человеческой, точки зрения) му ция возможна здесь, то чем гарантированы мы, что она же не мож произойти и с остальными микробами? Нужно знать, что роковое сходст исключая только специфическую болезнетворность, это, если можно т выразиться, фамильная черта у микроорганизмов. Дифтерийная палочка име своего «двойника» в псевдодифтерийной, холерные запятые схожи с холер подобными, многочисленные представители так назыв. кишечно-тифозн группы могут быть распознаны между собою иной раз лишь с помощью то ких лабораторных приемов, какие-нибудь «воздушные кокки» до неузн ваемости напоминают грозных возбудителей нагноений, рожи, родильн горячки и т. д. и т. д. А что, повторяем, если вариабельность всех их пр стирается настолько, что сюда включается и патогенность? В условиях лаб раторного эксперимента, как уже сказано нами, достигнуто в этом направл нии весьма многое, и «перевод» близких между собою видов совершает бактериологами постоянно, хотя и не весьма легко. Нужно все же по черкнуть здесь снова, что через этот роковой порог — болезнетворность никому еще перешагнуть не удалось покамест. Имеются отдельные указа ния, правда, но они весьма и весьма нуждаются в проверке и подтверждени со стороны признанных авторитетных ученых. А те доселе еще стоят на точ ке зрения строгой дифференцировки видов в этом смысле. Но нужно опять таки не забывать, что переживаемое нами время особенно замечательн своего рода переоценкой ценностей в этом именно отношении. Еще совсе недавно мы пережили форменную революцию с радиоактивными веществами при чем стерлись грани между химическими элементами, и переход одног в другой считается ныне вполне естественным. Германский ученый Г о т ш л и х говорит, что недалеко то время, когда современные микробиологи будут своими преемниками сравниваться с средневековыми алхимиками которые мечтали о превращении элементов, страстно в него верили, но и в сне им не снилось того, что для нас уже аксиома. Но есть и больше аналогий между «мертвым» миром химических элементов и живыми организмами, как микробы. Первые тоже имеют своих двойников. Это так назыв. изотопы: современные химики утверждают, что нет, например, одной меди, а их две — с определенными отличиями между ними, вроде атомного веса; есть два свинца, два никкеля, два хлора, от семи до девяти ксенонов и т. п. А главное, и здесь возможны вариации и мутации. Более того, достигнута особая химическая таутомерия, когда вещество приобретает, путем искусственной обработки, некоторые новые свойства; это известно уже в области белковых веществ (так назыв. иодированные, метилированные и т. п. белки). А отсюда недалеко подойти к живой протоплазме и планомерно вводить в ее структуру произвольные изменения путем воздействий строго физико-химического характера.

Но вернемся к нашим микробным мутациям. Раз мы приемлем «минус-варианты» в условиях эксперимента и в окружающей природе, раз имеются (хотя бы еще и не вполне достоверные) указания на то, что мыслимы и плюс-варианты, то вполне логично допущение, что в природе может создаться такая комбинация условий, при которой вполне невинные микробы внезапно приобретут болезнетворные свойства. Всякому ясно, какими последствиями все это чревато... Но скажем тут же, что доселе не зарегистрировано с точностью ни единого случая возникновения какой-либо эпидемии, где не удалось бы установить путей переноса, завоза, вспышки заглохнувших ранее заболеваний и т. п. Так, ни чума, ни холера, ни прочие такого же рода «экзотические» эпидемии никогда не встречаются в странах европейских без того, чтобы прямым или посредственным контактом с больными людьми или животными или же зараженными предметами, пищевыми продуктами и т. д., и т. д. не была передана зараза. Тифы паразитарные (сыпной и возвратный), тиф брюшной, дизентерия, скарлатина, корь и др. эндемичные болезни всегда с нами, всегда где-нибудь да тлеют отдельные их очаги или индивидуально болеют ими люди и животные, даже насекомые — в случае тифов паразитарных — вши, для малярии — комары и пр. в этом роде.

Тем не менее, по этому поводу уже возникают недоумения тревожного свойства, благодаря все более утверждающемуся в нашей науке учению о вариабельности микроорганизмов. Так, известный ученый Колле приводит ряд примеров возникновения обширных эпидемий, где не удалось напасть на след их вторжения извне. Даже сама страшная азиатская гостья,— холера, впервые появилась и совершила свое первое победоносное шествие по Европе в 1805 году, а до этого о ней даже в Индии не знали, и вообще в медицинской науке не существовало такой самостоятельной заразной болезни.

Таково же загадочное происхождение жесточайшей пандемии гриппа, которая, в 1918 — 19 г.г. прокатилась по всему миру. Новая ли это болезнь «испанка», как думают некоторые ученые, или небывалое до тех пор по силе обострение вирулентности инфлуэнцного возбудителя? На этот вопрос пока ответить нельзя, но и то и другое, и вообще примеры подобного рода, скорее всего, относятся к области явлений мутации.

Последнее военное десятилетие дало и еще не один такой пример появления якобы новых болезней. Вот, хотя бы, летаргический энцефалит (называемый, простоты ради, иногда также сонною болезнью — по этому яркому признаку); эпидемиологи очень затрудняются сказать, был ли он известен ранее под каким-либо иным видом и теперь лишь стал чаще встречаться, или же это в самом деле внезапно возникшая мутация?

Однако тот же Колле остерегается в этом вопросе ставить точку над i, а, наоборот, особенно энергично подчеркивает, что никому и никогда наверняка не удалось строго сапрофита (безвредного микроба) перевести в паразита, и нет пока оснований опасаться самопроизвольного возникновения этого феномена в природе.

Успокоимся пока и мы на этом выводе авторитетного ученого. Но С дем все же помнить, что учение о строгой специфичности и обособленнос видов подорвано как в микробиологии, так и в протозоологии (мы, краткос ради, избегали приводить примеры из этой области, но их скопилось то: не мало). Вариабельность организмов это, по всем данным, такой же «зак природы», как и всякий иной, и так же точно и этот феномен в основе сво имеет физико-химическую базу. Но в настоящий момент наука стоит еı только на пороге исследования явлений этого рода. И насколько физи и химики далеки пока от фактической власти над элементами, настолы и микробиологи, при всех своих лабораторных удачах, бессильны сейч создать новый патогенный вид.

Как бы то ни было, памятуя вечную динамичность природных явлени вечное превращение материи и круговорот вещества; видя, что живı существа — все равно, животного или растительного царства — подвержеı тому же закону, мы должны понимать, что тем более должен этот зак выявлять себя на таких чувствительных к вариабельности организма низших растительных одноклеточных, как микробы. И тогда учение о спец фичности микробных видов представится нам искусственным нагроможд нием своего рода сословных перегородок, переход через которые для микр бов, правда, труден, но не невозможен. И если он не совершается, что наз вается, походя, то все же мутации могут наступить и не только в услови лабораторного опыта, в пробирке бактериолога, но и самопроизвольно · в природе, в воде, в почве, внутри организма человека и животных. Если › пробита такая брешь в прежнем учении о строгой специфичности микробс то надо сделать из этого и все дальнейшие логические выводы.

Суть в том, что не одна лишь микробиология, как наука о бактерия заинтересована в этом. Принцип специфичности пропитывает собою наце всю нашу патологию (преимущественно в области инфекций); все учен о невосприимчивости, вся эпидемиология, вся, наконец, борьба с болезня и все дело охраны здоровья трудящихся построены на нем. Стоит толы представить себе, во что превратились бы все наши противотуберкулезні мероприятия, если бы любой микроб (или даже хоть и не любой, но из бл жайших родичей туберкулезной палочки; а их не мало) мог завтра же пр делать мутацию и одним скачком превратиться в гибельного коховско бацилла!?

И, действительно, медицина по сей день борется с каждым болезн творным микробом индивидуально, чуть не персонально. Наши лечебн сыворотки действуют только против того микроба, с помощью которого о изготовлены. Иммунизируя лошадей ядом дифтерийного бацилла, мы получа из их крови сыворотку, которая лечит весьма успешно исключитель дифтерийных больных. Итак, во всех остальных сыворотках — приме| излишни. Еще более изощренной, тонкой специфичностью обладает влиян на организм микробных продуктов, вроде токсинов и т. п. Возьмем, напр мер, туберкулин: он в тысячных и стотысячных долях кубического сант метра вызывает на кожной царапине характерные реактивные явления толы

при существовании где-либо в теле туберкулезного гнезда. Примеров этого рода множество, и, повторяем, только строжайшая специфичность позволяет современной медицине с таким успехом проводить в жизнь свои мероприятия по распознаванию, лечению и предохранению от болезней. Знаменитым бактериологом Эрлихом, имя которого известно всему миру хотя бы по сальварсану, было предложено в свое время чрезвычайно удачное образное сравнение для выражения этой строгой специфичности в области вакцинотерапии, а также серотерапии, химиотерапии и т. д. Он говорит, что яд микробный и соответствующее противоядие предохранительного или лечебного характера должны подходить друг к другу, как ключ к замку.

Правда, давно уже стали подмечаться факты, говорящие, что одним ключем можно отпереть несколько замков, или же, что несколько ключей подходят к одному замку. Например, сообщалось о прекрасном действии на дифтерийных больных нормальной сыворотки здоровых лошадей (где нет никакого антитоксина), об успешном действии на сибирскую язву сальварсана (предназначенного против сифилиса и сродного ему по характеру возбудителя возвратного тифа) и т. д. в этом роде.

Однако все это регистрировалось, как исключения, лишь подтверждающие правило. Как будто именно не исключения эти и расшатывают в конце концов самое правило...

Но вот уже несколько лет, как и в этом отношении в законе специфичности пробита серьезная брешь, и ныне среди широкой публики довольно большой известностью пользуется лечение молоком.

Обыкновенное коровье молоко, разумеется, свежее, доброкачественное и освобожденное от всех микробов нагреванием (стерилизованное), впрыскивается людям при самых разнообразных заболеваниях. Употребляют и всякого рода препараты молочного происхождения под всевозможными названиями, но суть везде одна и та же: вводить больному белок «чужеродного» (как мы выражаемся на своем неуклюжем научном языке) происхождения, т.-е. нечеловеческий белок. Что же при этом должно получиться? Несомненный терапевтический эффект, действие на болезненный очаг, особенно инфекционного и воспалительного характера, вплоть до выздоровления, наступающего быстрым и решительным поворотом к лучшему, обыкновенно уже после двух-трех первых ин'екций молока — их приходится повторять. Это лечебное действие сопровождается кое-какими побочными явлениями: болью (скоро проходящей) на месте впрыскивания, повышением (тоже) температуры и (это особенно интересно и приятно для больного!) быстро наступающим резким повышением самочувствия, бодростью духа. Как водится, на вновь предложенное лечебное средство, набросились врачи всех специальностей, и сразу же накопилось масса наблюдений, которые почти все в один голос говорят за прекрасное лечебное влияние молока на самые разнохарактерные болезненные процессы. Видели быстрое исцеление разных глазных страданий и заразных болезней, и накожных, и хронических язв, и опухолей и пр.

Как водится, опять-таки схлынула волна увлечения, но осталась опі деленная область заболеваний, где молоко при подкожном введении, несс ненно, помогает организму быстрее справиться с патологическим процесс Как действует при этом молоко, — вернее, его белок, — мы и по сей де не знаем. Множество предложено теорий, из них наибольшим признани пользуется теория так назыв. «активирования протоплазмы» Вей гардта — в сущности туманное название, ничего нам не уясняющ

Но каков бы ни был этот загадочный механизм действия молока, важ то, что это уже отнюдь не специфическое влияние. Один только перече тех болезней, при которых применяли (и успешно! и продолжают применят эту лактотерапию, занял бы не одну страницу. Это, стало быть, уже не ин видуальный ключ к замку, а скорее отмычка, ко всем замкам приложим Кроме того, и отмычек-то множество. Суть вовсе не в коровьем моло и не в молоке в целом, как мы уже говорили, а в его белке, чужд по химизму белкам человеческим. Но в таком случае можно применять и вс ческие другие белки — куриный (яичный), лошадиный (сывороточны и проч. и т. д. Опыт показал, что это, действительно, так и есть, и лактотер пия уже теперь раздвинула свои рамки до пределов протеинотерапии в сам широком смысле этого слова. Протеины — это белки. Мало того, в н стоящее время все больше сторонников приобретает стремление об'ясня едва ли не все наши лечебные мероприятия именно с точки зрения эт протеиновой теории. Говорят, например, что польза разных лекарственн веществ и физических методов основывается косвенным образом на действ белка, но на сей раз уже белка человеческого и даже, так сказать, перс нально принадлежащего самому больному. Если, скажем, светолечением и рентгеном, или еще как-нибудь иначе, мы помогаем успешному хо выздоровления, это значит, что мы разрушили в организме немного бел (как раз нестойкого, болезненно-измененного), а всасыванием его и произв ден лечебный эффект. Высокая температура при многих болезнях, это-де т же самое: при лихорадочном состоянии белки разрушаются и т. д. — по пр дыдущему. Вот об'яснение несомненного благоприятного действия поднят температуры при многих заразных болезнях.

Будущее, конечно, покажет, сколько здесь имеется увлечения и скольк истины — сейчас нас занимает другое. А именно, мы видим и на этом пр мере, как принцип строгой специфичности сходит на-нет... Значит ли эт что потеряли все свое значение прежние наши специфические методы борьб с заразными и другими болезнями. Отнюдь, конечно, нет! И всякие лечебн сыворотки, предохранительные прививки и лекарственные вещества из ра ряда так назыв. химиотерапевтических остаются в силе по сей день. Мал того, в последние годы как раз арсенал их расширяется, число множитс и специфическое воздействие на строго определенный об'ект (яд данно микроба, комплекс клеток организма) все более и более утончается и уто няется. Мы научились бить почти без промаха по спирохете сифилиса нове шими препаратами мышьяка и висмута, приготовлять высоко-активные сыв ротки против отдельных разновидностей дизентерийных бацилл, менингоко

ков, массово предохранять детское население от дифтерии и скарлатины и т. д. Стало быть, специфичность торжествует на всех фронтах. Но именно на фронтах боевых. В тиши же (как почему-то принято выражаться) лабораторий и кабинетов идет та же переоценка ценностей, что и в химии, и в физике, и в общей биологии.

Мы никак не можем и не должны увлекать читателя в дебри фактического материала, который собран представителями разных наук, биологических и смежных с ними, по интересующему нас вопросу. Но и приведенных нами данных, пожалуй, окажется достаточно, чтобы убедиться каждому в правильности нашей точки зрения на совершающийся на наших глазах «сдвиг» в современной биологии вообще, а в учении о микроорганизмах (опять-таки со смежными медицинскими разветвлениями) — в частности. Эту точку зрения можно вкратце формулировать так. Уже давно стал совершаться и ныне, пожалуй, подходит к концу процесс переоценки ценностей, накопленных по вопросу о специфичности, о устойчивом равновесии в постоянстве видов, о дифференцировке микроорганизмов, о вариабельности их. Следует считать твердо установленной возможность микроорганизмов резко мутироваться, т.-е. внезапно, под влиянием воздействий, иной раз неуловимых даже в условиях лабораторного опыта, изменять некоторые свои биологические свойства в сторону как минуса, так и плюса. И это со всеми вытекающими отсюда последствиями для патологии, гигиены и профилактики. Так как этому новому, сравнительно, принципу отнюдь не противоречит переоценка ценностей, уже произведенная в области физики и химии, и повлекшая за собой грандиозный расцвет этих наук в прикладном отношении в связи с неслыханным теоретическим их углублением, то можно смело предсказать, что и в области микробиологии она, едва начавшись, должна будет также повести к крупнейшим переворотам.

Сфера микробиологии, в которую входит изучение так назыв. низших одноклеточных растительных организмов с их идеальной простотой структуры и биологических свойств, всегда служила своего рода мостом, переходом к широким биологическим обобщениям. Более чем соблазнительно воспользоваться таким удобным для наблюдения и опыта об'ектом и ради подхода к извечным вопросам о наследственности, о жизни и смерти. И разве мы не видим, что само возникновение микробиологии, как науки, было в сущности разрешением огромного вопроса о самозарождении? Великий П а с т е р постарался постановкой ряда чрезвычайно простых опытов с «бесконечно малыми» существами (как он любил их называть) опровергнуть учение его предшественников и современников о самопроизвольном зарождении жизни. Мы знаем, какую блестящую победу он одержал в споре с П у ш е, знаменитым «микрографом» того времени и его сторонниками, как ему была присуждена (в 1862 г.) премия Академии Наук в Париже за это открытие, по тому времени поистине революционное. Не мало любопытных деталей об этом историческом моменте можно прочесть в известной статье Писарева «Подвиги европейских авторитетов», где, впрочем, наш талантливый критик жестоко провалился, став на сторону приверженцев самозарождения... Но так

или иначе, пастеровское учение торжествует с той поры самым непрелож образом. «Все живое от живого» — его лозунг. Ни одно живое сущес (в том числе и микроорганизмы) не возникает из мертвого субстр но только из себе подобного. Вся современная биология насквозь пропит этим принципом, без которого немыслимо было бы последовательное р витие, в частности, и медицинских наук.

Но известно также, что сам великий творец учения о «панспермı (так называют французы теорию, противоположную абиогенезу, т.-е. рождению из неживой материи) в виде отвлеченной предпосылки вполне пускал самозарождение тех же микроорганизмов, но лишь отрицал его « совокупности наличных условий на нашей планете».

Мы не предполагаем вводить в рамки настоящей статьи еще и изло ние вопроса о происхождении жизни на земле — это завело бы нас слиш далеко. Скажем лишь, что и в этом отношении происходит переоценка ц ностей и началась она почти одновременно с пастеровской революци Еще в 1865 г. Рихтер утверждал, что мельчайшие зародыши (может бь споры тех же микробов) переносятся с космической пылью, уже на р стоянии ста верст от земной поверхности притягиваемой электрическı разрядами в земной атмосфере. Мы знаем и еще более красивое построеı Аррениуса и Оствальда, по которому зародыш жизни (опя таки все сходятся на том, что это должны быть микробы, либо их спо| переносятся на землю из заоблачных сфер давлением световых лучей, крытым знаменитым московским физиком Лебедевым. Словом, куда ни произвести «сдвиг» в задаче зарождения жизни, где-то все же должна (зародиться впервые. И тогда, конечно, субстратом ее возникновения долж быть так назыв. мертвая материя — органическая, но не организованн И. И. Мечников, горячий адепт Пастера, вполне убежденный, условий для самопроизвольного зарождения живых микробов ныне в прир(не существует, допускает, однако, в виде предположения, что со времеı может быть «открыт способ выращивать какие-нибудь первобытные ор низмы в искусственной среде». Характерно здесь указание, что организ должны быть «первобытными» — другими словами, примитивно просты по устройству и жизненным отправлениям, а среда, т.-е. окружающие ус вия, должны быть созданы искусственно, — приспособлены к заданиям экс рimента. Мы знаем опять-таки, как множество раз пытались ученые осуı ствить эту смелую мечту, но создавали лишь более или менее удачн модели, правдоподобно имитировавшие феномены движения, роста, да отчасти питания и размножения низших одноклеточных, вроде амёб. Ник не признавал их за амёб настоящих, ибо, прежде всего, для искусствен создаваемых существ они слишком сложны.

Но в наше время — время разложения атома, синтеза белков и уг водов (вспомним синтез пропептидов Фишера, формальдегида Бе ем), время перехода элементов и мутации организмом, время радиı Особенно на радий весьма серьезные ученые смотрят, как на источник эне гии, способный просто на просто, если позволительно так выразиться, «мут

ровать» мертвую материю в живой организм. Так еще в 1905 году англичанин Бёрк описал «радиобы», появившиеся у него в стерилизованной желатине с радием через 24 часа — 14 дней влияния последнего. Эти опыты с успехом повторил Вудхед; у него эти радиобы даже размножались и могли переноситься из одной пробирки в другую, подобно прививкам микробных разводок. Ни тот, ни другой не видели ясно формы и структуры своих «радиобов», которые, сказать кстати, все же потом были развенчаны Рамзеем и др.

Но нужно ли непременно видеть оформленные существа, чтобы признать их существование? Как раз последнее время микробиологи весьма заинтересованы именно микробами, находящимися на границе, верней будет сказать, даже — за границей видимого. Раньше всех, еще в 1892 году, русский ботаник Ивановский открыл их при особой «мозаичной болезни» табачных листьев, а с тех пор при многих болезнях человека и животных стали считать специфическими возбудителями эти невидимые в микроскоп «вирусы». Чума рогатого скота, анэмия лошадей, бешенство, оспа, корь, скарлатина и еще много др. — вот краткий перечень подобных болезней с невидимыми вирусами. Их не видят, но с ними свободно оперируют в лаборатории, перевивая с одного животного на другое, размножая на искусственных средах и т. д. Их не видят, так как размеры их, предположительно, менее длины световой волны, и они свободно проходят через мелко-пористые фильтры, задерживающие микробы обычной величины. Оттого их называют еще фильтрующимися вирусами.

Но если эти фильтрующиеся вирусы, по мнению некоторых, еще только представляют собою особую фазу развития более крупных, уже видимых (хотя не всегда уже открытых) организмов, то известны в настоящее время и такие, в самом существовании которых сомневаться не приходится. А причислить их к живым существам тоже не все решаются... Мы говорим о так называемых «бактериофагах» Д'Эрелля. Этот ученый в 1918 году показал, что в особых жидкостях (сперва это были вытяжки из слизистой кишечника и испражнений дизентерийных больных, потом и других, потом в воде, теперь и во многих местах живых организмов и окружающей природы) можно обнаружить присутствие своеобразной жизни. Для этого нужно жидкости эти пропусканием через мелко-пористые фильтры освободить от всех микробов, а затем каплю такого, совершенно стерильного, процеда добавить к той или иной культуре микробов. Оказывается, что микробы в этой разводке начинают растворяться, а затем это же действие можно обнаружить и в дальнейших переносах жидкости уже после растворения ею бактерий из одной пробирки с культурой в другую, свежую, такую же. Словом, получается своего рода заражение микробов каким-то невидимым ядом (вирусом то ж), который их уничтожает (отсюда название «бактериофаг»), паразитируя на их теле. Само собой разумеется, видеть эти бактериофаги не удается даже при самых сильных увеличениях микроскопа, но изучили их уже весьма хорошо. Даже стали применять с лечебной целью и строить на этой базе разные теории в патологии заразных болезней.

Но что же это за своеобразные существа, какие-то микробы микроб
Мы и отдаленного представления об этом не имеем, все учение о бактер
фагах лишь теперь разрабатывается, и предстоит узнать не мало неожид
ного. Но всеми признается сейчас факт существования какой-то осо(
формы жизни живых существ, резко отличных от всех доселе известн
представителей животного и растительного мира. Почему им не быть эти
«пробионтами»?

Главное в том, что при всей этой переоценке ценностей едва ли не
всех фронтах биологических и физико-химических отраслей знания мы ве:
стоим на твердой почве действительных фактов. Нет ни одной гипотезы, к
торая не подверглась бы тотчас же критической проверке помощью точнейш
современных лабораторных методов. Вот почему гипотезы эти столь риск
ваны — на старый масштаб, конечно.

Наука смело атакует казавшиеся ранее неприступными вопросы мир
здания, отбросив туман виталистических толкований и заменив его строг
материалистическим подходом. В этом залог того, что будет неког
сорвано покрывало Изиды, под которым «загадки нет и не было»...

История кровавого террора в Болгарии.

Г. Димитров.

Чудовищный и позорный по своей недоказанности и тенденциозности приговор по делу о взрыве в Софийском соборе и варварская публичная казнь через повешение невинно приговореных на площади собора при гнусном сренезековом церемониале, освещающие ярким светом всю бесцеремонность и свирепость существующего террористического режима в Болгарии и бросающие новый свет на истинную, мизерную, подлую и кровожадную природу болгарской буржуазии и ее социал-демократических помощников.

И, действительно, болгарский террор вовсе не обыкновенное явление. Хотя он отражает собою общее наступление буржуазной реакции во всем капиталистическом мире, этот террор существенно отличается как по характеру своему, так и по своим методам и размерам от террора в Румынии и Юго-Славии, в Италии и Испании, в Венгрии, Польше, Эстонии и во всех других странах.

Сущность террора в Болгарии заключается, прежде всего, в систематическом, организованном физическом истреблении авангарда рабочего класса и крестьянских масс. Впервые в новой политической истории народов буржуазия, как господствующий класс, не довольствуется только лишением народных масс их элементарных прав и свобод, но и пытается уничтожить революционное рабоче-крестьянское движение посредством массового истребления сознательнейшего политического актива и руководящей части трудящегося народа, используя для этой своей адской цели государственный аппарат, находящийся в ее руках. Это уже не отдельный акт насилия и ограничения, а целая система обезглавления и обескровления рабочих и крестьянских масс, чтобы лишить их этим путем — если не навсегда, то хотя бы на долгое время — способности бороться за завоевание власти и организацию производства и общества на социалистических началах.

Ставя себе такую цель, болгарский террор характеризуется в то же время неслыханными свирепостью и варварством и непревзойденным садизмом, которые буржуазия и ее правительство, во главе с генералами и профессорами, проявляют по отношению к трудящимся массам.

Чем, собственно, можно об'яснить эти особенности террора в Болгарии? Конечно, они не случайны, как ничто в человеческой истории не было

и не делается случайно. Их об'яснение кроется в ряде исторических, поли ческих, экономических и социальных причин.

Прежде всего, нужно иметь в виду, что главный и руководящий с болгарской буржуазии, которая не достигает даже 5% населения всей стра происходит из среды старых ростовщиков и торговцев, которые во вре турецкого владычества являлись агентами и посредниками турецких влас в эксплоатации и угнетении болгарского трудящегося населения. Этот б жуазный слой был пропитан до мозга костей иезуитской подлостью и тур ким варварством, господствовавшими в старой Турецкой империи.

Как известно, буржуазия в других странах, в частности в Англии и Фр ции, достигла своего господствующего положения посредством продолжите ной борьбы и революций против абсолютизма и феодализма, опираясь за эт период на широкие народные массы. Болгарская буржуазия, наоборот, с лалась господствующим классом в стране не при помощи подобной борь К национально-революционному движению против турецкого режима, рук водительницей которого являлась народная интеллигенция и которое опи лось на крестьян и ремесленников, буржуазия относилась отрицательно предательски. Великие болгарские революционеры Ботев и Левский сде лись жертвою именно предательства болгарских «чорбаджи» (богачей), лаке султана и турецких пашей. Болгарская буржуазия получила власть и св господствующее положение просто в виде подарка из рук царской Росс после русско-турецкой войны 1877 г. Не ведя никогда никакой революцио ной борьбы, не имея никаких революционых традиций, она не только бы оторвана от народных масс, но и всегда относилась к ним с недоверием, пр зрением и враждебностью. На болгарский народ она смотрела лишь к на об'ект эксплоатации и грабежа, как на орудие достижения сових эгоист ческих целей и как на разменную монету в своих сношениях с турецким властями раньше и с империалистическими державами после создания сам стоятельного болгарского государства.

К тому же болгарская буржуазия достигла своего материального бл гополучия не путем творческой деятельности в области промышленност не путем развития производительных сил страны, а путем хищнического огр бления трудящихся масс и, главным образом, путем ограбления крестьянско населения, всегда при неизменном содействии со стороны государственно власти и непосредственно пользуясь государственной казной. Главным исто ником ее обогащения являлись тяжелые налоги на народные массы, торгов и спекуляция продуктами сельского хозяйства, государственные займ и выгоды, извлекаемые ею в виде комиссионных за услуги в деле подчинени Болгарии великим державам в их империалистических стремлениях на Ба канах.

В продолжение 25-летнего царствования Фердинанда — этого коро нованного агента австро-германского империализма — воровская до мозг костей и неспособная к самостоятельной промышленной деятельности бол гарская буржуазия направила свои аппетиты на богатые балканские области Македонию и Фракию и к установлению своей гегемонии на Балканах. Эт

тогда вполне отвечало как властолюбивым намерениям царя Фердинанда, так и завоевательным стремлениям его патронов в Вене и Берлине.

Для целей именно этой завоевательной политики, представляемой всегда перед болгарским народом, как политику «национального об'единения болгарского племени» и «освобождения порабощенных братьев-болгар в Македонии и в Фракии», болгарская буржуазия, под руководством Фердинанда, создала совершенно невыносимый в стране милитаризм и готовилась всесторонне к войне против Турции, в руках которой находились тогда эти области.

И, действительно, в 1912 г. в союзе с Сербией и Грецией, под патронатом царской России, была об'явлена известная балканская война против Турции. Турецкая армия, враждебно встреченная местным населением, была быстро разбита. Македония и Фракия были очищены от турецких войск. Болгарские войска дошли до Чаталджи у самых ворот Константинополя. В своем опьянении победой царь Фердинанд и болгарская буржуазия вообразили, что настал момент для установления гегемонии болгар на Балканах. В Адрианополе была даже заготовлена блестящая царская коляска для торжественного в'езда Фердинанда в Константинополь... Вопрос о разделе добычи между союзниками (Болгария, Сербия, Греция) выступил на сцену. По заключенному между ними договору, разрешение спорных вопросов было предоставлено русскому императору Николаю, как арбитру. Зная, однако, что царская Россия не согласится на большое расширение фердинандовской (т.-е. австро-германской Болгарии), Фердинанд и его правительство попытались 16 июня 1913 г. внезапным нападением на сербские войска выгнать последние из пределов Македонии и захватить ее вместе с ее столицей, Салоники, силою оружия. Результаты этой авантюры, стоившей новых десятков тысяч человеческих жертв болгарскому народу, известны. Соединенные вооруженные силы Сербии и Греции, при помощи румынской армии, направившейся походом на Софию, нанесли полное поражение болгарской армии и привели к страшной катастрофе страну.

Через два года после этого, однако, Болгария была вовлечена снова (сентябрь 1915 г.) в европейскую войну на стороне центральных держав. Быстрый разгром Сербии и захват Македонии до Салоник снова свели с ума Фердинанда и падкую к наживе болгарскую буржуазию. Мечты о завоевании чужих областей, о «великой Болгарии» и о гегемонии на Балканах воскресли. Сербия должна была быть разделена между Австро-Венгрией и Болгарией, которая, захватив половину Сербии и всю Македонию, готовилась пред'явить претензию и на Албанию... Болгарские оккупационные власти в Сербии и Македонии по отношению правительства предприняли ужасные массовые истребления сербской интеллигенции и более передовых слоев сербского населения, чтобы облегчить этим путем уничтожение Сербии, как самостоятельного государства на Балканах.

Между тем в то время, когда болгарские крестьяне и рабочие проливали свою кровь на фронтах в продолжение целых трех лет, хищническая буржуазия предалась внутри страны самой разнузданной спекуляции и разбойничьему

ограблению народа, отнятию куска хлеба у семейств «храброго болгарск‹ воинства» и всевозможным издевательством над населением.

Недовольство продолжением войны в стране достигло крайних пре, лов. Оно быстро перенеслось в армию на фронте, усилившись там еще больш вследствие зверского обращения с солдатами и частых расстрелов их. 10 се тября 1918 г. болгарские войска взбунтовались при Доброполе, покину окопы и с оружием в руках направились в Софию, чтобы расправиться с вин‹ никами войны. Благодаря германской артиллерии, находившейся в Болгарı восставшие болгарские войска, направившиеся к Софии, были разбиты. Бу жуазии удалось тогда задержать власть в своих руках. Она была вынужде только пожертвовать своего царя Фердинанда, который должен был отречь в пользу своего сына Бориса и покинуть страну.

Националистическая завоевательная политика болгарской буржуазı второй раз потерпела полное крушение. Вместо присоединения Македонı Фракии и даже Албании к Болгарии, вместо гегемонии ее на Балканах, он получила мирный договор в Нейи. От ее территории были отняты Царьбро, ский и Босилеградский уезды, была уничтожена ее постоянная армия, ограни чено число ее вооруженных сил с возложением на нее уплаты тяжелы репарационных долгов.

Буржуазия, которая считала народ и его массовые партии — земле дельческий союз и коммунистическую партию — виновниками банкротств своей авантюристической политики, преисполнилась неограничен ной злостью и местью против болгарских рабочи и крестьян. Но в тот момент, когда после победы русской революци подымалась революционная волна в Европе и на Балканах, когда болгарски народ жаждал возмездия за пережитые во время войны ужасы и бедствия, оче видно, вовсе нельзя было думать об излиянии этой злобы и мести со сторонı буржуазии. Более того, она чувствовала, что должна пойти по пути некото рых временных уступков исстрадавшимся народным массам, чтобы сохранить среди разразившихся бурь свое классовое господство.

Таким образом болгарская буржуазия со сжатыми от злости кулаками и со скрежетом зубовным примирилась с приходом в конце 1919 г. к власти крестьянского правительства Стамболийского надеясь, что последнее, подобно социал-демократии в Германии и других странах, спасет ее от революционной опасности, а потом ей удастся снова взять власть в свои руки и отомстить в достаточной мере своему народу.

Между тем, трудящиеся массы быстро сплачивались — рабочие и часть бедного крестьянства — в рядах коммунистической партии и красных профсоюзов, а широкие крестьянские массы в рядах земледельческого союза. Буржуазные партии, виновные в обеих кровопролитных войнах и тяжких для народа и страны катастрофах, остались совершенно изолированными от народных масс и страшно ненавидимы ими.

Крестьянское правительство Стамболийского, несмотря на его половинчатую и непоследовательную политику, все-таки задело чувствительно жизненные интересы буржуазии. Оно пошло хотя и не без колебаний, по пути

переложения тяжелых последствий войны и экономической разрухи и кризиса прежде всего на плечи самой буржуазии. Оно ввело налог на прибыли от войны, на прибыли акционерных обществ и на доходы от капитала. Оно ввело хлебную монополию и лишило этим спекулянтский капитал его прежних огромных прибылей. Оно ограничило возможность для спекулянтского капитала пользоваться государственным кредитом. Провело закон об отчуждении домов под общественное пользование и создало этим угрозу домовладельцам. Ввело закон о трудовой поземельной собственности и покушалось на крупные землевладения.

В то же время крестьянское правительство провело закон о предании суду буржуазных правительств за время балканской и европейской войн — виновников народных несчастий. Члены этих кабинетов, которые были и вождями всех буржуазных партий, были арестованы и привлечены к суду. На основании этого закона был устроен всенародный референдум по вопросу о предании суду министров обоих буржуазных кабинетов, в результате которого были получены 700.000 голосов (земледельческого союза и коммунистической партии) за предание суду и лишь 200.000 голосов (всех буржуазных партий вместе с социал-демократами) — против.

В законодательных выборах 28 марта 1920 г. все буржуазные партии вместе с социал-демократической получили 300.000 голосов из миллиона голосовавших в общем в стране, а 22 апреля 1923 г. получили 272.000 голосов, в то время, когда земледельческий союз увеличил свои голоса с 347.000 до 557.000, а коммунистическая партия — с 182.000 до 220.000 голосов. В то время, когда голоса буржуазных партий и социал-демократов пали с 38% до 26%, голоса земледельцев и коммунистов вместе взятые увеличились с 62% до 74%.

Озлобление буржуазии достигло крайних пределов. Ее жажда мести усилилась чрезмерно. Потерявшая всякую надежду возвратить себе власть легальным путем, путем выборов, она сосредоточила все свое внимание и все свои силы на подготовке условий при которых она бы могла насильственными, непарламентскими средствами освободиться от крестьянского правительства и от организованного движения рабочих и крестьянских масс в стране.

С этой целью она мобилизовала, при содействии царского двора, старое офицерство действующей армии и массу уволенных в запас, вследствие сокращения состава армии. Она использовывала русских врангелевцев (10.000), находившихся в стране. Она привлекла на свою сторону вооруженную македонскую организацию. Заручилась поддержкой Англии и Италии, которые были крайне недовольны политикой Стамболийского за его сближение с Юго-Славией агента Франции на Балканах. Англия, которой Балканы были необходимы для укрепления своего влияния в Малой Азии и для создания солидной базы в своей борьбе против СССР, видела серьезное препятствие в правительстве Стамболийского и в массовой коммунистической партии в Болгарии и с готовностью поддержал заговорщические планы болгарской буржуазии.

Подготовившись таким образом внутренне и внешне, болгарская (жуазия выбирала лишь момент для решительного действия. В осуществле этой своей цели ей способствовало и падение революционной волны в Евр(Непосредственная опасность пролетарской революции была пережита. благоприятствовала также антиработническая политика правительства Ст болийского, которая все больше вела к раз'единению рабочего класса и к стьянских масс. Считая, что после законодательных выборов в апреле 192 буржуазные партии окончательно обессилены, Стамболийский все более у личивал свою враждебность против рабочего движения и коммунистичес партии, боясь создания советской власти в Болгарии, и этим несознател подрывал позиции крестьянской власти и облегчал задачу буржуазии. Бо того, правительство Стамболийского, не доверяя рабочему классу и бедн крестьянским массам, оставило армию и вооруженные силы страны в рук старых офицеров, верных буржуазии.

И 9 июня 1923 г. банда алчных банкиров и спекулянтов, обанкрот шихся на войне генералов и жадных до легкой политической карьеры проф соров, опираясь на заговорщическую военную лигу «кубрат» и при п держке находящихся в Болгарии врангелевцев и македонской организа свергнула, посредством военного переворота парламентарные крестьянс правительство Стамболийского, захватила в одну ночь чисто разбойнич путем власть, убив часть крестьянских министров, депутатов и других видн деятелей, наполнив тюрьмы тысячами крестьян и рабочих, протививши: перевороту, и подчинила болгарский народ своей военной диктатуре. Ме(крестьянского правительства было занято правительством Цанкова, сос вившегося в тот момент из всех буржуазных партий, включая и социал-де кратическую, представленных в парламенте только 30 депутатами из вс количества депутатов 245. Громадное большинство болгарского народа бь решительно против совершенного переворота и встретило с явной вражд ностью насильственно навязанное ему правительство. Но фатальные ошиб коммунистической партии, оставшейся пассивной при перевороте, помо косвенно успешности буржуазного переворота.

Уяснив себе хорошо, что новое правительство не может иметь никак опоры среди народа, что социальная база фактически исчерпывается в весь малочисленной стране финансовой, промышленной и спекулянтской буржу зией—окончательно скомпрометированной в глазах народных масс и страш ненавидимой за обе катастрофически окончившиеся войны (ба канскую в 1912—1913 г.г. и европейскую 1915—1918 г.г.) — правительст Цанкова приступило к укреплению своей власти посредством физич ского истребления всех организованных народных сил, предостав страну в полное распоряжение своей заговорщической военной организац «кубрат» и так называемого «малого конвента» — центрального орга ее для организации и совершения убийств над активными противниками прав тельства.

Считая, что с обезглавлением Земледельческого союза во время пер ворота массовая организация болгарских крестьян была уже разбит

банкирско-генеральско-профессорская банда приступила к подготовлению необходимых условий для разгрома рабочего движения — коммунистической партии, насчитывающей 40.000 членов и 220.000 избирателей, рабочих профсоюзов с 35.000 организованных рабочих и работниц, рабочей кооперации «Освобождение» с 70.000 пайщиками, организация женщин и молодежи, равно как и широко распространенной рабочей печати, которая имела в два раза бо̀льший тираж, чем тираж всех буржуазных и социал-демократических газет вместе взятых.

На самом деле лишь два месяца спустя после июньского переворота — 12 сентяря 1923 г. — правительство Цанкова, по выдуманному предлогу будто рабочие и крестьяне подготовляют вооруженное восстание с целью установления советской власти в Болгарии, арестовало более двух тысяч деятелей рабочего движения (депутатов, окружных и общинных советников, старост, журналистов, партийных и профсоюзных секретарей и проч.), закрыло рабочие клубы и превратило их в полицейские участки, конфисковало имущество типографии, средства и архивы партийных и рабочих профессиональных организаций, воспретило их газеты, равно как и всякую дальнейшую их деятельность, предприняв в то же время массовые преследования против тысячей их членов и сторонников по всей стране.

Таким образом правительство Цанкова спровоцировало сентябрьское восстание болгарских рабочих и крестьян в 1923 г., которые поднялись в защиту своих бесцеременно попранных прав и свобод в защиту своего легального существования.

Успев, однако, разгромить народное восстание при помощи врангелевцев и вооруженных отрядов македонской организации, правительство Цанкова уничтожило тогда несколько тысяч арестованных виднейших рабочих, крестьян и интеллигентов (громадная часть которых находилась во время восстания в тюрьмах), а другие тысячи изгнало на чужбину.

Но и после всего этого правительству не удалось умиротворить страну и обеспечить себе спокойное управление. Наоборот, недовольство и ожесточение среди народа против террористического режима, вследствие сентябрьской резни еще более усилились. Рабоче-крестьянские массы, наученные в достаточной степени горьким опытом, что причина их поражения заключается в их разрозненности, продолжали об'единенными силами борьбу против своих палачей и для завоевания отнятых у них прав и свобод.

Этой законной борьбе для самозащиты, однако правительство Цанкова в продолжение 20 месяцев отвечало неописуемыми насилиями и жестокостями, беспрерывными полтическими убийствами и самыми дерзкими провокациями. Месть буржуазии рабочему классу и крестьянским массам вылилась снова в виде стихии в связи с взрывом в Софии, который оно фальшивыми документами представляло, как начало вооруженного восстания. И в этом случае были перебиты новые 2.000 рабочих и крестьянских деятелей, более 10.000 рабочих и крестьян арестовано и предано военно-

полевому суду, дойдя до среневековых виселиц на площади перед Софийск собором...

Но всеми этими ужасами и своей злостью, местью и умопомрачени болгарская буржуазия сама доказывает свою неспособность дальше прави страной и стоять во главе экономического и общественного развития болга ского народа. Проливая кровь лучшей части трудящихся масс, усилив до крайности необеспеченность и анархию в стране, восстановление абс лютно весь честный элемент против себя, она усердно копает могилу свое господству.

Былое и думы.

Р. Акульшин.

Из прошлого.

Когда я, по виду деловой и настороженный, — в круглых американских очках и кэпи, врываюсь в нагромождающийся хаос московских площадей и улиц, — поверх звякающих трамваев, поверх вывесок и крикливых плакатов о «Багдадском воре», — я вижу теплую синеву, знакомые избы, вижу кудрявый выгон, мреющий под солнцем, все родное село мое, ибо глубоки деревенские корни, — и знаю — я гость в Москве, знаю — сердце мое навсегда привязано к зелени волжских полей.

Мне — поэту — позволительно начинать с лирических отступлений — и так кстати весна бьется в мое окно, и так кстати на столе раскрытая книга — Пушкин: История села Горюхина.

Деревенских летописей нет. А у меня в городе давно зреет план огромной летописи села Виловатова, с самых древних времен.

Мне хочется... Впрочем, вот — случайно закрепленные памятью отрывки-этюды к будущей эпопее.

Село наше большое и несуразное: легко сказать — лентой растянулось на шесть верст в длину.

В каком году начало ему положено — не скоро дознаешься. Уничтожены архивы Виков, в махорочном дыму истлели письменные документы прошлого. Выискивать приходится самых старых стариков, — и вот что рассказал мне сват Мельников:

«Когда бабка моя пришла в Виловатку, было ей десять лет, а прожила она сто десять при сохранных зубах, а умерла она пятьдесят лет назад. Когда пришла моя бабка, было в Виловатке всего три дома... Посчитай-ка... По моему счету 155 лет селу, а то и поболе».

Хорошая у свата память, и держится он крепко, — мне нет основания сомневаться — я ему верю.

И еще: от прошлого ярлычок остался — деревня «Гвардейцы» поблизости, а значит это, что в местности кругом нашего села поселялась гвардия державным указом императора Павла Первого.

Теперь наша местность степная, а в прежнюю пору непроходимые л
были, заросли, водились в лесах: медведь-лакомщик, кабан клыкастый,
лось — зверь пугливый и кроткий.

Где изба наша стоит, недалеко от того места озеро «Лебяжье» го
бело, а в нем гусей, лебедей и уток — невидимая пропасть. Стелется теп
на месте озера мурава густая, кудрявая, по праздникам бабы сидят на мура
семячки лущат, про свои, про бабьи заботы разговор ведут бесконечный.

Это вскользь — это то, что в географии называется флора и фау
хоть и смешно звучит: флора и фауна села Виловатова, мы больше привы
об Америке Южной или об Австралии в таких выражениях говорить.

Знаю еще: крепостного права у нас не было, не было его и в дру
селах по левую сторону Самарки, а через реку в трех верстах крепостн
жили, господские крестьяне.

Остались от них только названия местностей по фамилии помещи
да сады и парки с оградами, сломанными революцией.

В давние времена проходил через наше село главный тракт, — больш
дорога вела на восток, в Туркестан.

Проходил этот тракт за селом, но иногда бывало — обозы и карава
и главной улицей села проезжали.

Когда мне рассказывают об этом, я вижу, как идут усталые, навьюч
ные верблюды, подымая пыль — у них печальные глаза, иссохшие горбы т
таются рыжими мешками, у них лезет шерсть, а погонщики — молодые ч
новатые сарты — бьют их длинными палками, и гортанными криками вр
ваются в деревенский вечер.

К большой дороге всегда приходили толпы любопытных поглазеть
восточную неразбериху, пахнущую пустыней и камнем, и часто здесь,
тракту, завязывались мимолетные романы, если слишком пристально загля,
вались черные глаза сартов на пышные прелести волжских девушек. И сей
кое-кто помнит трагический эпизод, в давние времена, в дни романти
разыгравшийся на тракту.

Как-то у самого нашего села остановился караван на ночлег — мно
народу сбежалось, а вечером пришли девки, да парни, хороводы водили, пес
пели, мало ли чего по молодости своей не делали.

И был в караване погонщик один, нищий и рваный, коричневое тело ч
рез лохмотья просвечивало.

А в хороводе девка была — первая по нашему селу красавица. То
переглянулись больно пристально, то ли заговор какой у него, бусурманск
был, только — давно караван ушел — хватились родители утром — нет д
чери, — поминай как звали, а единственная дочка была, жаль родительско
сердцу.

Догнал отец с полюбовником далеко от села, гневом распалился, оче
уж тесно прижались, очень уж сладко милуются. А дальше, как во всех р
мантических историях — кровь.

Хотел отец полюбовника ножом кончить, да разве в ярости разберец
вместе они, близко они — неразрывно.

Вместо сарта дочь свою любимую зарезал... ткнул ей ножом в грудь, а потом и отца убил сарт.

Было это в лощине, и в память о романтике прошлого назвали лощину эту «Отец и дочь».

И еще одно воспоминание связано с большой дорогой. Был приказ свыше по обеим сторонам дороги деревья насадить, а для предохранения молодых порослей плести из хвороста корзины без дна и окружать стволы.

Весной да осенью, как раз в рабочую пору, все крестьяне мобилизовывались для плетения корзин.

Отказаться — в плети, а своя работа стоит. Охают мужики, горбятся, шапки перед начальством мнут. Сжалился над крестьянами заведующий работами, приказ ночью отдал:

— Собирайте в одну кучу все корзины.

Собрали.

— Тащите соломы.

Притащили.

— Зажигайте.

— Как же так, ведь от губернатора насчет корзин приказ.

— Я отвечаю.

Подожгли. Костер запылал громадный, всю деревню осветил, как на ладони. А кругом костра мужики и бабы. Кто пляшет, кто плачет от радости и никто, никто не пожалел, что их же кропотливая крестьянская работа прахом пошла.

А властям было отписано:

«Неведомо кем умыслено было поджог на работах учинить и оное крестьянское плетение все в огне изничтожено».

Ни одна душа не выдала заведующего, молились о здравии его, когда умер — панихиды служили. Власти не настойчивы были, после пожара работ возобновлять не нудили. Тем и кончилась история с древонасаждением на главном тракту.

Остался след от главного тракта — два низких параллельных вала тянутся с запада на восток.

Какая тишина на нем теперь! Только вороны каркают, да пастух отдыхает, напевая на свирели.

А в четерех верстах — видно — идет на гору поезд, рвутся свистки, долетают до поля, где овцы обступили старика. Овцы ничего не понимают, и далекий свист паровоза доносится до них, как жужжанье мухи. Тракт заглох.

Гудят телеграфные столбы. Поля томятся под солнцем. Поблескивая зеркальными стеклами, пробегают по древнему караванному пути экспрессы из Москвы в Ташкент.

Медленно развертываются воспоминания, а я знаю — надо быть экономным. Впереди большая работа — История села Виловатова.

Здесь я выхватываю отдельные страницы из зреющего труда.

Рубка леса и отчего умер отец.

Это тоже из прошлого, хоть и недалекого, но навсегда отметенного от нас метелью семнадцатого года.

Вот как дело было:

По левую сторону реки владения наших крестьян, по правую—помещика Прохорова. Отхватила река в половодье кусок крестьянского добра — десятки десятин чернолесья, очутился лес на той стороне, на прохоровской

— Раз на моем берегу — мое, значит.

А случилось это после пятого года.

Крестьяне туда-сюда, разве найдешь управу? Смел был помещик Прохоров, не истлели из памяти плети по крестьянским спинам.

— Ладно, — крестьяне решили, — погоди, нам бы только морозов дождаться.

А как встала река, в холодную ночь, поздней сухмяной осенью всем селом отправились «свое» под корень смести.

Просыпается утром Прохоров, глядит в окошко: был лес — нет лесу, ни кустика — все вывезли крестьянские плечи.

Распалился барин, ни минуты не медля, депешу дал, чтоб отряд стражников «для увещевания» из уездного города выслали.

К утру за 75 верст прискакали хранители порядка.

Попрятались мужики. А стражникам горя мало: нет мужиков — бабы остались, началась расправа с бабами.

Помню, отец мой не захотел прятаться. Сидим мы за столом, чай пьем. Только видим — идут «архангелы» к нашему дому, а впереди их староста, дорогу показывает.

— Вот тут первый забастовщик.

Вышел отец к калитке.

— Что нужно?

Схватили тут его, свалили и заплясали каблуки стражников, засвистели плети, пока не утомились бойцы, а потом, подняли отца, в кутузку раздетого погнали, сами шомполами да прикладами в спину и в бока тычут.

Только двоих и посадили в кутузку, отца да еще мужика одного, — на дороге схватили — с базара.

Слаб был мужик, плетей не перенес, так в кутузке и умер, а отец покрепче, до 1925 года жил.

На утро приказ поступил:

«Незаконно похищенный у помещика Прохорова лес вернуть владельцу. Об исполнении донести».

Целых два дня трудились девки, ребятишки и бабы (мужики показаться боялись, пока стражники в город не уехали). Все перевезли, до последней веточки.

А помещик Прохоров, он все-таки ласковый был, смилостивился, церковь на свои средства в селе нашем строить начал, чтоб его за здравие поминали. Десять лет церковь строилась, а так и не достроилась — революция по-

мешала. Машет в ней теперь поп кадилом, а благолепия не ищи, нет благолепия — казарма-казармой.

Горько вздыхают старухи:

— Вот был бы Прохоров — на стенах картинки были бы нарисованы; в божьи праздники паникадилы бы зажигались.

Забыли старухи, как их сыновья от плетей стражников прятались. Куриная у них память.

Ну, а мне помещика Прохорова, плетей его, да нагаек из памяти не вычеркнуть, — у отца были сломаны ребра, повреждены легкие, — разве забудешь, разве не пронесешь через всю жизнь боль и жалость к близкому, к кровному, к покойному моему отцу?

Вечером толпятся воспоминания, мне грустно, — может быть, будет легче, если...

Он очень любил песни и множество знал разных сказок.

Только подходил он к какому-нибудь дому — бежали туда парни, девки и бабы.

— Что, или пожар?

— Нет, дядя Михаил сказки рассказывает.

Вечером толпятся воспоминания, и вдруг, как живое, лицо отца...

В праздник раню утром брал он лопату и топор и шел исправлять рытвины и колдобины на дорогах, изрытых сотнями подвод из разных сел и деревень.

Никто не понимал, зачем человек трудится? Денег никто ему не даст, спасибо никто не скажет. Только —
только самому радостно смотреть, когда дорога ровная и гладкая. Если ехал отец на телеге и догонял пешего, — говорил неизменно:

— Садись, подвезу.

Насажал он однажды баб целый воз, а навстречу на верблюде ехали, — взбесилась лошадь, помчала, что есть духу.

Баба одна возьми да и выпрыгни.

Тут ей и смерть пришла. Кровь горлом хлынула. В легких у ней недуг был.

В том месте, где баба упала памятник поставили. Стоит он в лесу неподалеку от речки. Приезжают люди, удивляются, а зачем памятник стоит — не знаю, а мне он говорит о бесконечной доброте отца, и грустно мне, что не услышу больше чудесных его сказок, а проселочные дороги станут совсем невозможными для езды.

Вечером толпятся воспоминания и вдруг разрываются, как в тот день — короткая телеграмма из Виловатовки, где только два слова: «Отец умер», — и вот история его смерти.

Есть в двух верстах от села нашего коммунист Вырыпаев. Ничего в нем нет примечательного, когда он в трезвом виде; только редко это бывает.

Ну, а напьется, давай кататься, да из нагана палить во все стороны. Герой-героем.

Шарахаются от него ребятишки и бабы. Пуля не разбирает, а жи каждому охота.

Вот идет как-то отец по селу.

Бац — выстрел, и пуля мимо ушей прожужжала. Прикатил Вырыпа к нашим соседям.

— Давай самогонки.

Отец тоже туда — хотел коммуниста усовестить.

— Зря из нагана палишь, он у тебя не пробочный, грех может выйт

Распалился Вырыпаев, унять невозможно.

— Да как ты смеешь коммунисту такие слова говорить? Сгинь — пар билетом пришибу, — а сам наганом в лицо тычет.

Ушел отец, а на другой день в райком за десять верст сходил — в рассказал.

— Ладно, — говорят, — пришлем расследовать. — Ну, прислали сл дователя, а он первым делом к Арсеньке, к самогонщику.

Всю ночь кутил до рассвета, а у отца совсем руки опустились, упал с духом.

— Теперь мне конец, — следователь с ним заодно, значит, если сам гонкой не брезгует. Негде управы искать.

Вышел один раз отец на двор, смотрит: Вырыпаев идет

Испугался отец, еле в избу доплелся, — дух у него захватило. По бежала мать, а он уже мертвый.

Вечером толпятся воспоминания... впрочем, к чорту лирику — пусть эт строки о нагане и о гибели отца будут надгробным камнем не только отц моему, но и Вырыпаеву, который право же ничем не отличается от Колупае вых, Разуваевых и им подобных.

Волк.

Статья разрастается, как вечер воспоминаний, и сейчас мне еще взбрел в голову связанное с моей жизнью и работой в деревне.

Была революция, был 19-й год, в нашем селе я служил заведующи детским садом. Надо мне было для него помещение найти, и пришлось дл этого уплотнить счетовода кредитного товарищества.

Только теперь я понял — плохо со счетоводами дело иметь, народ он очень обидчивый. Не понравилось ему уплотнение, состряпал он про мен легенду страшенную. Говорилось в легенде этой, будто бы я в шкуру волчьк нарядился и в один прекрасный день с'ел мальчика и девочку (тема для бу дущих биографов). Я о таком моем, об исключительном аппетите ничего н подозревал, только стала легенда ходить по селу и вижу я — детей у мен с каждым днем все меньше и меньше.

Приходит раз баба, на кухню прошла, у кухарки спрашивает:

— Да что, правду говорят, будто Родион Михалыч двух ребятише волк с'ел?

Залилась кухарка смехом небывалым. Услыхал я. Вышел.

— В чем дело?

Покаялась баба.

— Простите, Родион Михалыч, да болтают, ты будто сбесился, двух ребятишек с'ел.

Принялся и я хохотать и дети, какие верными детскому саду остались.

Думал — пустяк, обойдется: мало ли в деревне вздорных слухов расцветает, а потом пузырями мыльными лопается.

Нет. Крепко засело. Пройти нельзя было. Кричат на всю улицу: В-о-л-к.

В прошлом году на Пасху домой приехал. Как только ребятишки увидят — а любимое их занятие на колокольне трели медные разводить, — как увидят — а заберется их под купол человек 20, так и трезвон прекращается, и все хором кричат:

— Волк...

И — еще — в голодный год было в нашем селе людоедство — много было с'едено мертвых детей.

Судьба подшутила страшно, — ели те, которые мне проходу не давали, которые в урожайный год считали меня людоедом. Прозвище Волка носил я на себе пять лет, пока не спас меня от него Иван Михайлович Касаткин. То-есть, он так прямо меня не спасал, а косвенным образом, через журнал «Красная Нива».

Принял он стихи мои, гекзаметры деревенские, и напечатали их с портретом. В селе нашем три экземпляра этого номера «Красной Нивы» есть. Все их перевидали.

— Вот, а мы его волком звали. Сами-то мы волки дикие, необразованные.

И кстати, у нас не только волком человек одеться может. Это что? И почудней дела приключаются. Вот в этом году, к примеру, не к ночи будь сказано, оборотни-перемётчики появились, а перемётчик — это человек, который по колдовству своему в кого хочешь оборотиться может, — в свинью, в овцу, в корову.

Крепко сидит эта блажь в народе. На пасхальной неделе, за несколько дворов от нашего дома, парни теленка изувечили, твердо уверенные, что это не теленок, а тетка Дарья.

Жених в соломе.

От пасхального веселья в этом году чтó у меня в голове осталось? Знаю — самогонка рекой лилась. Знаю — песни были, и гульба и драки. А еще знаю — на красной горке свадьба была, не комсомольская, а «честь честью» — целый свадебный поезд.

С песнями, с плясками, с лентами, с бубенцами подвезли невесту к церкви и уехали все, только трех подруг с ней оставили. Отправились за женихом, а жених в солому спрятался, молчит, виду не подает, и не потому спрятался он, что жениться не хочет, а обычай такой исстари ведется.

А вот другой парень — его насильно женили, ну, так тот, действительно, по-настоящему, спрятался, просто сбежал, как Подколесин какой от своей Агафьи Тихоновны.

Невеста ждет в церкви, в лице от стыда меняется, а ему и горя мало сидит себе в лесу, рыбу удит, костер распалил, уху варить собирается, будто он один на свете, как Робинзон... К вечеру только его нашли. Отгулял. Женили все-таки...

Столько мыслей теснится в голове, столько впечатлений рвется к перу и бумаге, и вот я замечаю, что в статье моей уже давно отошел от прошлого, и вот снова захлебываюсь бытом сегодняшнего дня.

Арсенька.

Читатели «Красной Нови» его знают по первой моей статье. Напомню только — это единственный коммунист на 600 дворов, — уполномочен с самогонкой бороться.

— Такого борца во всем белом свете не сыщешь, — говорят про него мужики, — четверть самогону выпьет и хоть бы что ему, крепко стоит, только еще самогону требует.

Хорошо живется давнишним «заслуженным» самогонщикам, Арсенька их знает, они с ним за панибрата и работают без опаски.

Для него у них всего приготовлено — первак, пельмени, курятина и прозвище ласковое — Акцизный.

Было как-то,—осмелели мужики, жалобу на Арсеньку в райком подали.

Что же, — срочно вызвали Арсеньку, — внушение ему преподали:

— Подтянись, дружок.

— Это клевета...

То ли партийное слово — крепко, то ли вид у Арсеньки «сознательного» активиста», только отпустили его с миром, да еще к прежним полномочиям новые прибавили: стал Арсенька следить за работой сельсовета последних выборов. Ну, а жалобщикам теперь туго будет, скрутит их Арсенька в бараний рог.

И — еще — 7 лет в партии Арсенька, а кроме мудрости на дне стакана, другой какой вовсе не признает, — ни книг, ни брошюр совсем не читает, в газеты заглядывает раз в год по обещанию.

Существует для него единственное руководство — отрывной календарь. Чего же больше надо? Есть в нем ленинские мысли. Марксовы изречения и о всяких революционных событиях две-три строки найдется...

— Для умного человека достаточно, — говорит Арсенька, — мне бы только опору найти, самое главное узнать, а там уж я развезу...

Известно, календарная опора хрупкая, но Арсенька умудряется както одну крохотную страничку в торжественные революционные праздники на два, на три часа размазать...

Толку от этого мало. Подпрыгивает пьяная речь его ухабами и кочками, засыпает и снова неожиданно оживляется.

А о чем говорит, разве поймешь? Нет опоры у человека.

— Отдохни, — кричат ему слушатели, — все равно ничего не понимаем...

Но Арсенька не слышит, он спокойно продолжает разметывать сумятицу мыслей и слов, ибо глух Арсенька самой настоящей физической глухотой, и оттого всегда так напряженно слушают его мутные от самогонки глаза и оттого вытягивается вперед острый угол плохо выбритого подбородка.

Я кончаю об Арсеньке и мне жаль все-таки, что эти строки до него не дойдут. Знаю — он никогда не возьмет в руки журнала, а я — я тоже едва ли напечатаюсь когда-нибудь в отрывном календаре.

У меня другая забота: я все-таки не умею связывать в соломенные снопы деревенские мои впечатления. Они рассыпаются, уходят в прошлое, бьются в сегодняшнем дне и отступают лирическими отливами.

И сейчас мне приходит в голову, сделать к этой статье нескромный заголовок «Былое и думы», потому что ведь не просто же анекдоты я рассказываю, а хочу подчеркнуть жирным шрифтом, чтобы напомнить, заставить кой-кого задуматься, пожалеть и, может быть, исправить.

4 слова Маяковского и крестьянская овца с ягненком.

О Маяковском — это я так, для интриги, и не в нем собственно дело. Не Маяковский меня волнует, а беднота, безнадежье крестьянское, труд крестьянский, неблагодарный.

Целый год, к примеру, крестьянин за овцой ухаживает, в избе ее держит, когда у ней ягненок появится, воздухом вонючим, отравленным дышит, в тесноте жмется, а как схватит нужда, понадобится до зарезу копейка, поведет он ее на базар за десяток верст, простоит целый день под пылью и солнцем, а к вечеру, хорошо, если 8—9 рублей за овцу вместе с ягненком выторгует.

Ну, а Маяковский черкнул четыре слова —

Папиросы Басма
хороши весьма —

готова овца, хоть и не овцой он, конечно, от Моссельпрома получает. Тупо!

Это не для злословия, а так, вроде как бы литературная диаграмма для наглядности больше, чтобы нищету деревенскую оттенить.

Есть у нас и богатые люди, только ведь богатство крестьянское по городскому чуть ли не за бедность пойдет.

Вот у предсельсовета, у Савватия Петровича, дом, две лошади, корова и 6 овец, а стоит все имущество это 750 рублей.

По-московскому, по-городскому — только за право в'езда в квартиру вдвое больше заплатить надо, ну, а по-нашему, по-деревенскому Савватий Петрович богатым мужиком считается, «самостоятельным».

Или — еще в виде концовки к главе о бедности нашей:

В течение целой пасхальной недели комсомольцы — организаторы спектакля — не смогли ни одного билета продать, а цена билета была 5 копеек. Видно, пятаки на дороге не валяются.

Стишок дяди Василия.

Много в селе нашем непорядков, много неправды, а нет никого, кто бы описал все убожество наше, и даже селькоров нет у нас ни единого.

Передо мной корявая рукопись, с тщательно выписанным заголовком «Совработники в деревне», — написана она стихами тугими и неумелыми, размером она в 180 строк.

Стишок этот трое сочиняли, а самое главное от меня выходило, — объяснил мне 65-летний дядя Василий, когда с большим трудом мне удалось выпросить его произведение.

Чтобы скрыть свою причастность к сочинительству, дядя Василий такую комедию разыграл:

Подходит к одному двору, где много мужиков собралось о налоге потолковать.

— Вот, братцы, так находка.

— Что за находка?

— Иду по дороге. Гляжу — бумажка, а у меня как раз на курево ни клочка. Хотел оторвать краешек, да смотрю — исписана она. Стал читать... Вот это штука... про всех наших начальников.

— Ну... Почитай-ка.

Затаили дыхание, — про начальников всякому охота послушать. Выразительно начал дядя Василий:

Ни за горами, ни за долами,
Ни за широкими морями,
Где на небе много звезд,
Виловатка село есть.
В том селе живут ребята,
По прозванью епишата,
Ребятишки хоть куда,
Деловиты — прям беда,
Есть Арсентий Епифантов
Не как мы, не оборваный,
Как поступит он куда,
Чередом пойдут дела.
Покажу пример я вам,
Как он мельницей управлял.

И дальше идет подробное описание всех проделок Арсентия (Арсеньки) его воровства, пьянства, его изгнания с мельницы и работы в сельсовете.

Старательно описаны темные дела его в комитете взаимопомощи, утайка 50-ти пудов семссуды и много других подвигов. Половина стишка посвящена бывшему председателю совета Шапкину Василию:

Видит—в поле нет воды,
Разве долго до беды, —
Выйдешь в поле боронить—
Скотину нечем напоить.

И решил он тут нанять
Все колодцы починять,
А один, чтоб вырыть новый,
Разве малый бестолковый.
Гляди, выдумал чего.
Хвалит общество его.
Решили хлебца тут собрать,
Скорей рабочих чтоб нанять,
Сбор сделали очень просто ·
И набрали рублей девяносто.

Такое рвение председателя и крестьян кончилось очень печально. Колодцы остались недорытыми, сруб пошел на топливо председателю и на поправку его же хозяйства пошли девяносто пудов крестьянского хлеба.

А рабочим за рытье колодца и за постройку сруба так и не заплатил председатель ни копейки.

По этому поводу дядя Василий иронически замечает:

А мужики все ждут воды,
Вот дожили до беды.
Во всем поле нет водицы.
Нельзя сеять ржи, пшеницы,
А наш Васенька живет,
Дрова жжет и хлеб жует.

Слух о стишке по всей деревне разлетелся. Валом народ повалил к Василию. Испугалась дочь, спрятала стишок за божницу, а отцу сказала, что в печке спалила.

Пообещала двоюродная сестра моя Настя:

— Отдайте стишок-то Родиону, он рубашку и штаны дяде Василию купит.

Подействовало. Извлекли рукопись из-за божницы. Теперь она у меня. Я свое слово сдержу. Я куплю дяде Василию рубаху и штаны, хоть за пять рублей, а куплю. Пусть эти пять рублей будут гонораром за 180 стихотворных строк.

А я за то, что написал о дяде Василии, об Арсеньке, о темном нашем прошлом, я ведь тоже получу гонорар, и — как странно — вот уже я думаю о родной земле не теплотою своего сердца, а шелестом печатных листов, и вот уже биенье в груди все сильнее и сильнее. Сердце стучит, заполняет комнату, и вот уже явственно слышен стук ротационных машин.

Время собирать разбросанные мысли, кое-где перехваченные лирическими узлами, а мне хочется еще сказать о столбовой нашей крестьянской гордости, о крепкоствольности нашего крестьянского рода.

Род Алферовых.

Подвыпил дядя Митрий, размяк, распустился: сидит, слезами горькими заливается:

— Кончается род наш... Три брата было, трое Алферовых... Наплодили одних дочерей... Умерли дорогие мои братья — Тихон и Нефед, один я

остался... Чую, и меня скоро не будет... Прекратятся Алферовы... Полто ста лет были, и прекратятся... Вот молодым бы сделаться... Говорят, можно теперь... Молодеют, говорят. Жениться бы вот, не для плоти св жениться... а для мальчишки одного раз'единого... А тогда... тогда и умер не страшно...

Текут пьяные слезы по лицу, а мне сквозь пьяную боль эту видно чительное желание сохранить как-нибудь мужицкое, хребтовое свое, к нями ушедшее в землю. Это не родовая гордость Вяземских и Толстых, племенная уцепка за землю, за кровь, за рабочие руки, за вынюшенное выстраданное свое племя.

Уснул дядя Митрий, узловатые руки раскинул по столу.

Уснул дядя Митрий, а за окном весна и тишина кругом, — и вот г следняя глава о весенней тишине нашей.

Тишина.

Хорошо весной у нас. Луга и зеленый выгон. А по озерам — утки гуси и лебеди пролетают, остановку делают.

По весенним приметам — год нынче урожайный будет: в прошлом го перво-наперво из земли лебеда полезла, а в этом — сурепка разлапушила И буйного половодья весной этой не было, исподволь таял снег, вся во в землю впиталась. Хорошо весной у нас...

Засеяно все до единой полоски. Озимые радуют глаз. Землей с огор дов пахнет. Все на работе. А на улице тишина, ах, какая тишина несказа ная. Скворцы на скворешниках. Только их и слышно, да чувствуешь еш как дышит земля, вольготно дышит.

Хорошо весной у нас.

А вечером, только зря в тишину вплетется незаметно, — от кон до конца песни польются весенние:

Ты заря ли, моя зорюшка,
Заря белая, вечерняя.
Поиграй, моя любезная.
У ворот, ворот на улице
Кличет, кличет меня тятенька домой,
Я нейду, нейду, не слушаюсь:
У нас игры не доиграны,
У нас пляски не доплясаны.

К проблеме формы и содержания.

Г. Поспелов.

Как и целый ряд других выражений из области литературоведения, форму и содержание пока приходится признать гораздо более терминами домашнего литературного обихода, чем научными понятиями. Каждый любитель литературы не преминет говорить о форме и содержании, придавая этим словам какой-то, видимо, общеизвестный смысл, а в то же время каждый исследователь толкует их по-своему, иногда вовсе их игнорирует, иногда сознательно отменяет, заменяя другими, и каждое научное направление становится на особую позицию по отношению к ним. К сожалению, у нас гораздо больше отдельных исследователей, чем научных направлений, а это очень дурно характеризует уровень науки; и не только в данной проблеме, а, кажется, решительно во всех вопросах и понятиях литературоведения господствует разнобой, каждый письменный стол и каждый кабинет пред'являют патент на изобретение или претендует на своеобразное решение этих проблем. И в то же время слова наука, научный, ученый употребляются на каждом шагу и склоняются по всем падежам. Но ведь наука требует общеобязательности, а не частной собственности знания, требует дисциплины, а не войны всех против всех, она требует сплоченного коллектива работников, а не оригинальности отдельного кабинета. Много знать, но не уметь или не желать приложить к делу свое знание, иметь массу сырого материала и не систематизировать его научно, — это значит быть эрудитом, но еще не ученым. Поэтому честь и хвала всякому направлению, всякому обществу, поскольку оно уже общество, уже направление, а не замок сеньера от литературоведения, огороженный крепкими стенами самомнения и принципиального непонимания слов и намерений своих соседей. Поэтому настоящая статья принципиально не желает дать что-либо принципиально-новое и оригинальное, она определенно стремится исходить из общих предпосылок школы или направления, и все будущие несогласия с соседями по предмету обсуждения вызваны отнюдь не стремлениями отстоять личную или оргинальную точку зрения, а исключительно только желанием внести немножко больше ясности в общеобязательную научную систему нашего предмета и уточнить два понятия, на наш взгляд, для этой системы небесполезные.

I. Очень многие теоретические сочинения совершенно игнорируют определение этих понятий, как бы не нуждаясь в их точности, не нуждаясь в них совсем, как в основных рабочих понятиях науки, и в то же время употребляют эти термины, вкладывая или предоставляя читателю вкладывать в них тот смысл, который подразумевается в них в повседневном литературном обывательском обиходе. Примером может служить «Теория поэзии и прозы» Овсянико-Куликовского. Почти все «истории литературы» совсем не употребляют этих понятий, так как вообще говорят не о литературном факте, а лишь по поводу него. У рядового же читателя прочно укоренился взгляд, полученный из школьных «теорий словесности», согласно которому содержание есть сюжет, «идея» произведения, а форма — их словесное обличие. В «Онегине», например, образы и «типы» героев, дворянская жизнь начала XIX в., ход развития интриг романа — все это содержание, а самые пушкинские стихи — форма. При этом бессознательно разумеется, что важно именно содержание, форма же — пушкинские строчки — есть только средство передать читателю интересную фабулу. В настоящее время мы, не дождавшись четкого, научного определения этих понятий, с их равноправным сохранением, имеем прямую антитезу обывательским взглядам, резкую реакцию против школьных «теорий» и им подобных ученых сочинений. Впитав в себя труды А-ра Веселовского, особенно подчеркнувшего факты сложения сюжетов и их бытования, а также труды теоретиков символизма, обративших особенное внимание на исследование формы, формальная школа в лице «Опояза» об'-являет примат формы, и даже ненужность понятия «содержание» для научного исследования. В статье «Связь приемов сюжетосложения с общими приемами стиля» Шкловский пишет: «Сказка, новелла, роман — комбинации мотивов; поэтому сюжет и сюжетность являются такой же формой, как и рифма; в понятии «содержание» при анализе произведений искусства... надобности не встречается». Здесь есть доля истины: сюжет литературного произведения есть, несомненно, некоторое построение, имеющее техническую сторону, и в этом смысле заслуживающее формального анализа; сюжеты бродят и передаются. Но если мы не пойдем дальше такого взгляда на сюжет, забудем о его содержании, то рискуем никогда не суметь об'яснить технику сюжетосложения и факты их заимствования. Действительно, что может сказать о литературной эволюции исследователь, для которого все равно, что́ противопоставляется в произведении: «мир — миру или кошка — камню», а для Шкловского это безразлично. И, будучи последовательным, «Опояз», устраняя совсем понятия формы и содержания, выдвигает, как более нужные, рабочие понятия: материал и прием. Материал литературного факта — слово; будучи обработанным при помощи определенных приемов, этот «природный факт возводится в достоинство эстетического факта, становится художественным произведением». Так формальная школа разделывается с содержанием. Неустойчивость, научное неудобство такой позиции очевидно. Члены «Опояза» еще пытаются удержаться на ней, но в руках их попутчика, В. М. Жирмунского, менее нетерпимого, чем они, она терпит крах. Хваля «Опояз» за критику «т р а д и ц и о н н о г о д у а л и з м а» формы и содер-

жания», который, по его мнению, «в настоящее время является важнейшим препятствием для построения науки о поэзии», Жирмунский в статье «Задачи поэтики» (1921 г.) критикует два до-научных, обывательских определения этих понятий: 1) содержание — сюжет, форма — словесное обличие и 2) форма — как бы сосуд, в который наливается содержание — вода, — выдвигает третье (по нашему мнению — очень ценное): форма и содержание — различные способы рассмотрения по существу единого об'екта, которое далее очень неудачно развивает, считая его адэкватным распространенному противопоставлению: «что» выражается в произведении — содержание, «как» это «что» выражено — форма, а затем, считая его отвлеченным и условным, также откидывает. И действительно: форма и содержание, приравненные «что» и «как» произведения, при ближайшем рассмотрении оказываются не чем иным, как водой и сосудом. Жирмунский раз'ясняет дальше: «что» — это философская идея, титаническая скорбь, любовь, грусть и пр., и в конкретном произведении они выражаются в конкретной форме, т.-е. «как». Следовательно, некоторое «что» может быть выражено так и этак; «мировая скорбь» выражается и в «Манфреде» Байрона, и в «Призраках» Тургенева по-разному; одно «что», но разное «как». Если так понимать любовь и грусть, то они являются такими же (психическими) H_2O, которые можно налить в «как» разной формы. Критикуя эту точку зрения, Жирмунский говорит, что в искусстве «факты так называемого «содержания» не имеют самостоятельного существования; ...они являются поэтической «темой», художественным «мотивом», участвуя в единстве художественного произведения, — и этим повторяет донаучный обывательский взгляд, который только что отверг: содержание — сюжет. Перебрав возможные понимания формы и содержания, попутав их друг с другом и не найдя во всех них ничего дельного, Жирмунский становится на позицию «Опояза»: не форма и содержание, а материал: слова, и прием: обработка слов и их комбинации. Каждое слово для художника является темой, а выбор тем «служит художественной задаче, т.-е. является поэтическим приемом». Так, приемы стилистические, тематические и композиционные располагаются в схеме Жирмунского во внеположенный ряд, и все обстоит благополучно. Установлению этой схемы предшествует попытка разделаться с образом, этим традиционным материалом и мерилом поэзии: Жирмунский указывает, что образы являются суб'ективным придатком словесных представлений и, следовательно, не подлежат исследованию, но, однако, в схеме, в разряде тематики существует отдел о внутренних образах. В статье 1921 года это как-то не замечается, и единство точки зрения остается на высоте. Но в той же переработанной статье 1924 года мы видим явную сдачу позиций, явное обнаружение непригодности понятий «материал-прием» для научного литературоведения. Оказывается, что «существуют такие элементы поэтического произведения, которые, осуществляясь в материал слова, не могут быть исчерпаны словесно-стилистическим анализом». Это: контраст, параллелизм, картины природы, внешность героя, его характер, развитие действия. «В таких случаях, — пишет Жирмунский, — предметом рассмотрения в поэтике является

боле обширное художественное единство..., обладающее, как целое, осс быми свойствами, не сводимое к свойствам его элементов». Иначе: предмето рассмотрения является система образов, закрепленная в словах, но не св(димая к свойствам слов и их комбинаций. «Материалом» поэзии оказываетс не слово, а что-то другое. «Нельзя думать, — говорит Жирмунский в предисло вии к «Проблема формы в поэзии» Вальцеля, — что вопросами метрики, ин струментовки, синтаксиса, сюжетосложения исчерпывается область поэтики задача изучения литературного произведения с точки зрения эстетическо только тогда будет закончена, когда в круг изучения войдут и поэтически темы, так наз. «содержание», рассматриваемое, как художественно-действен ный факт». Здесь мы возвращаемся на старые донаучные позиции: содержа ние-темы. Жирмунскому приходится перестроить свою схему трех внепо ложных задач исследования и, оставив на первом плане стилистику, — тер матику и композицию, расположить за нею перспективно первую за семати кой, вторую за синтаксисом.

Такое крушение позиции, предложенной «Опоязом», произошло пс вполне понятным причинам. Занимая такую позицию, принимая понятие материал и прием, формалисты шли по проторенной дороге, проложенной описательными дисциплинами в области истории изобразительных исскуств и музыки, при чем упустили из виду большую разницу в соотношении предмета и материала творчества между этими искусствами и поэзией, увлеклись и неостроумно попытались поиграть по нотам, писанным для чужого инструмента. Получилась какофония. В самом деле: в живописи и музыке материалом являются звуки и краски, в поэзии — слово, но в первых двух предмет творчества — зрительный образ, мелодия — имманентных их материалу — штрихам на плоскости, краскам, звуку голоса и инструменту, но в поэзии предмет — понятие, представление — находится вне материала — слова, как комлекса звуков. Поэтому, заимствовав понятия из чужой области, надеясь этим упрочить позиции своей науки, исследователи «Опояза» и Жирмунский встали на ложную дорогу: не желая ничего знать, кроме слова, они остались с материалом, но без предмета творчества, без того, что автор хочет закрепить в слове. Попытки проникнуть через слово в глубь — к теме, образу, сами по себе совершенно законные и плодотворные, из-за ложной предпосылки всего построения окончились лишь тем, что об'явили и тему и образ художественным средством, приемом, поставили его в ряд с другими приемами, — живой художественный образ, конденсатор психики автора, носителя литературной эволюции — кастрировали, превратили в мертвую канву для вышивания словесных узоров.

Итак, теория материала и приема оказалась ложной предпосылкой для анализа, с формой и содержанием, во всех их толкованиях, резко расквитались или как с донаучными или как с двусмысленными, дуалистическими, тормозящими работу понятиями. И, однако, литературоведение нуждается в рабочих понятиях и для анализа конкретных фактов и для уяснения самого пути и даже для постановки задач. Самый факт выдвигания то формы и содержания, то материала и приема, самый факт их смены свидетельствуют

и о необходимости таких понятий и о сменах путей и задач исследования. Здесь нам хочется снова выдвинуть форму и содержание, как необходимые и плодотворные рабочие понятия для литературного исследования, не смущаясь теми резкими выпадами, которые пришлись на их долю за последнее время, и вместе с тем несколько уточнить пути и задачи научного исследования. Наше общее определение этих понятий будет внешне совпадать с тем, которое мимоходом бросил Жирмунский и потом опять бросил, как негодное, но только внешне. Форма и содержание — это два способа рассмотрения, в сущности, единого поэтического факта, но это не «что» и «как», не вода, и сосуд, а нечто иное. Наибольшие несогласия вызывало всегда определение содержания, но чтобы с ним справиться, надо начать несколько издалека.

II. За последнее время в нашей области мы имеем две тенденции: с одной стороны, тенденцию построить генерализирующую дисциплину для литературоведения на формальных понятиях с отрицанием всякого психологизма, — это в лице формалистов; с другой — противоположную — использовать для тех же целей так называемую «психологию художественного творчества», — это в лице, главным образом, потебнианцев. Обе эти тенденции нам кажутся заблуждением, так как обе, думается, неспособны дать рабочие гипотезы и понятия, удобные для научной работы. Первая игнорирует художественный «образ» во всем его специфическом значении, превращая его в манекен для «эстетической» одежды. Вторая, углубляясь в бездны психики, иногда физиологии художника, забывает, что она нужна нам лишь постольку, поскольку помогает в анализе или законченных фактов, или их эволюции. Обе ускользают в стороны от более важных и полезных для науки фактов. Однако, несомненно, что поэтическое произведение является результатов взаимоотношений художника и среды, его воспринимающего аппарата и того, что предстоит ему извне. Психика художника (за что бы мы ни приняли обратную сторону медали) здесь играет громадную роль. Игнорировать ее невозможно; наоборот, надо в высшей степени внимательно к ней отнестись. Но не надо углубляться туда без оглядки, делая из этого специальную область исследования; надо взять оттуда только те факты, на которые можно опереться в работе, старательно очертить их (подчеркнуть), построить на их основании некоторые рабочие понятия. К числу таковых принадлежит и понятие содержания. И для того, чтобы его определить и обосновать, надо напомнить и подчеркнуть несколько обще-психологических фактов, достаточно всем известных, но особенно важных для наших целей.

Во-первых: из всего бесконечного количества вещей и процессов, все равно, какого «мира», и из различных свойств и сторон этих вещей и процессов, предстоящих вниманию индивида, внимание это выбирает сравнительно ограниченный круг .Происходит это потому, что, постоянно практически сталкиваясь с окружающей средой, постоянно практически воздействуя на нее, человек обладает при этом определенными способами, определенной техникой этого воздействия и вследствие этого имеет дело только с небольшим сравнительно кругом вещей и свойств их среди необ'ятного многообразия. С другой стороны, он сам испытывает на себе результаты этого

воздействия — получает воздействие среды. Это выражается в том, что материя человеческого мозга сохраняет следы полученного опыта, или, как иначе выражаются, получает предрасположения, которые оказывают большое влияние на последующий опыт. Психологически это выражается понятием апперцептивных масс, как подсознательно сохраненных представлений и их соотношений, которые затем предопределяют новый круг восприятия, внимания и интереса. Суб'ективно это выражается в том, что человек знает, понимает, видит, слышит только то, что ему важно и интересно. Громадную часть вещей и процессов он совсем не знает, другая его не интересует и он равнодушно проходит мимо того, что другой как раз замечает и ценит. То же и в пределах свойств и сторон одной вещи. Одни свойства и вещи как бы закрыты от глаз и ушей, другие четко и ясно выделяются, прямо бросаются в глаза, проникнутые смыслом и интересом. Так влияет на восприятие человека его предыдущий опыт, вся его жизненная практика, обусловленная техникой воздействия на среду. Для каждого человека, а в особенности для каждой группы людей, об'единенной этой практикой, и от'единенный ею от других групп, круг интереса и выбора различен. Но вообще чрезвычайно интересны эти факты интереса, выбора, значения!

Во-вторых: тот небольшой круг предметов, которым человек интересуется и который выбирает из их бесконечного многообразия, во всем наличии замеченных вниманием свойств, проходя через процесс восприятия, своеобразно перерабатывается, преломляется. Психология свидетельствует, что в то время как часть об'екта восприятия проникает в сознание через посредство органов ощущения от внешнего об'екта, другая часть (и она может быть наибольшей) проникает изнутри, из недр сознания. Это еще более интересный факт. Предмет восприятия состоит обыкновенно из части внешнего предмета, затем сюда присоединяется то, что мы привносим в него от себя, то, что нам кажется в предмете. В этом повинны опять все те же следы или предрасположения, все те же апперцептивные массы. Смотря по тому, какую роль играет предмет в жизненной практике, какую роль играет в ней тот круг вещей и процессов, с которым этот предмет фактически связан или только ассоциируется, смотрю по тому, как он влиял на нашу жизнь в прошлом, как, мы предполагаем, — будет влиять в будущем, как мы сами собираемся поступить с ним, — в зависимости от этого он будет оценен, истолкован тем или иным образом, в него будет привнесено, об'ективно отсутствующее в нем качество, свойство, то или иное. С изменением жизненной практики, изменяется состояние и организация апперцептивных масс, изменяется истолкование, оценка предметов, ранее казавшихся другими. Замечательно, что свойства и качества, привнесенные в предмет, об'ективируются, процессы истолкования и привнесения протекают бессознательно, и результат апперцепции, ее продукт, осознается, как единое целое; предмет кажется таковым в действительности. Получается своеобразное явление: предмет, данный через органы ощущения, насквозь пропитывается суб'ективными оценками—привнесениями, и, в таком виде предстоя индивидууму, играет в его жизни определенную роль. Качество этих оценок чрезвычайно разнообразно, но важно их различить

не только по качеству, но и по интенсивности. В этом явлении несомненную роль играет волевая реакция на предмет, устремление в ту или иную сторону, притяжение или отталкивание иногда незаметное, но иногда значительное. Это устремление также привносится в предмет, об'ективируется в нем, и через это предмету сообщается своеобразная динамика, активность. Предмет становится для нас чреватым теми намерениями и возможностями, которые мы бессознательно готовим ему, или всему кругу вещей и процессов, с которым мы связываем этот предмет. В одном из стихотворений С. Есенина «тишина пыжилась бедой». Очень многие предметы, с которыми мы имеем дело, которые замечаем, именно «пыжатся» на нас: бедой, силой, гибелью, вожделением, скукой. Таковыми мы их и считаем.

Итак, определенный характер предыдущего опыта, жизненной практики сообщает определенную организацию, определенный качественный состав апперцептивным массам, в которые он отстаивается, а эти последние, в свою очередь определяют: 1) выбор предмета или его стороны из большого числа других предметов и сторон, 2) определенное истолкование и оценку этого предмета. Так создается для индивида своеобразный круг вещей, своеобразный предметный «мирок», который для него интересен, значителен, полон каких-то интимных отношений и качеств. Для одного, для одной группы людей со сходной организацией апперцептивных масс — один, для другой — другой. Среди всего круга выбранных предметов одни пропитаны оценками интенсивнее, другие менее интенсивно. Но факты выбора и оценки тесно сплетены, зависят от одинаковой причины. Выбор есть экстенсивная сторона явления, оценка — интенсивная. Для дальнейшего необходимо дать этим фактам сжатую формулировку. Будем называть совокупность предмета выбранных и оцененных (истолкованных) — продуктами апперцепции, разумея под этим результаты выбора — оценки.

III. Выше указывалось, что причиной определенной организации апперцептивных масс является предыдущий опыт. Более конкретно: в нем обыкновенно намечается несколько различных направлений и плоскостей, влияющих на эту организацию. В отдельных случаях действующей причиной здесь оказывается био-физиологическая структура самого организма, не всегда сводимая всецело к опыту, а зависящая и от наследственности, распадающаяся затем на влияния темперамента, общего жизненного тонуса, состояния здоровья, случайного настроения и пр. Другой ряд причин обусловлен взаимоотношениями индивида с общественной средой. Здесь влияет племенная, классовая, профессиональная принадлежность. Каждая из них в разной степени может определить круг выбора и качество привнесения, оценки.

Художественное произведение является результатом взаимодействия художника и среды, и поэтому факты выбора и оценки в нем играют такую же, если не бо́льшую роль, как и в повседневной жизни. Но не все вышеуказанные причины имеют при создании или зарождении поэтического произведения одинаковое значение. Некоторые из них действуют слишком обще и безразлично, чтобы ясно проявить себя; другие слишком эпизодичны, резки, случайны, чтобы играть роль в произведении, которое, обыкновенно, довольно долго

вынашивается, и только некоторые, достаточно характерные и длительные, здесь проявляют себе. Здесь на первом месте надо поставить классовую принадлежность. Иначе, и конкретней, возвращаясь к проблеме содержания: поэтическое творчество закрепляет в слове те или иные факты и явления той или иной жизни; эти факты и явления и есть содержание поэтического произведения; но так как, что̀ выше было уже установлено, эти факты и явления, проникая в сознание художника, как и всякого другого лица, воспринимаясь им, тем самым становятся результатами выбора и оценки, то; стало быть, именно в качестве таковых они и являются этим содержанием; далее: из многих причин определенной организации апперцептивных масс, влияющих на круг выбора и качество оценки, для поэзии главными и основными надо признать классовую принадлежность, а, следовательно, содержание — результаты классового выбора-оценки.

Этим дано общее определение понятия содержание: с о д е р ж а н и е м п о э т и ч е с к о г о п р о и з в е д е н и я я в л я ю т с я п р о д у к т ы к л а с с о в о й а п п е р ц е п ц и и, р е з у л ь т а т ы к л а с с о в о г о в ы б о р а - о ц е н к и, з а к р е п л е н н ы е в с л о в е. Таким образом причиной того или иного содержания поэтического факта является классовая принадлежность его автора, понимаемая не отвлеченно, метафизически, но диалектически, т.-е. во всей тонкой динамике внеклассовых и внутриклассовых отношений, классовой борьбы и мира, классовой преданности и отщепенства. Все эти факты чрезвычайно важны. С классовым отщепенством, например, постоянно приходится считаться в литературоведении.

Отсюда первый вывод: поэтический факт есть явление общественное. Таковым оно является не потому только, что по выходе из печати потребляется читающей частью общества и тем служит как бы средством общения между автором и публикой, на что напирают некоторые теоретики, но, главным образом, потому, что представляют собою закрепленные в слове продукты социальной апперцепции.

Ненапечатанное и утерянное произведение все же по своему существу является общественным явлением. Второй вывод: этот классовый интерес (выбор) и оценки и является той идеей, тенденцией произведения, о которых так много говорят за последнее время. В этом смысле всякое художественное произведение действительно идейно, и даже больше: художественно именно настолько, насколько идейно. Если же под идеей разуметь логизированное, отвлеченное суждение (все равно: с дидактическим оттенком или без него), заранее полученное и бывшее исходным пунктом и целью произведения, то это идейность дурная, ее вряд ли можно найти в действительно художественных произведениях. И третий вывод: в вопросе о так называемом отражении жизни в литературе. Еще недавно у нас так любили изучать историю общества по литературным произведениям, писали многотомные монографии об истории общественной мысли и русской интеллигенции, перебирая по очереди главных героев дворянских романов и принимая все это за чистую монету. И совсем еще свежие и очень крупные монографии лучших исследователей много теряли от этой прямолинейности теории отражения. Достаточно на-

помнить работу Переверзева о Гоголе. Но не лучше ли сказать, что жизнь не отражается, а преломляется. Ведь часть предмета восприятия доходит до сознания от внешнего предмета, а часть привносится в него из глубины сознания, к чему прибавляется затем закрепление его в слове не в точном слове науки, а в изощренном художественном слове, приспособленном именно для целей закрепления и внушения.

После выводов пора прислушаться к негодующим голосам, которые уж наверное упрекают нас за то, что мы «свели все к классу», а поэтому не сумеем очень многого об'яснить. Да, мы «все» свели к классу и сделали это не из каких-либо вненаучных позиций, а из соображений именно научных. В самом деле: устраненные нами, как ненужные и неважные, другие причины организации апперцептивных масс и, следовательно, как будто и организации самого произведения, — чтó все они могут нам уяснить в выборе сюжета и стиле отдельного произведения, в стиле целой школы, в самой смене этих школ и направлений, во всей литературной эволюции а ведь это является нашей основной задачей? Чтó может нам для этой цели дать темперамент или общий жизненный тонус художника, которые равно охватывают все творчество и при этом ничем в с у щ е с т в е н н ы х чертах не отличают его от творчества соседнего по школе, в то время как оно ясно отличается от другого — со сходным темпераментом, но из другой школы? Чтó может об'яснить нам степень здоровья или настроения, которые сегодня одни, а завтра другие? Чем может нам помочь национальная или профессиональная принадлежность, когда поэты разных наций и специальностей, если таковые имеются, но одного класса, так разительно сходны в своем творчестве, так любят друг у друга заимствовать, сходны особенно ясно в сходные периоды развития их класса, и наоборот? Да и вообще с какой стати должны мы обязательно об'яснить «все»? Мы должны об'яснить только закономерное, а не случайное. Высшая ненаучность есть в этом призыве «об'яснить все», который так популярен в широких кругах любителей нашей молодой науки. Это требование есть не что иное, как палка в колесо. В нем слышится богомольное отношение к поэзии, оставшееся у нас, кажется, со времен увлечения немецкой идеалистической философией. Носители этого призыва об'являют предмет нашего исследования чем-то чрезвычайно торжественным и сложным, что можно постигнуть лишь интуитивным проникногением в тайники творчества или совсем нельзя постигнуть, как и высказывается А. А. Смирнов в статье «Пути и задачи науки о литературе». Это доказывает, что период алхимии и астрологии в нашей области еще не изжит. Недовольны будут нами также, вероятно, ревнители «психологии художественного творчества». Но, как мы уже указывали, для нас важно в этой области только то, что может нам пригодиться в исследовании, а все остальное чрезвычайно интересно, но только с другой точки зрения. Углубление в творческую психологию и творческий процесс, во-первых, ввиду особенностей этого предмета, требует совсем другой установки и других методов, чем в литературоведении, что обращает эти занятия в совсем особую область исследования со своими задачами, более близкую к психологии и антропологии, а, во-вторых, не

думается, чтобы ее результаты были для нас полезны. Ведь очень многие, если не все основные факты из этой области распространяются решительно на каждый творческий акт и, следовательно, ничего не об'ясняя в литературной эволюции, могут быть вынесены за скобки, как общий множитель (так, мы совсем оставляем в стороне вопрос: из каких побуждений закрепляются в слове продукты апперцепции, сам по себе очень интересный; но тот или иной ответ на него дела не меняет); отдельные же свойства и нюансы индивидуальной творческой психики вряд ли могут быть сочтены причинами и соответствовать отдельным свойствам и нюансам в ее результате, — самом произведении. И они, эти причины, думается, лежат совсем в другой области. Так, М. Григорьев в своем «Введении в поэтику» указывает, что изучение процесса творчества данного художника невозможно без изучения психофизиологии его личности: иначе многие стороны процесса не будут поняты, и напоминая, что в этом большую роль играет наследственность, рекомендует привлекать данные о предках. Затем приводится в пример Пушкин, высокая степень лиричности которого об'ясняется большим запасом физической энергии, полученной от предков, которые не успели истратить ее в пьянстве и разврате. Но, во-первых, зачем поэтике изучать процесс творчества данного художника, а, главное, понимать многие стороны этого процесса? Поэтика должна не забывать, что она—первая глава литературоведения и должна сообразоваться с его задачами; и, во-вторых, неужели единственным ключом к об'яснению лиричности Пушкина оказывается психофизиология его умевших пожить предков? Думается, что это не так. Надо помнить, что в первые 30 лет прошлого века лирикой увлекались очень широкие дворянские круги, выставившие целую плеяду великих и малых поэтов, что мода эта шла из Франции, а со времени, когда года потянули Пушкина к суровой прозе, поток лирики стал ослабевать, но расширился поток прозы, приведши к расцвету реализма. Чтобы об'яснить это, вряд ли нужно анатомировать многочисленную родню многочисленных поэтов, а лишь внимательней присмотреться к смене вкусов и настроений дворянской среды, т.-е. опять-таки вспомнить о классовой апперцепции.

Наконец, еще один вопрос, чтобы окончательно договориться о содержании. Выдвигая в качестве содержания поэтического произведения результаты классового выбора — оценки, т.-е. факты и явления жизни, воспринятые художником с точки зрения его классовой психологии, а затем закрепленные в слове, мы такой терминологией напрашиваемся на вопрос: есть ли это содержание «образы» или нет? Об этом не стоило бы говорить, если бы это понятие и именно применительно к поэтическому содержанию не было причиной довольно печальных манипуляций с предметом нашей науки. Известно, что последователи Потебни, подчеркнувшего образ, как мерило художественности, отказавшись найти образ во всех произведениях слова, выделили лирику, как особый безо́бразный вид поэзии, а некоторые даже выключили ее совсем из области поэзии. Придется, видимо, создавать особую науку для изучения лирики. Несостоятельность этой точки зрения ясна уже потому, что чистые лирика и эпос суть полюсы, между которыми после-

довательно располагаются произведения, но никакого экватора, делящего их на северное и южное полушарие, не существует. Поэтому люди, отделяющие лирику от поэзи, играют с пустыми фразами. Психологически образ есть воспроизведенный комплекс ощущений, безразлично каких, полученных от предмета. Большинство слов обозначает эти предметы или их качества и функции, и у слушающего возникают те или иные представления, связанные с этим предметом; некоторые же слова обозначают или психические процессы, или отвлеченные понятия, и степень наличия у выслушивающих их конкретных представлений весьма разнообразна, но, вероятно, совсем не отсутствует. Число поэтических произведений, имеющих основными темами слова без вещественного смысла, сравнительно очень мало. Но если мы имеем такое произведение, где этими темами будут слова: любовь, грусть, надежда, то на каком основании мы не сочтем его поэтическим? Мы будем знать, что в круг внимания поэта вошли его любовные и грустные чувства, что поэт дает им такую-то оценку, отчего, при закреплении их в слове, они, выражаясь в этих словах, окружены еще словесными массами, выражающими эту оценку и их отношение. Будет ли это произведение образным? В прямом, психологическом смысле — нет. И это абсолютно не меняет дела. Условно и для удобства мы все же можем назвать слово-тему с окружающими его словесными массами, выражающими оценку, — образом. Это будет также рабочее понятие. Но здесь мы немного забежали вперед.

IV. Итак: содержание поэтического произведения — продукты классовой апперцепции, закрепленные в слове. Остались ли они, став содержанием, теми же, что были и до закрепления их в слове (вне искусства, как выражается Жирмунский)? И да, и нет. Они остались теми же, так как художник старается закрепить их возможно адэкватнее, и они стали другими, так как благодаря закреплению в слове получили художественную значимость и действенность, не переставая быть генетически продуктами индивидуальной апперцепции, приобрели общезначимость. Теперь: эти же самые результаты классового выбора оценки, закрепленные в слове, мы можем воспринять, как форму, рассмотреть с формальной точки зрения. В самом деле, за весь, часто довольно долгий период подготовки к закреплению, затем в процессе самого закрепления, продукты апперцепции, готовясь закрепиться в слове, стать художественным произведением, подвергаются известного рода обработке, утончаются, очищаются от случайного, вытягиваются в определенный последовательный ряд (так как словом возможно закрепить их не сразу, а располагая во времени, — поэтическое произведение обладает длительностью), далее, стремясь закрепиться как можно адэкватнее, не теряя ни доли своей специфической своеобразности, продукты апперцепции отбирают наиболее точные, соответствующие их своеобразию слова, из имеющихся в памяти поэта, располагая их при этом в тот временный ряд, в котором располагаются сами. Какое бы произведение мы ни взяли, большое ли прозаическое полотно, маленький ли стихотворный отрывок, в каждом из них и отдельные детали (закрепление обстановки, внешности героев, их характера и переживаний, их поступков, самой последовательности всего этого

или только характера и переживаний, их оттенков и взаимоотношений, бе обстановки и определенных героев) — и отдельные детали и их соотношени являются результатами такой обработки, имеющей, несомненно, техническу сторону. Поэтому всякое поэтическое произведение мы и можем и должн рассматривать и с формальной точки зрения. В этом смысле, с этой точк зрения вполне законно говорить о техническом приеме обработки и закре пления. Но как только мы забудем, что приемы эти служат какой-то цел имеют какой-то смысл, который и делает их такими, а не иными, мы навсе гда обречены только описывать приемы, без всякой надежды их разгадат И совершенно правы те, которые приписывают художественной форме телес логию; телеология есть, но она состоит только в том, что поэт хочет воз можно адэкватнее закрепить свои классовые продукты апперцепции. Это телеологии в приемах не найти, как их ни просеивай. Она идет из глубинь и ее сразу можно понять, как только, став на другую точку зрения, рас смотреть содержание — результат классового выбора — оценки, закреплен ные в слове. Каждый маленький прием, каждая деталь формы необходима обусловлена, так как, с другой стороны, это есть деталь содержания. Изменит прием — это значит иметь дело с другим содержанием. Форма может быт разложена на приемы, но ни приемы, ни форму нельзя отделить от содержа ния, так как это то же самое, только взятое с другой стороны. Форма содержание суть две стороны одного и того же свое образного, неповторимого поэтического произведе ния; изменить поэтическое произведение значит изменить в равной мер и форму и содержание. Но обе эти стороны произведения в разных стадия анализа путать нельзя.

Для тех искусств, у которых предмет творчества и средства закрепле ния имманентны друг к другу, вышеизложенного было бы достаточно, но дл поэзии, у которой значение слова внеположно его звуковому составу связано только ассоциацией, здесь требуется еще большее уточнение. Звук данного слова, число его слогов и место ударения, открывающие определен ные метрические возможности, соотношение звуков соседних слов и несо седних (рифма), положение слова в фразе, регулируемое привычками языка — все это или связано только ассоциативно, или вовсе не связано с значение слова, тогда как содержание произведения имманентно значению слова В закреплении продуктов апперцепции могут играть одинаковую роль дв слова, разные по звуковому составу, но одинаковые по значению (синонимы) поэтому, воспринимая одинаковое содержание, мы (в обоих случаях) будем слышать разные звуки слов, в разном количестве, что противоречит нашему утверждению о полном соответствии-тождестве формы и содержания. По этому в форме поэтического произведения мы имеем право различить две плоскости; одну из них назовем внутренней, другую — внешней формой Внутренняя форма — это значение слов, в которых закреплены продукть классовой апперцепции; следовательно, с другой точки зрения, это — содер жание. Внешняя форма — это звуковой состав слов (со всеми явлениями при их соединении), который только ассоциативно связан (внеположен) с вну-

тренней формой, с другой точки зрения — с содержанием. Явления ритма, звукописи, рифмы — явление внешней формы. Но это нисколько не умаляет их значения. Мы имеем значительную часть поэтических произведений, в которых внешняя форма играет громадную роль в закреплении продуктов апперцепции. В них словесные массы с звуковой стороны так тонко и изощренно организованы (тут тот же прием, та же телеология), что кажутся нерасторжимо связанными с внутренней формой и значит, с другой точки зрения, с содержанием. Например: явления звукоподражания. В другой группе произведений внешняя форма неорганизована, случайна, бледна. В незаменимости слова, в степени втянусти его во внутреннюю форму играет, кроме звуковой организованности, еще организация лексического плана (боковые смыслы).

Итак, содержание и форма не «что» и «как» в смысле Жирмунского, содержание — не сюжет, а продукты классового выбора-оценки. Сюжет же есть продукт абстракции; это — обедненный, вышелушенный из живых оценок скелет произведения. Сюжет может быть понят также с двух сторон: и со стороны формы, и со стороны содержания. С одной стороны, он есть результат построения, расчленяющийся на отдельные мотивы, с другой — это есть отвлеченные от оценок продукты выбора. Тот факт, что сюжет кочует и передается, еще не делает его элементом формы, как это думает Шкловский, наоборот, сюжет воспринимается при передаче, как содержание. Для того, чтобы сюжет был усвоен, необходимо, чтобы апперцептивные массы усвояющего позволили ему сделать такой выбор, чтобы факты и явления, заключенные в сюжете, были ему понятны или интересны. При длительном бытовании сюжет обрастает оценками (в фольклоре большей частью небогато), соответствующими среде, в которой он бытует. В индивидуальной письменной поэзии заимствование сюжетов — явление редкое (причины его, однако, те же — сходные общественные условия двух культур), здесь сюжеты обыкновенно создаются самостоятельно, или вернее, самостоятельно создается будущее содержание — живые продукты классовых выборов-оценок, так как вниманию художника предстоят именно они, а не отвлеченная схема сюжета; здесь нам гораздо чаще приходится иметь дело с «самозарождением сюжетов» в сходных бытовых условиях, в сложной исторической динамике формирования зрелости и упадка классов, чем с их заимствованием. Эти живые результаты классовой апперцепции отстаиваются в психике художника, постепенно наслояясь друг на друга, подвергаясь процессам ассоциации и ассимиляции, вынашиваются таким образом то или иное время, часто очень длительное, иногда целые годы, кристаллизуясь постепенно, получая законченные очертания, элементы оформления, и, наконец, при закреплении в слове принимают уже отчетливую, зрелую форму. Поэтому актуально форма и содержание рождаются одновременно с рождением поэтического произведения; потенциально же содержание зарождается гораздо ранее формы, своеобразная же и неповторимая форма рождается, как сумма приемов для закрепления своеобразного и неповторимого содержания и только в момент закрепления. Поэтому не новая форма ищет заполнения новым содержанием, как думает

Шкловский, а новое содержание требует для своего закрепления новых приемов, новой формы. Так дело обстоит с отдельным произведением, то же повторяется и при нарождении новой школы, нового стиля. Чтобы родился новый стиль, нужно, чтобы сначала родилось новое содержание (потенциально), т.-е. продукты новой классовой апперцепции, непохожие на пред'идущие, т.-е. чтобы новые люди, с иначе организованными апперцептивными массами, или старые, но с резко реорганизованными массами, появились в жизни, т.-е. чтобы вышли на сцену поэты новой классовой формации или чтобы в судьбах класса, уже поставлявшего литературу, произошли большие сдвиги. Вот причины появления нового стиля, а не бергсоновский étan vital, ровно ничего не об'ясняющий, которому поклоняется Жирмунский.

Так понятые форма и содержание позволяют произвести более или менее точный анализ содержания по самому тексту произведения, этим подводят нас вплотную к предмету нашего исследования, позволяют найти ключ к разгадке произведения в нем самом, позволяют не особенно нуждаться в помощи историко-биографических сведений и не оставаться в области общих рассуждений, чем грешили многие исследователи, между прочим, и принадлежащие к одному с нами направлению. Выше мы условились называть образом какое-либо проявление жизни, выбранное и оцененное классовой психикой поэта и закрепленное в слове. Каждый такой образ состоит почти всегда из целой группы слов, группы организованной, расположенной вокруг стержня образа, как мы будем называть — слова-темы. Термин «тема» вообще довольно туманный; в лучшем случае под ним разумеют высшую степень абстракции от содержания, иногда же и вовсе свою собственную философию. Так, М. Григорьев в цитированном сочинении считает темой «Отцов и детей» — разлад двух поколений 60-х годов, а вот темой «Ревизора» — «тревожную думу Гоголя о косности мертвой души». Дадим понятию тема более узкое и служебное значение: тема есть опорное слово образа, означающее предмет, на который пал интерес поэта, окруженное комплексом других слов, выражающих его действия и оценку; все вместе это составляет образ. Поэтическое произведение соткано из таких образов; одни из них центральные, основные и охватывают собой обыкновенно очень большие словесные массы; перемежаясь другими образами, такой основной образ то-и-дело вновь вплетается в ткань произведения, повторяя каждый раз свою слово-тему, развиваясь иногда с начала до конца произведения. Другие образы эпизодичны, периферичны, охватывают меньшие словесные массы. Словом-темой обыкновенно является имя существительное. Из слов его окружающих особенно важную роль играет эпитет; он выражается прямым прилагательным при слове-теме; он может выступать и в виде приложения-существительного при нем, наконец, в форме наречия при мотиве-глаголе. Эпитет может выражать свойства слова-тема, и в этом смысле относится к области выбора, но очень часто выражает оценку. Эпитет выбора (темная июльская ночь) ясно отличается от эпитета оценки (чудная, ласковая ночь). Но и эпитет выбора может иметь оттенок оценки, если мы примем во внимание, что за время зарождения потенциального содержания произведения и за время его

вынашивания очень много сходных фактов и явлений, но с разными свойствами и действиями, выбирается вниманием поэта, а затем, отбираясь и ассимилируясь, остаются лишь те или даже то, которое кажется поэту наиболее интересным, характерным и, главное, желательным. Да и, наконец, поэты так часто закрепляют не то, что существует, а что желательно; не то, что есть, а что должно быть, как выражался еще Аристотель. Поэтому эпитеты выбора, а также мотивы, все это выражает не только выбор, но до известной степени и оценку. Но все эти элементы стиля сравнительно несложного, а во многих поэтических произведениях часто находим более сложные стилистические построения: метафору, метонимию, гиперболу, различного вида параллелизмы. Как отдельные виды и оттенки эпитета закрепляют определенные сферы выбора и оттенки оценки, так и все эти формальные построения являются не фокусами приемов, но употребление каждого из них порождено необходимостью закрепить своеобразные качества выбора-оценки, требующие такого приема, который вне этого назначения лишен смысла. Например, метафора. А-р Веселовский в статье о параллелизме пишет, что первобытный человек, усваивая образы внешнего мира в формах своего самосознания, сопоставлял суб'ект и об'ект по категории действия, откуда получились многочисленные метафоры языка, которые с течением времени утеряли свою живую образность, и теперь задача поэзии — подновить и оживить их. А затем добавляет очень ценную мысль, что язык поэзии не только пользуется уже готовыми метафорами и символами, но создает по их подобию новые.

Выше указывалось, что иногда оценки бывают очень интенсивны, что в предмет привносится волевое устремление, которое сообщает ему как бы самостоятельную жизнь и действенность. Продукты такой оценки, закрепляясь в слове, являются метафорой. У Андреева «В тумане» герой Павел Рыбаков вечером, в переулке смотрит в окна своей знакомой гимназистки, и окна смотрят на него взглядом, полным злобы и дикой насмешки.

Анализ слов-тем произведения даст нам его тематику, круг выбора поэта. Анализ элементов стиля покажет нам качество и интенсивность привнесения, оценки. Проанализировать произведение с точки зрения содержания значит узнать результаты классового выбора-оценки, значит уяснить организацию апперцептивных масс автора, значит установить его классовое бытие во всей его динамике. А установить это последнее, значит суметь об'яснить факт появления данного произведения со всем своеобразием его тематики и стилистики. Пример: у писателей новой литературы большинство отрывков, описывающих город и городской пейзаж, заключают в себе эпитеты и метафоры мрачные, зловещие, неприязненные; это значит, что их герои так оценивают, так видят город; рядом с этой боязнью и отвращением к городу выражается крепкая связь с ним, невозможность от него уйти; значит такова их классовая психология, которая обусловлена их классовым бытием; вглядываясь в эту психологию, мы видим, что это психология мещанина, мелкого буржуа, который крепко связан с городом своим хозяйством, а в то же время это хозяйство все более и более подтачивается ростом го-

рода, развитием крупной промышленности. В этом разгадка мрачных эпитетов при описании города в новой литературе. Таков в общих чертах ход анализа конкретной ткани произведения с точки зрения содержания.

V. Благодаря такому анализу получается, так сказать, арифметическое решение в об'яснении того или иного конкретного поэтического факта на общем фоне решения алгебраического, которое в общих чертах уже дано самым установлением общего научного метода работы в нашей области, — установлением, которое мы находим прежде всего в статьях Плеханова. Ряд анализов отдельных произведений дадут арифметическое об'яснение и целой традиции, целой поэтической школы. Ряд произведений такой школы включается в нее потому, что совпадают друг с другом в общих чертах тематики, композиции и стилистики, как результата сходного круга выбора, сходных оттенков оценки, которые, в свою очередь, вытекают из сходства классовой психики их авторов, обусловленной общим классовым бытием. Но такой анализ содержания возможен только тогда, когда произведение ясно исследователю во всех своих мельчайших деталях, досконально изучено; поэтому, прежде чем воспринимать его с точки зрения содержания, необходимо взглянуть на него, как на форму, и с этой точки зрения дать его обстоятельный анализ и точное описание: сделаться как бы близоруким, забыть о том, что открывается нам в прозрачной глубине драгоценных камней художественного слова, изучить пока только их тонкую мозаику. Так понятия формы и содержания являются опорными понятиями при выполнении двух последовательных научных задач: описания и отыскания причинности и закономерности. Эти задачи являются необходимыми этапами научного исследования. Цель науки есть практическое обладание предметом; эту конечную задачу надо иметь в виду в самых тонких изысканиях над самыми отдаленными от практики явлениями.

Однако у нас распространены другие взгляды на задачи науки. В цитированном предисловии к книге Вальцеля Жирмунский пишет: «Ценность научного исследования определяется не его доступностью и занимательностью для среднего читателя, не даже практической полезностью для общества, а той долей об'ективной истины, точного значения, которые заключает та или иная научная теория, система, дисциплина». И для Шкловского, для которого «шутливые, трагические, мировые, комнатные произведения, противопоставление мира — миру или кошки — камню равны между собой» (Розанов) задачи рисуются несколько в другом виде. И они прямо заявляют, что «задачи изучения искусства заключаются в описании художественных приемов данного произведения, поэта или целой эпохи, в историческом плане или в порядке сравнительном и систематическом» (Ж и р м у н с к и й, Задачи поэтики). Хотя Жирмунский и в этом колеблется и вызывает к методологии, чтобы та ему указала пути осуществления и пределы применения других приемов в изучении искусства, кроме эстетического. Члены «Опояза» крепко стоят на этой точке зрения. Но нет, задачи изучения искусства не заключаются только в описании, в каком бы порядке оно ни было сделано. Общая методология действительно дает нам указание этих задач, задач именно на-

учного изучения. И если мы хотим строить науку, а не что-нибудь другое, задачи нашего изучения должны быть научны. Задачи эти в общих чертах следующие: 1) собирание, описание и классификация материала, подлежащего изучению; 2) открытие и установление причин отдельных явлений в области изучения, открытие и установление законов их появления и смены; 3) с помощью полученных знаний о причинах и законах — об'яснение и истолкование явлений прошлого и настоящего, а также их предсказание. Об'яснение явлений настоящего для нашей науки имеет особенное значение, так как мы имеем дело не только с произведениями, возникающими вновь, но с громадным числом таких, которые появились в прошлом, часто очень отдаленном, но до сих пор сохраняют свое значение и в этом смысле могут быть причислены к явлениям настоящего. Каждый день и до сих пор большое количество произведений, созданных в разное время, своим содержанием — продуктами классовой апперцепции — организуют определенным образом апперцептивные массы читателей; поэтому их изучение носит практическое значение.

Итак, описание является только первой научной задачей и, в сущности, служебной. Но исследователь, для которого поэтическое произведение есть чистая форма, только «соотношение материалов» (слов), который ничего не хочет знать о содержании, никогда не сможет выйти за пределы описания. Он осужден без конца вертеться в этом узком кругу, воображая, что выполняет подлинно научные задачи. Тем не менее в этом есть хорошая сторона, описание важно для науки, и плодами работы исследователей, посвятивших себя формальному описанию, наука в будущем воспользуется. Но работы их все же много проигрывают из-за ложных предпосылок, оттого что они никак, ни на страницу, ни даже в заключении к работе не хотят выйти из своего заколдованного круга. В этом упорстве есть нечто фатальное и, несомненно, этому есть какие-то глубокие причины. Недаром Жирмунский говорит о нарождении «формалистического мировоззрения» и о «е д и н о-с п а с а ю щ е й научной теории». Он критикует это мировоззрение, но сам остается в пределах описания и сохраняет «материал» и «прием» в качестве рабочих понятий, а форму и содержание считает «важнейшим препятствием для построения науки о поэзии». Эта наука, видимо, не хочет итти дальше описания; в основе ее также лежит «единоспасающая научная теория». Она мыслится в виде исторической поэтики, с поэтикой теоретической, в качестве генерализирующей дисциплины. Материал и прием — основные понятия этой последней, они должны спасти ее от содержания. Но не странно ли иметь особую генерализирующую дисциплину для первого только и служебного этапа науки, с понятиями, которые явно мешают выйти в область следующей задачи? Это, во-первых, заставляет последнюю создать свою систему рабочих понятий, что страшно неудобно для исследования. Во-вторых, это осуждает нас на долгое время вплотную засесть в область описания, пока жизнь требует от нас выполнения третьей, главной задачи — закрыть уши и глаза на все остальное, что прямо противно свойствам человеческого ума, который стремится скорее дать хотя бы гипотетическое предварительное

об'яснение факту. Понятия же формы и содержания отлично приспособлены для того, чтобы свободно и быстро переходить от одной точки зрения к другой, от одной задачи исследования к другой, в чем очень нуждается наука. Позиция формалистов чрезвычайно характерна, и остается спросить, от чего их спасает «единоспасающая» (эпитет оценки) ненаучная теория? Верно, от чего-нибудь страшного.

Плеханов и современная критика.

А. Лежнев.

(К выходу в свет XIV т.)

Если выход в свет каждого нового тома сочинений Плеханова является для широких кругов читателей событием, если — в особенности — усердно изучаются его статьи о литературе и искусстве, то это еще не значит, что они получили признание со стороны тех, которые специально занимаются вопросами литературы и искусства, со стороны критиков и искусствоведов, даже марксистов.

У не-марксистов отношение к ним самое отрицательное, что, впрочем, не ново и не неожиданно. Для формалистов работы Плеханова—собрание догматических, априорных, произвольных и недоказанных положений, которыми не только нельзя руководствоваться в деле литературного исследования, но которые обязательно это исследование уведут в сторону, затруднят его или даже сделают вовсе невозможным. О типе их возражений может дать представление следующий (весьма близкий к действительности) диалог между марксистом и формалистом:

М. (указывал на XIV т. Плеханова). — Хорошая книга.

Ф. (поправляет). — Умная, но не хорошая.

М. (пародируя Ф.). — Потому и хорошая, что умная.

Ф. — Какая же хорошая! Вот Плеханов утверждает, что искусство падающего класса не может дать сколько-нибудь замечательных произведений. А позвольте спросить: когда и кем это было доказано? Никогда и никем. Пушкин — представитель какого класса? Падающего дворянства. Да, да, падающего — почитайте-ка письма той эпохи. А Лев Толстой? Считают образцом творчества молодого класса поэмы Гомера. А теперь доказано, что простота и архаичность «Илиады» стилизованы, искусственно подделаны под народную старину представителями высокой и клонившейся к упадку культуры.

Но и среди критиков марксистов существуют группы, относящиеся к Плеханову не менее (или немногим менее) отрицательно. Одни считают, что в статьях Плеханова мы имеем лишь ряд общих мест, пусть бесспорных, но закостеневших в своей бесспорности, ряд застывших, потерявших свою живую силу положений: род монумента, — быть может, и импозантного,

но мертвого. Для других (Чужак) Плеханов — последыш дворянской культуры, руководствующийся в своих суждениях об искусстве не об'ективно-научным марксистским критерием, а личными, по существу, консервативными, вкусовыми пристрастями. Наконец, третий (фор.-соц'ы) полагают, что Плеханов со своим методом ходит лишь вокруг да около искусства; его работы — не более как «рассуждения о рассуждениях». Это, в лучшем случае, очерки по истории культуры. Главный грех Плеханова в том, что он об'ясняет искусство общественной психологией. Между тем, об'яснять стиль общественной психологией так же нелепо, как формулу электро-мотора индивидуалистической психологией капиталиста. Понять социальную природу художественных формул значит непосредственно вывести их из техники и экономики общества.

Легко видеть, что некоторые из этих возражений противоречат друг другу. Если б, например, работы Плеханова были действительно собранием закостеневших в своей бесспорности общих мест, они бы не вызвали ожесточенных нападок фор-соцов. Нетрудно также видеть несостоятельность формалистских опровержений, отличающихся, правда, краткостью, но отнюдь не вразумительностью. Ни Плеханов, ни какой-либо другой марксист не утверждали, будто падающий класс подвергается поголовному физическому вырождению. Дело идет только об общественной деградации. Талантливые писатели, а значит и талантливые произведения могут появляться и у падающего класса, но то обстоятельство, что класс падает и деградирует, лишает художников, принадлежащих к нему, широкого и об'ективного взгляда на вещи, понимания и сочувствия великим идеям своего времени, — словом, ограничивает его горизонт и обедняет его содержание. Поэтому и в этом смысле шансы появления крупного произведения сильно уменьшаются. Что же касается Пушкина, то, конечно, его нельзя считать представителем падающего класса, ибо дворянство в ту эпоху далеко не сыграло своей роли, оно было единственным культурным классом, развитие русской культуры происходило тогда в нем и через него. Пушкина надо считать представителем не вырождающегося, а скорее буржуазно-перерождающегося дворянства. Что же касается Гомера, то если бы даже факт стилизации был твердо установлен (в чем мы сомневаемся), это бы и тогда доказывало не то, что хочет наш формалист, а совсем другое, именно: 1) что подающим классам свойственно подражательное, пассивное, декадентское искусство, т.-е. как раз то, что утверждает Плеханов, 2) что впечатление свежести, непосредственности, здоровья поэмы Гомера производит именно потому, что подражают народному, здоровому творчеству, творчеству молодых классов, т.-е. опять то, что говорит Плеханов.

Мы разобрали, конечно, лишь частное возражение формалистов. Но нисколько не убедительнее и прочие их аргументы, обнаруживающие только полное непониманье той теории, против которой они направлены. Нам уже пришлось однажды на страницах «Красной Нови» [1]) разобрать бо́льшую часть

[1]) «Красная Новь», 1924, кн. 4, «Среди журналов».

этих аргументов, так что сейчас мы считаем себя в праве ограничиться сказанным.

Очередное чудачество читинского Чужака можно было бы оставить без внимания. По собственному признанию этого Колумба, его великие открытия производятся им в состоянии сомнамбулизма, а подобные патологические состояния подлежат велению не литературной критики, а совсем другой отрасли науки. Но так как мнение, высказанное Чужаком, разделяется известным, хотя и небольшим, кругом лиц, причастных к искусству и интересующихся им, то придется на нем несколько остановиться.

Основной грех Чужака заключается в том, что он смешивает теорию Плеханова, с его суб'ективными оценками. Плеханов построил теорию научной, марксистской эстетики. Кроме того, он, в качестве критика, высказывал те или иные суждения по вопросам современного ему искусства. Эти суждения могли быть иногда и неверными, но это еще не доказывает неправильности его общих теоретических положений, подобно тому, как иные ошибки Маркса при оценке политической ситуации не доказывали ошибочности марксизма. Литературная критика не достигла еще степени точной науки, и вкусовые пристрастия в ней все еще играют заметную роль, особенно в текущей критике, где неизбежно приходится оперировать со многими неизвестными. От этого суб'ективизма, при настоящем положении искусствоведения, не могут быть свободны и самые архи-лефые критики, как бы они этого ни хотели. Но если суб'ективные «вкусовые» оценки у Плеханова были и не могли не быть, то совершенно неправильна их квалификация, как дворянско-эстетских уклонов. Да, Плеханов любил классическую литературу, любил Пушкина и Гете. К этому тяжкому греху надо прибавить еще одно преступление: он резко осудил искусство декаданса, символизм и ранний футуризм (напомним, что он знал только предреволюционный — и притом преимущественно французский — футуризм). Но вот странное обстоятельство: поклонником классической литературы оказывается и Маркс. Его любимые писатели: Гете, Шекспир и греческие трагики. Больше того; он считает, что пролетариату будет очень полезно познакомиться с античной литературой. В письме к Лассалю он советует ему придерживаться (в драматургии) Шекспира с его об'ективизмом. Те же взгляды разделялись и Энгельсом. Франц Меринг всю свою жизнь старается приблизить немецких классиков к пролетариату. Он называет германских рабочих наследниками Лессинга и Шиллера и утверждает, что только в социалистическом обществе Гете будет как следует понят и оценен. Этих воззрений придерживается и Клара Цеткин. Оба они характеризуют новые направления буржуазного искусства (символизм, футуризм, экспрессионизм) так же, как это делал Плеханов. К ним примыкает Роза Люксембург, страстная почитательница Гете и Толстого. Наконец, ту же мысль выражает Ленин, говоря, что Пушкина понимает и признает, а Маяковского не приемлет.

Мы привели все это не для того, чтобы укрыть Плеханова под сень непререкаемых авторитетов. Мы вовсе не думаем, что какая-нибудь мысль

становится правильный только от того, что она подтверждается рядом хотя бы самых авторитетных свидетельств. Но те, которые обвиняют Плеханова в дворянско-эстетских пристрастиях, должны были задуматься над следующим вопросом: хорошо, можно еще допустить, вообще говоря, что у Плеханова есть такие пристрастия, сохранившиеся, как своего рода атавизм: такие случайности мыслимы. Но чем же об'яснить, что эти пристрастия сказываются и у Маркса, Энгельса, Ленина, Люксембург, Меринга, Цеткин, т.-е. у людей, у которых классовое пролетарское сознание проявлялось с наибольшей чистотой, у людей, обосновавших и развивших то учение, метод, мировоззрение, которое и т. Чужак считает основной частью пролетарской культуры? Случайностью уж тут ничего не об'яснить, случайность тут превращается в правило. Остается одно из двух: либо предположить, что марксизм каким-то образом, но неразрывно связан с дворянским эстетизмом (что, конечно, достаточно нелепо), либо усумниться в правильности наклеивания на Плеханова дворянско-эстетского ярлыка и поискать, нет ли за суб'ективизмом его оценок какой-нибудь об'ективной закономерности, обязательной для марксиста. И мы считаем, что в высокой оценке классицизма и его пригодности и нужности для пролетариата, а также в осуждены искусства упадочного сказывается нечто гораздо большее, чем простое «вкусовое» пристрастие.

Перейдем к фор.-соцам (т.-е. сторонникам формально-социалистического метода). «Рассуждения о рассуждениях»—эта презрительная характеристика кажется многим убийственно-меткой. Мы решительно отказываемся понять в чем ее жало. Хорошо, пусть — «рассуждения о рассужденьях». Что же в этом плохого? Ведь и марксова «Критика политической экономии» была рассуждением о рассужденьях. Всякая критика есть рассужденье, а когда она касается каких-нибудь систем, идеологий, то она будет рассуждением о рассужденьях. В конце концов, любое литературное исследование, будь оно произведено даже фор.-соцом, есть не более, как «слова о словах».

Замечание о «рассуждениях» можно понять только так, что литературная критика должна не заниматься исследованием идеологии (точнее, содержания), а лишь исследованием формы: утверждение для марксиста по меньшей мере рискованное. Заслуга Плеханова отчасти и заключается в том, что он доказал, что такой взгляд на задачи критики несостоятелен. Но тот, кто утверждает, что Плеханов затрагивал только вопросы идеологии, «содержанья», обходя вопросы формы, стиля, тот, конечно, неправ. Несомненно, ударение в своих работах Плеханов чаще всего ставил на «содержании», но и в области социологического «об'яснения» стиля, смены одного стиля другим, он сделал немало. В этом отношении особенно интересна его статья о французской драме и живописи XVIII века. Мы позволим себе привести оттуда следующую, довольно длинную выдержку:

«Со стороны формы в классической трагедии должны, прежде всего, обратить на себя наше внимание знаменитые т р и е д и н с т в а, из-за которых велось так много спора впоследствии, в эпоху вечно памятной в летописях французской литературы борьбы романтиков с классиками. Теория этих

единств была известна во Франции еще со времен Возрождения; но литературным законом, непререкаемым правилом хорошего «вкуса» она стала только в семнадцатом веке... Пропагандистом теории трех единств выступил в начале тридцатых годов семнадцатого века Мерэ. В 1634 г. поставлена была его трагедия «Sophoniobe», — первая трагедия, написанная по «правилам». Она вызвала полемику, в которой противники «правил» выставляли против них доводы, во многом напоминающие романтиков. На защиту трех единств ополчились ученые поклонники античной литературы (les érudits), и они одержали решительную и прочную победу. Но чему они обязаны были своей победой? Во всяком случае, не своей «эрудиции», до которой публике было очень мало дела, а возраставшей требовательности высшего класса, для которого становились невыносимы наивные сценические несообразности предшествовавшей эпохи». «Единства имели за себя такую идею, которая должна была увлечь за собою благовоспитанных людей, — продолжает Лансон, — идею точного подражания действительности, способного вызвать надлежащую иллюзию. В своем настоящем значении единства представляют собой м и н и м у м условности... Таким образом торжество единств было на самом деле победой реализма над воображением».

Таким образом победила здесь собственно утонченность аристократического вкуса, возраставшая вместе с упрочением «благородной и благосклонной монархии». Дальнейшие успехи театральной техники сделали точное подражание действительности вполне возможным и без соблюдения единств; но представление о них ассоциировалось в умах зрителей с целым рядом других дорогих и важных для них представлений, и потому их теория приобрела как бы самостоятельную ценность, опиравшуюся на будто бы неоспоримые требования хорошего вкуса. Впоследствии господство трех единств поддержано было, как мы увидим ниже, другими общественными причинами, и потому и теория защищалась даже теми, которые ненавидели аристократию. Борьба с ними стала очень трудною: чтобы ниспровергнуть их, романтикам потребовалось много остроумия, настойчивости и почти революционной энергии.

Раз коснувшись театральной техники, заметим еще следующее.

Аристократическое происхождение французской трагедии наложило свою печать, между прочим, и на искусство актеров. Всем известно, например, что игра французских драматических актеров отличается некоторой искусственностью и ходульностью, производящей довольно неприятное впечатление на непривычного зрителя. Кто видал Сарру Бернар, тот не станет спорить с нами. Такая манера игры унаследована французскими драматическими актерами от той поры, когда на французской сцене господствовала классическая трагедия. Аристократическое общество XVII и XVIII столетий обнаружило бы большое недовольство, если бы трагические актеры вздумали играть свои роли с той простотой и с той естественностью, которыми чарует нас, например, Элеонора Дузэ. Простая и естественная игра решительно противоречила всем требованиям аристократической эстетики. «Французы не ограничиваются костюмом, чтобы придать актерам и трагедии необходи-

мые для них благородство и достоинство,—с гордостью говорит аббат Дюбо,— Мы хотим еще, чтобы актеры говорили тоном более высоким и более протяжным, чем тот, которым говорят в обыденной речи. Это более трудна манера, но в ней больше достоинства. Жестикуляция должна соответствовать тону, потому что наши актеры должны обнаруживать величие и возвышенность во всем, что они делают».

Почему же актеры должны были обнаруживать величие и возвышенность? Потому, что трагедия была детищем придворной аристократии и что главными действующими лицами в ней выступали короли, «герои» и вообще такие «высокопоставленные» лица, которых, так сказать, долг службы обязывал казаться, если не быть, «величавыми» и «возвышенными». Драматург в произведениях которого не было надлежащей условной дозы придворно аристократической «возвышенности», даже при большом таланте никогда не дождался бы рукоплесканий от тогдашних зрителей» (Плеханов, т. XIV стр. 97 — 99).

Здесь мы видим, что Плеханов выясняет происхождение именно элементов формы. При чем непосредственного «об'яснения» он ищет в классовой психологии, хотя принимает в расчет и другие моменты, как, например уровень театральной техники. Мы всецело разделяем взгляд Плеханова согласно которому экономика определяет развитие идеологий, в том числе и искусства, большей частью лишь в последнем счете, непосредственное же ее влияние проявляется довольно редко (кстати, в этом отношении он является лишь верным учеником Энгельса). Но если бы нужно было искать еще одного, лишнего доказательства того положения, то мы вряд ли бы нашли лучшее, чем то, которое дано в цитированной выше статье Плеханова Явления стиля об'ясняются у Плеханова особенностями классовой психологии естественно и без натяжек. Этого нельзя сказать про те об'яснения, которые даются фор.-соцами (непосредственное выведение искусства из экономики вернее, из техники), где всегда имеются огромные натяжки. При чем Плеханов не останавливается на социологическом «об'яснении» тогда, когда оно кажется возможным. Он ведет свой анализ до тех пор, пока данное «об'яснение» становится не только возможным, но и необходимым. Отсюда его многочисленные ссылки на современников (т. е. на представителей той эпохи к которой относится разбираемое явление искусства). Без их свидетельства об'яснения кажутся ему лишь догадками. Между тем этот последний момент совсем не интересует фор.-соцов, которые довольствуются отысканием дедукции, схемы, в которую с бо́льшим или меньшим членовредительством могут быть уложены живые явления и факты искусства.

Конечно, анализ Плеханова не доведен до конца. Анализируя классическую трагедию, он касается только двух формальных моментов («три единства» и особенности игры актеров), оставляя в стороне целый ряд других (строение стиха, диалог и т. д.). Но важно, что тут дана исходная точка руководящая нить, которую легко продолжить дальше. Исходная точка — выведение особенностей стиля из классовой психологии. Пример применения этого принципа — историко-социологическое «об'яснение» трех единств. При

чем здесь помимо социально-психологического момента Плеханов приводит в качестве момента второстепенного — уровень театральной техники (так как театральная техника в большой степени зависит от общего уровня техники, то здесь мы имеем, в известной мере, непосредственное влияние техники). Если бы мы от рассмотрения трех единств перешли к анализу стиха, то исходная точка (классово-психологический момент, т.-е. в данном случае вкусы и настроения французского дворянства) осталась бы та же, но вместо одного побочного фактора [1]) высоты театральной техники — мы имели бы другой: уровень предшествовавшей стихотворной техники, влияние предшествовавшей литературы, с ее точками отталкивания и притяжения.

В сущности, бо́льшая часть нападок на Плеханова сводится к тому, что он не дал ни одного образца до конца детального исследования формы. Верно, не дал. Но он дал рамки такого исследования, которые будущему исследователю-марксисту останется заполнить, и — отчасти — показал, как их нужно заполнять.

Если в большинстве случаев неправы противники Плеханова, то не всегда умело пользуются его наследством его сторонники. Его статьи часто обращают в какую-то критическую рецептуру, в поваренную книгу критики, — или делают их об'ектом схоластических упражнений. К такого рода схоластике мы относим длинные споры о том, что выше: форма или содержание. Форма и содержание слиты в одно целое (ведь и Плеханов цитировал Гете: Nichts ist innen, nichts ist aussen) разделение их есть только м е т о д о л о г и ч е с к и й прием, — правда, необходимый. Но раз так, то нельзя спрашивать: что выше или что важнее? Что выше: физико-химические изменения, происходящие в мозгу, или наши суб'ективные ощущения, являющиеся другой стороной этих процессов? Речь может итти лишь о том, что важнее для исследования. И тут, когда Плеханов говорил о приоритете «социологического эквивалента» над формальным анализом, он подразумевал не непременно определенную последовательность во времени (раньше «социологический эквивалент», потом — формальный анализ), а скорее установление степени важности. И он прав: анализ содержания потому уже важнее, что без него нельзя понять форму. Обратное же положение, т.-е. что без формы нельзя понять содержания, не будет иметь силы, или — во всяком случае — не будет ее иметь в такой степени.

[1]) Понятие фактора мы берем, конечно, условно, не как самостоятельные сущности, но как ряд надстрочных образований, сводящихся к действию одной общей материальной причины—развитию производительных сил.

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ.

Константин Федин. Города и годы. Роман. Государственное Издательство. Ленинград 1924 г. Стр. 385.

Роман К. Федина — несомненно явление крупного масштаба, литературный факт большого значения. Тем самым он обязывает подойти к себе с особым вниманием и быть строгим в его оценке как целого, так и деталей.

Есть литературные произведения, которые, не отличаясь исключительным совершенством, знаменуют собой новые достижения, повороты или носят в себе зародыши освежающего будущего, тенденции развития. Таков роман Федина «Города и годы».

Но раньше о недостатках.

Они преимущественно сосредоточены в бледных, олитературенных, как бы пустых героях романа. Как-то не веришь автору, что его герои действительно живут в романе даже своей ограниченной художественной жизнью. Андрей Старцов, Курт Ван, Мари фон-Урбах, (наиболее отчетливо выступающая фигура, несмотря на выпирающую из нее литературность) — скорей схемы героев, знаки, сигнализующие о фазах разворачивающейся фабулы, чем реальные художественные образы. Второстепенные и эпизодические действующие лица романа: старик Щепов, окопный профессор, Пауль Генниг, monsieur Перси, Феодор Лепендин ярче запечатлеваются, чем лица, организующие основную фабулу.

Так и напрашиваются вопросы. Почему Андрей Старцов поступает именно так, а не иначе? Читатель не подготовлен ни к одному его поступку. Почему и каким образом Курт Ван становится большевиком? Он в равной мере мог им быть и не быть. Какая связь между Мари-девочкой и Мари взрослой? На все это в романе нет ответа. Все главные герои живут в каком-то авторском инкубаторе, где они подвергаются искусственному и быстрому взращиванию, не поддающемуся наблюдению посторонних. Бледность и какое-то призрачное существование Андрея Старцова, Вана, Мари — результат недостаточно органического роста (разумею художественного), постепенного, из главы в главу, от шага к шагу. (Герои Федина задуманы не как типы, не как обобщенные характеры, как, например, у Гоголя.)

Основная ткань романа заткана узором городов (Петроград, Нюренберг, Бишофсберг, Семидол) и «тех лет» (1914—1922). Необычайная мозаичность в манерах описаний, составляющих добрую и самую лучшую половину романа, характерна для этой вещи. От диккенсовской наивности и лиризма, от риторической патетики Гюго, от детализованного психологизма русского романа, от напряженности и порывистости экспрессионизма до — откровенной банальности, преподнесенной с большой смелостью и сравнительной удачей — вот амплитуда колебаний Фединской манеры в романе.

Все описания самоценны и довольно тесно уживаются рядом, вне фабульного стержня романа, который сильно заслоняется этим большим и интересным материалом. В этом материале, в этих описаниях — вся сила и ценность «Городов и годов». Они же дали, к сожалению, возможность Федину перетасовать всю вещь, как колоду карт.

Большая форма, роман, не определяется количеством печатных листов. Богатство материала, как бытового, описательного, психологического, даже философского и публицистического, всегда неизмеримо раздвигающего рамки основной фабулы,

отличают роман. Взять хотя бы романы Толстого, Достоевского, Диккенса, Бальзака, Флобера, Золя. Надо сознаться, что нами утрачено искусство такого романа. Его заменил рассказ, повесть или сюжетный пятилистный роман западного типа.

У Федина в «Городах и годах» особенно ценна тенденция к возрождению романа, богатого разнообразным современным материалом и спаянного крепкой фабулой. Вот почему «Города и годы», несмотря на неудачу, несмотря даже на сплошную литературную ориентированность, кажутся значительным явлением, шагом вперед по пути к созданию большого, охватывающего разнообразный жизненный материал, произведения. Насколько силен в настоящее время «социальный заказ» на большие вещи, свидетельствует почти поголовное обращение писателей к романам и большой успех их в читательской среде.

Связь К. Федина с традициями, идущими от «высокой» литературы, головой выделяют «Города и годы» из среднего литературного уровня. А это уже очень большая удача.

Ник. Беленький.

Петр Орешин. Соломенная плаха. Стихи. Том второй. Государственное Издательство. Москва-Ленинград 1925. Стр. 215.

Нам кажется, что Орешин больше всего верен самому себе не тогда, когда декламирует:

Мы — люди железа и стали,
Мы — в жизни железная мощь.

И даже не тогда, когда принимает скифское обличье и учит быть безмерными в дерзаньи и разрушеньи:

Когда мы ночью воем в темень,
Нам вторит гром. — Кто хочет выть?—
Хватай горящие поленья,
Учись гиппопотамом быть.

В первом случае нам слышится Кириллов, во втором — Блок. Но собственный голос Орешина мы узнаем в других стихах. У них мрачный колорит, и ритм протяжных строк с волнообразными подъемами и опусканьями падает, как тяжелая осенняя вода:

Скорбная жизнь льдом серебряным оковала душу.
Жил для себя, ни в бога, ни в чорта не веря.
Тайная скорбь человека одинокого сушит,
Злая тоска оборотит голубя в зверя.

Тайная скорбь одинокого человека — вот первый лейтмотив орешинской поэзии. Мы вступаем в своеобразный внутренний мир человека, озаренный каким-то фантастическим, невеселым светом. Нужда, несчастья, одиночество обостряют лихорадочную смятенность до предела. Мир представляется собранием лицемерия и жестокости. Стоит ли цепляться за жизнь?

Мать и отец, зачем вы меня родили?
Думать о смерти да дрогнуть от стужи?
Знаю, таким-то, как я, даже в могиле,
В земном застенке не может быть хуже!

И вдруг в момент предельного обострения отчаянья:

Бью! — слышите? — бью в золотые литавры!
Голоден, бос, весь оборван — пляшу!
Завтра залезу в окно Троицкой лавры,
Кружки взломаю и огни потушу!
Но «ответ ли это, полно»?.

Приведенные выше стихи написаны в 1917 г. и являются отзвуком постигшего поэта несчастия — смерти жены. Позже их сменили звонкие слова о радости и буйстве, о красном поезде, у которого паровозом — солнце, но хмурый человек с тайной скорбью одиночества не ушел, не исчез и продолжает видеть невеселые сны наяву:

Так приснилось: будто в самом деле
Я спешу на очень важный суд.
Дули ветры, яблони шумели,
Путь лежал не долог и не крут.

Судьи ждали за столом зеленым.
Я вошел — ни комната, ни сад.
Не кресты, не светлые погоны —
Очи судей вкруг меня горят.

Сел я тихо на скамью, на пень ли,
А зачем — не вспомнить, не постичь.
Прямо в ухо ножницы запели,—
Мне понятно: решено остричь.

Я острижен. И хохочут судьи.
Я потрогал голову, и ах! —
Неужели так всегда и будет:
Плешь, и рядом волос на ушах?

Все хохочут. А мне стыдно, стыдно.
Нахлобучил шапку и стою.
А проснулся. Надо в суд, и видно:
Опозорят голову мою.

И голос одиночества говорит и теперь не менее внятно, чем прежде —

Куда ни лягу — темный голос:
— Уйди, чужой, не гадь двора!
И чую я, что каждый волос
Мой поседеет до утра.

Поэт прорывает круг одиночества и его тайной скорби. Один из этих прорывов — в общественность. У Орешина много революционных стихов. Один из отделов книги — и притом самый большой («В золотых громах») почти целиком занят ими. Далеко не все они удачны. Стихи его об одиночестве гораздо лучше; они способны волновать, а эти только скользят по поверхности сознания. Точно так же не кажутся нам удачными поэмы, особенно «Метель». Опять находит себя Орешин в последних отделах книги, «Самовольные цветы» и «Соломенная плаха». В «Самовольных цветах» собраны интимные, пейзажно-лирические стихотворения, светлые по настроению, представляющие полный контраст с мрачными строками «Волчьей жизни» (первый отдел книги). Некоторые из них очень хороши, напр., «Дождь»:

Горохом дребезжал по жести
И бил в окно ко мне.
А гром потом далекой вестью
Шел в синей вышине.

«Соломенная плаха» занята деревенскими мотивами и является как бы credo (Верую) поэта.

Глаз мужичий тягостен и страшен
Смотрит ночь из-под лесных бровей.
Пот и кровь — от выгонов и пашен,
От рубах и черноземных шей.

Сердцем чую: никогда не брошу
Темень изб и злобу ржавых спин.
Я готов их тягостную ношу
На себе перетаскать один.

Край родной, соломенная плаха,
Всем на шею вечная петля.
Но люба мне потная рубаха,
Черный хлеб и сивая земля.

Будут вечно мне милы разгулы,
Звон стаканов, посвист молодца.
Смех до слез и каменные скулы
Вечно, вечно битого лица.

Это — знакомые слова. Мы их слыха[illegible] и у Есенина, и у Клычкова, и, конечн[illegible] не с Есениным и Клычковым они родилис[illegible] Это — старая народническая романтик[illegible] которую, вероятно, не так еще ско[illegible] изживут наши крестьянские поэты. Схо[illegible]ство между Орешиным и Есениным [illegible] Клычковым объясняется не подражанием[illegible] а внутренней близостью. Общим у Есени[illegible] и Орешина является не только мотив люб[illegible] к соломенной, темной, битой и разгул[illegible]ной деревне, но и сознание того, что э[illegible] деревня постепенно уходит в прошло[illegible]

Ой, Русь соломенная, где ты?
Не видно старых наших сел.
Не подивлюсь, коль дед столетний
Себя запишет в комсомол.

Иные ветры с поля дуют,
Иные шепчут ковыли.
В страну далекую, родную
Шумят крылами журавли!

И если он иногда и замечает с бол[illegible] что вместе со старой деревней уход[illegible] и близкая ему поэзия тоски и разгу[illegible] («С кровавой болью замечаю: не люб[illegible] песен полевых»), если он иногда и говори[illegible]

Не хочу железных небоскребов,
По полям железной красоты...

то все-таки, в конце концов, он приве[illegible]ствует то новое, что идет на смену старом[illegible] железную Русь, которая станет не мес[illegible] соломенной:

Вы меня не таким загадали
И напрасно связали с избой.
Ураганы железа и стали
Пронеслись над моей головой!

А когда вся Россия согнулась
Под ярмом нищеты и борьбы.
Я ушел от соснового гула
И от лунной ушел ворожбы.

Наплевал я на бабкины сказки,
Бочку соли ей, ведьме, под хвост.
Не цедите за рощей, подпаски,
Молоко из заоблачных звезд.

Это ваши уловки и сети,
Будто солнце — котенок в избе.
Только бабы в ночном полусвете
Все еще говорят о судьбе!

Будет врать о любви и о боге,
И о многом и многом другом.
Не вернут вас ни кони, ни дороги
В старорусский родительский дом.

Есть ли противоречие между Орешиным «Волчьей жизни» и «Соломенной плахи»? Нам кажется—нет. Городское одиночество поэта и его деревенская романтика — две стороны одного и того же явления. Мрачные ритмы «Души на кресте» и легкие строки «Самовольных цветов» связаны глубоким единством. Корни этого единства в деревне.

А. Лежнев.

Стефан Жеромский. Канун весны. Изд. «Прибой». Ленинград 1925 г. 320 стр.

Книга Жеромского ни в коем случае не заслуживает того шума, который вокруг нее поднят. Со всех точек зрения, общественной и формальной, ценность ее совершенно ничтожна. В ней нет ни революции, ни контр-революции, — налицо идейный разброд, головокружение маленького человека, оглушенного и ослепленного нашей вулканической эпохой. Если в правом кармане он хранит катехизис старой буржуазной веры, то в левом, на всякий случай, припрятан слабый раствор демократизма. В идейном винегрете Жеромского можно найти все, что угодно—петушиный польский патриотизм, несколько стручков «красного перца» и даже христианское непротивление злу. И вся эта мешанина поднесена читателю под соусом неуклюжего остроумия, беспомощных претензий блеснуть фейерверком парадокса. Детально разобрать роман мы считаем делом совершенно ненужным — «Канун весны» этого не заслуживает. Остановимся лишь на некоторых, наиболее существенных его моментах.

Несмотря на то, что Цезарий Барыка, центральная фигура романа, выписан медленно и подробно, с пеленок до зрелых лет включительно, сей молодой человек движется перед глазами читателя в густом, непроглядном тумане.

По пути в Польшу, похоронив отца, Цезарий готов бежать с пол-дороги в революционную Россию. Почему? Для каких целей? — Неизвестно. Но некий ксендз берет его решительно за руку, и Цезарий покорно возвращается в вагон для того, чтобы, приехав в Польшу.. с головой уйти во всяческие флирты и пикники.

Неожиданно на юношу обрушилось несчастие — он получил хлыстом по щеке от жениха его любовницы, Лауры. и выгнан вон из ее дому. В том кругу, где обретается Цезарий, такая история обычно кончается дуэлью. Автор же превращает удар хлыстом в повод для... социального перерождения Цезария: он стрелою летит из помещичьей усадьбы в хижину безземельного польского батрака зажечься возмущением против буржуазии и помещиков. Что общего меж «любовным хлыстом» и революционным пафосом — одному Жеромскому известно. Придя со своим приятелем, Люлеком, на тайное собеседование революционного кружка, Цезарий Барыка приводит всех присутствующих в негодование путаницей своих политических «убеждений», а несколькими страницами ниже, без всяких логических переходов, неожиданно становится с Люлеком... во главе рабочей манифестации:

«В первом ряду большой толпы шли, держась за руки, идейные представители, в их числе Люлек и Барыка»...

О Барыке вы уж кое-что знаете.

Не безынтересен и «товарищ» Люлек: «...Читая о жестоких наказаниях контр-революционеров, о мучениях сотен и тысяч людей, о казнях без суда и расстреливании каждого десятого заложника, он бледнел от удовольствия. Руки его дрожали в такие минуты и лицо сияло, точно в глубоком

экстазе... Люлек не только чувствовал себя тогда, но и действовал мысленно — «в стране неверных».

Заметьте при этом, что характеристики обоих «героев» даны автором без малейшего намека на иронию, на замаскированное издевательство:

— Нате, мол, смотрите, — кто несет впереди рабочих революционное знамя.

Автор наивен в этом отношении до... глупости и полагает, что такие факты в порядке вещей. Доказательством того, что Жеромский далек от мысли отобразить революционный порыв в кривом зеркале служат многие страницы романа, где автор в очень невыгодном свете выставляет «культурных» европейцев, заливших Кавказ во время оккупации потоками человеческой крови; третья часть романа, озаглавленная «Ветром с востока», местами прогрета симпатией к красной Москве. Но такие частности не на много уменьшают идейное убожество романа. Что касается формальной стороны — «Канун весны» из рук вон плохо сделан. По роману плавают огромные публицистические льдины, описание действия часто заменяет самое действие, живописные элементы до неприличия безвкусны и пошлы. Характерно, что такое парикмахерское слово, как «изящно», без конца повторяется на всем протяжении романа. Изящный костюм, изящная красавица, изящная обстановка и множество всяких других изящностей.

Внимание, оказанное в Польше «Кануну весны», понятно — на Западе всякую детскую трещотку больные нервы буржуа готовы принять за взрыв большевистской бомбы. Но совершенно непонятны шумные разговоры о романе наших критиков и рецензентов.

К бутылке с водою они по рассеянности прилепили бензинный ярлык:

— Беречь от огня.

Федор Жиц.

Сибирские огни. Общественно-литературный журнал. № 1. Январь — Февраль. 1925 г. Сибирское краевое издательство. Новониколаевск. Стр. 270.

Журнал носит определенно выраженный местный отпечаток — и это хорошо. Сибири посвящена большая часть стихов на сибирские темы написаны два рассказа (из трех) и почти все статьи. Это придает журналу своеобразную физиономию; видно что он растет из местной, сибирской почвы а не является пересадкой чужеземного московского растения, филиалом столичного журнала.

Самая большая и, пожалуй, интересная вещь в рецензируемом номере — повесть Якова Брауна «Самосуд». Интересная — не значит, конечно, художественно выдержанная. Как раз с этой стороны повесть имеет много недостатков. Написана она в многословном, неврастеническом и довольно безвкусном стиле, в котором перемешаны и Леонид Андреев, и Андрей Соболь, и... Андрей Белый. Особенно эти безвкусица, бесхарактерность, претенциозность проявляются в первых страницах повести, но когда одолеешь начало с бесконечно и «красиво» резонерствующими героями, начинаешь понемногу отдавать должное автору, который сумел довольно ярко изобразить своих героев, многословных и несколько рисующихся интеллигентов, попорченных реакцией, наступившей после 1905 года и бросившихся в революцию для того, чтобы переродиться, набраться свежей крови, обрести более красочное и полное существование. Перерождение вышло не совсем удачным: в революционере остался прежний резонерствующий и неврастеничный, гамлетизирующий и немножко самовлюбленный интеллигент, углубленный в свое «я», при удобном случае готовый вновь отдаться приятной работе самоанализа. Настоящего слияния с «народом» не произошло. Между революционной толпой и героем повести Михаилом Троппом всегда остается какая-то грань, и только в редкие минуты удается ее переступить. Не знаю, сознательно ли это сделал автор или бессознательно, но он очень ядовито отметил одну характерную черту у своего героя-эсера: он хороший оратор, но действие его речей сводится, главным образом, к тому, что он заставляет слушателей плакать: плачут барышни, дамы, плачут бабы, плачут крестьяне, плачет, наконец, сам оратор: настоящий слезный поток. Эта сентимен-

тальная размагниченность соединяется у героя Михаила Троппа с большой смелостью, даже героизмом, но несколько истерического и странного — и характерного в своей странности — оттенка: он и в героизме своем чувствует себя обреченным, он идет на жертву, на Голгофу. Толпа, науськиваемая черносотенными прапорщиками и торговцами, убивает его. В этой заключительной сцене остается какой-то полусимволический привкус. Михаил Тропп знает, что он идет на гибель, на «распятье», — и на гибель, пожалуй, бесполезную, — он идет как-будто для того, чтобы снова подтвердить слова о толпе, побивающей своих пророков камнями, чтобы противопоставить косности массы героизм личности, одиночки. «Вы хотите распять и меня? Распните, я не вооружен, не бойтесь»,— распахнул пальто, вывернул порывисто карманы наружу, — не бойтесь, торговки, не бойтесь, прапорщики, кулаки и гады! Смело разите дрекольем, смело в грудь стреляйте! Что же вы медлите, что вы бледны и трясетесь, а я, безоружный, в лицо плюю вам свое презрение. Не сме-е-те? От-шат-ну-лись? Я ухожу... Но помните: партия героев мучеников, партия борцов за вулканическое «завтра» проклятьем покроет ваши кровавые тени!..»

Правда, в последнюю минуту перед смертью Михаил Тропп видит другой путь, чем путь героического мученичества. Перед ним встает «восставший октябрьский народ», который «тысячекратно мудрее и больше» его. Но этот путь только намечен, он обрывается гибелью героя.

Я. Браун показал в лице своего героя типическую фигуру, общественно-психологический тип, в этом интерес и значение повести. Ошибка же автора в том, что он почему-то вообразил, что о многоречивых и развинченных своих героях ему нужно рассказывать тоже многоречиво и развинченно. Он их обрисовал жестко и правдиво, но мы бы предпочитали, чтоб это было сделано сдержаннее, мужественнее, с большим достоинством и большим вкусом.

Из остальной беллетристики надо отметить сильный, крепко сделанный рассказ Р. Фраермана «На мысу» и «Родионову заимку» Ал. Богданова.

Довольно много стихов. Поэма Л. Мартынова «Зверуха» написана легким, мелодическим стихом; чувствуется влияние тихоновского «Сами». Не плоха «Якутская повесть» М. Скуратова.

Что касается статей, то они часто отрывочны, суммарны, неинтересны. Таковы: «Петрашевский в борьбе с произволом Минусинских властей», «Достоевский в Омской каторге», «Сибирь XVIII века». Статьи о Петрашевском и Достоевском очень бедны фактическим материалом; материал этот недостаточно ярок и значителен, чтоб заинтересовать читателя неспециалиста. Их следовало бы скорее опубликовать в каком-нибудь специальном историко-исследовательском журнале. Наиболее интересными из статей являются: воспоминания Вегмана «Почему я пошел в ссылку» и обзор В. Правдухина «Литературные течения современности», написанный живо и интересно, — хотя, должны оговориться, мы не согласны с некоторыми оценками и положениями автора.

А. Лежнев.

А. Соболь. На каторжном пути. Изд-во «Красная Новь» (Госиздат). 1924 г. Стр. 69.

Небольшая книга А. Соболя производит впечатление, которое трудно забыть. Автор, бывший политкаторжанин, рассказывает в ней о том, что сам пережил, рассказывает с большой искренностью и силой. Перед читателем встают царские тюрьмы, бесконечные переходы, каторга, ужасная «Колесуха», потрясающая картина издевательств, истязаний, унижений, которым подвергались «политические» заключенные. Уже одного фактического материала было бы достаточно для того, чтобы сообщить этой книге неослабевающий интерес. К этому надо прибавить ее незаурядные литературные достоинства. Несомненно, в художественной манере А. Соболя есть некоторые отрицательные особенности, в его лиризме чувствуется неврастеничность и развинченность. Есть лирический тон такого оттенка и в рецензируемой книге, но он приглушен и общего впечатления не портит. Расположение материала, сильные мазки, отбор характерных и много-говорящих подробностей —

все это показывает уверенную и смелую руку. Как правильно отмечает издательство в своем предисловии, «особенное значение приобретает книжка А. Соболя для тех, кто знает ужасы царской каторги лишь по наслышке, издалека;—для рабоче-крестьянской молодежи».

А. Л.

Б. Томашевский. Теория литературы (Поэтика). Гиз. Лнгр. 1925. Стр. 232.

Просто и доступно изданная Ленгизом «Поэтика» Б. В. Томашевского является первым на русском языке опытом изложения основных элементов науки художественного слова в свете ее новейших достижений. То, что мы имели до сих пор по этому вопросу, либо совершенно устарело, как догматические «пиитики» эпохи классицизма, либо неудовлетворительно в научном отношении, как большинство школьных «теорий словесности», либо бьет мимо цели, как переводная книжка Р. Мюллер-Фрейнфельса (Поэтика. Харьков. 1923). И нужно сказать правду — из своего испытания автор вышел победителем. Не то чтобы его работа была лишена каких бы то ни было недостатков. Напротив, в упрек ему можно поставить весьма многое: и общую догматичность изложения, и чрезмерную компилятивность — без всякой критики принята, напр., теория повторов Брика, во многом устаревшая — и, пожалуй, уступчивость отжившим традициям. Так, определение рифмы, как «созвучия (совпадения звуков) концов стихов, начиная с первого (?) ударного гласного» (стр. 110) режет ухо даже неискушенного читателя — ср. определение В. М. Жирмунского (Рифма, ее теория и история. Пб. 1923, стр. 9). Даже в наиболее разработанном отделе — сравнительной метрике — встречаются суждения, с которыми можно было бы поспорить на страницах специальных научных изданий. Вызывает возражения и самая группировка материала — выделение в самостоятельный отдел метрики (стр. 72—132), в то время как семантика (учение о тропах) уместилось на 13 страницах; тот факт, что Б. В. Томашевский является специалистом по метрике, еще не служит достаточным оправданием. Но все указанные недостатки с избытком окупаются выдающимися достоинствами книги: систематичностью изложения, ясностью отдельных определений, примерной лаконичностью — отдел тематики, со включением композиции, уложился без сколько-нибудь значительных упущений на 78 страницах. Наконец, нужно принять во вниманье, что автор писал не ученый трактат, а школьный учебник. Томашевский уже дал нам ряд ценных исследований по пушкинской метрике, о проблеме ритма, образцовый учебник стиховедения. Рецензируемую работу, подводящую некоторый итог прежним изысканьям и намечающую пути дальнейших, можно горячо рекомендовать всем ищущим литературного образования. Приложенный библиографический указатель, составленный С. Д. Балухатым, не претендует на полноту, но хорошо ориентирует в современной поэтологической литературе.

И. Сергиевский.

В. Виноградов. Гоголь и натуральная школа. «Образование». Л-д 1925 г.

Новую книжку В. Виноградова нужно рассматривать как очередную главу в общей попытке построить историю литературы на принципах формализма и главу очень характерную для этой попытки. Большая часть книжки (38 стр. из 71) посвящена обзору предшествующих работ по изучению гоголевского стиля. Здесь в критических замечаниях автора уже видны его собственные устремления. Ошибка проф. Мандельштама: он предлагает серии стилистических явлений индивидуально-психологическое объяснение. Приемы объяснения и систематизации часто лежат у него вне сферы лингвистики и литературы. С другой стороны: «ни эволюция стилистических форм Гоголя, ни органическое единство его стиля, как отражение индивидуально-поэтического сознания—не раскрыты». Ошибка Розанова: он подвергает формы гоголевского стиля психологической интерпретации; получается раздвоенность: «объективное описание стилистических явлений и «философическое» прикрепление их к психическим своеобразиям лич-

ности писателя». Ошибка большинства работ о стиле Гоголя: «они не занимаются проблемой генезиса гоголевского стиля, его литературных традиций. Они лишь описывают формы гоголевского стиля»... Ошибки В. Ф. Переверзева: 1) он урезывает гоголевскую поэтику, чтобы уложить ее на социологический фундамент; 2) формально-эстетический анализ лишь механически связан у него с социологическими рассуждениями. «Стоит только выйти за пределы творчества Гоголя к его литературным предтечам, чтобы увидеть настоящие истоки гоголевских приемов и убедиться в их свободе от «мелкопоместного» прикрепления. Неудача Переверзева от коренной антиномии историко-литературной и социологической трактовки художественного материала» и т. д. Итак: не описание, а эволюция и генезис. Но генезис этот не в индивидуально-психологической интерпретации или социологическом прикреплении, — это все «философия» — а за пределами творчества, в литературных предтечах, но в пределах лингвистики и литературы. И носитель «генезиса» и эволюции не человек в определенных общественных отношениях, а творческое сознание; это не причина «генезиса» и эволюции, а отвлеченный их субстрат, которому можно приписать все, что угодно, ибо он ни за что не отвечает. В этом состоит «объективность» и отсутствие «философии».

В положительной части работы эти принципы применяются на деле. Объективно, литературно-лингвистически, т.-е. давая лишь поверхностное гистологическое описание гоголевских текстов, автор ищет для них «генезиса» и находит его в изобилии. Державин, Пушкин, Жуковский, Вальтер Скотт, «грязные» жанры, фарс, украинский кукольный театр, Стерн, Гофман, Жюль-Жанен, Гюго, романтизм, сентиментализм — весь Гоголь состоит из этих наслоений; каждый шаг сделан им под влиянием одного, другого, третьего. Все они свободно плавают в опустошенном сознании Гоголя, сцепляются, сливаются, борются, побеждают. В этом — эволюция творчества, уже, конечно, поэтому свободного от «мелкопоместного прикрепления». Интересна внешняя мотивировка этой свободы: «сентиментальная поэтика органически вросла в художественный мир Гоголя и, как один из его уголков, всегда готова была раскрыться»... или «Гоголю суждено было стать вне форм современной ему литературной речи: он мог быть или архаистом или демократом-новатором», и т. д. Если бы мы спросили автора, почему «органически вросла», почему «суждено было», он предложил бы нам не философствовать. Так дается история гоголевского творчества, как часть истории литературы вообще. Как видим, эта история лишена всякого метода, в ней нет никакой возможности разобраться, отличить важное от неважного, основное от наносного. Автор как бы вымеряет крыши замка и говорит «здесь крыше суждено сделать угол в 45⁰», а когда ему замечают, что в этом месте ведь построена башня для защиты замка, он отвечает «не философствуйте, это уже не литература». На таких принципах и без всякого метода построить науку нельзя. Поэтому так жалки выводы работы. Кажется, единственный тот, что в результате борьбы традиции в гоголевском сознании создался «натурализм». Но он оказывается «иллюзией подлинных «кривых рож», так как отражающее «кривое зеркало» завуалировано, скрыто» и сам автор ставит этот термин в кавычки.

Однако при всей своей методологической беспомощности, работа В. Виноградова является резюме долгих и вдумчивых изучений гоголевских текстов, и потому в ней есть ряд ценных наблюдений, по вышеуказанным причинам непонятых и неиспользованных. Так из описания автора можно видеть, что у Гоголя всегда было тяготение к изображению грубой «провинциально-захолустной натуры» (не будем пугать автора мелкопоместным бытом) и к пользованию свойственным ей языком, но всегда боялся он показать ее во всей неприкрытой неприглядности и стремился повысить свой стиль разными средствами. Ценно еще, например, указание на сродство языка рассказчика-автора с языком героев-провинциалов. У всего этого есть свой генезис, гораздо более глубокий, чем тот, на который указывает автор. И печально видеть, как недюжинные силы тратятся на половину зря из-за принципиального нежелания работать научно.

Г. Поспелов.

Н. Рожков. Русская история в сравнительно-историческом освещении. (Основы социальной динамики.) Том десятый. Разложение старого порядка в России в первой половине XIX века. Издательское товарищество «Книга». 1924. 385 стр.

Книга заслуживает всяческого внимания. Н. А. Рожков — старый историк-марксист, четверть века тому назад выдвинувшийся монографией о сельском хозяйстве в Московской Руси и потом много и дельно писавший по русской истории — как в исследовательском, так и в популярном типе. Его новая книга трактует о первой половине XIX века, столь богатой всякими движениями. В ней говорится и о декабристах, и о петрашевцах, и о славянофилах и о западниках, даются очерки русского пластического искусства, характеризуется Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Белинский, Достоевский. В изложении применяется метод исторического материализма. Наконец, самый объем книги (около четырехсот страниц) ставит ее в категорию солидных исторических трудов, все еще редких в нашей марксистской литературе.

Как же оценить эту новую книгу?

Она обладает несомненными достоинствами. Рожков мобилизует обширный материал. В области крепостного хозяйства он привлекает иногда архивные, неизданные документы. В других случаях он использует печатные источники, еще не попадавшие в научный оборот. Таковы, напр., старинные издания: «Земледельческий Журнал» и «Русский Земледелец» (20—30 годов). Из новейшей историко-экономической литературы Рожков также вводит много такого, чего не было еще в общих обзорах по русской истории. Обширный материал укладывается в стройную схему из нескольких рубрик: хозяйство, устройство общества, государственный строй, внутренняя и внешняя политика, духовная культура, общественное движение. В отдельных частях, экскурсах и эпизодах у Рожкова не мало удачных наблюдений, оценок и формул. Он давно уже подготовлял свою книгу, и в нее вошли, в переработке, его статьи о декабристах («Русское Прошлое», 1, 1923), «о тридцатых годах» («Современный Мир» 1916, XII) и другие. Что касается декабристов, то попытку дифференцировать их состав, расчленить его на представителей аристократии, среднего дворянства, дворянства мелкопоместного — следует признать удачной и плодотворной. Меткие суждения встречаются и в эпизодах, далеких от специальности автора; такова, напр., его формула «героического царизма» в «Полтаве» Пушкина. Несомненно, что не только рядовые читатели, но и специалисты прочтут книгу с пользой для себя. В ней много интересного и для экономиста, и для государствоведа, и для историка литературы.

Но многое в работе Рожкова вызывает и возражения.

Книга производит впечатление лекций, еще сырых, не вполне обработанных к печати. Изложение — неровное: то излишне и мелочно подробное, напр., в биографических справках, то — чересчур лаконичное. Заметно, что различные части книги писались разновременно. На-ряду со ссылками на самые новейшие издания 1923 года, встречаются ссылки на издания устарелые, давно замененные новыми. Книгу Котляревского о Лермонтове Рожков знает по первому изданию 1891 г., а она вышла в пяти изданиях и в позднейших была переработана. Работы М. Н. Покровского Рожков цитирует по «Истории России в XIX в.» изд. Граната, но почему-то не пользуется его книгой: «Дипломатия и войны царской России в XIX столетии». Работу М. К. Лемке о Булгарине он знает по «Русскому Богатству» 1903 г., а не по книге «Николаевские жандармы и литература» 1908 г., где масса дополнений. Получается впечатление, что Рожков плохо следит за новейшей литературой, и поэтому невольно начинаешь опасаться за свежесть его фактических данных.

И эти данные он часто берет не из первоисточников, а из вторых, из третьих рук. Он любит ссылки под строкой, и они нескромно разоблачают эту тайну. Вмешиваясь в научный спор о Чаадаеве и собираясь разрешить его путем «ближайшего знакомства с его воззрениями», Рожков почерпает, однако, это знакомство не из сочинений самого Чаадаева, теперь отлично изданных, а «из книги Гершензона и очерков Лемке». Даже цитату из Пуш-

кина он берет не из собрания сочинений поэта, а... из Кояловича.

Нередко сообщаемые им факты мелочны, — вроде того, что Растопчин поместил бюст Наполеона в клозете и вбил в него гвоздь. В других очерках Рожков вдается в банальные, плоские, ничего не говорящие характеристики и оценки. Например о Фете: ««Как поэт, он был певцом чувственной любви и такой же чувственной природы». О Майкове: «В поэзии он классик, холодный эстет, совершенствовавший форму. Лучшими его произведениями были антологические стихотворения и поэма «Три смерти». Это мы знали и из учебника словесности, а что отсюда следует для «социальной динамики», Рожков оставляет в тайне.

Более существенным недостатком является у Рожкова неясность периодизации русского девятнадцатого века. Сам автор об этом говорит в начале книги: «Сорокалетие, протекшее между 1815 и 1855 годами, — ранний подготовительный период русской демократической революции, — для большего удобства и большей обстоятельности изучения необходимо разделить на три отдельных момента, которые условно обозначаются терминами «двадцатые», «тридцатые» и «сороковые годы», хотя в точном смысле они хронологически и не замыкаются в обозначаемые этими терминами десятилетия. Так, уже первый момент — «двадцатые годы» — охватывает время от 1815 по 1825 год, т.-е. заключает в себе предшествующее 20-м годам пятилетие и не включает второй половины 20-х годов». В другом месте «тридцатые годы» Рожков определяет так: «между 1826 и 1841 годами» (стр. 168). И потом: «под сороковыми годами мы условились понимать время от 1840 по 1855 год». Автор и сам видит, что его периоды «хронологически не замыкаются» в десятилетия, ломают их, становятся «пятнадцатилетиями». Сама терминология «двадцатых», «тридцатых», «сороковых» годов и соответствующая периодизация взята Рожковым готовыми из старой научной традиции. К такой терминологии особенно охотно прибегают историки литературы, идейных движений, и здесь, при текучести самих явлений духовной культуры, такая расплывчатая терминология не столь опасна. В политической историографии охотно прибегают к другим определениям: «александровская» эпоха, «николаевская» эпоха. И такая персонификация периодов имеет известные основания. Но, разумеется, и это очень условно, и, напр., «александровская» эпоха войной 1812 года сама переламывается на-двое. Для историка-марксиста, принципом деления избирающего приметы хозяйственной жизни, настоятельно необходима смена терминологии. Да и приметы эти намечаются Рожковым в начале обзора каждого периода как-то вяло, нечетко. Впрочем, задача новой периодизации XIX века и ее терминологии, по экономическому принципу, — есть очередная задача всей русской историографии и разрешить ее лучше в специальной работе, а не в таком сводном обзоре, как у Рожкова.

Не во всех вопросах и отделах автор одинаково осведомлен. Заметно его пристрастие «к крепостному вопросу». Здесь он точнее, определеннее, самостоятельнее. Гораздо бледнее изложен рост русской буржуазии. Во многом Рожков явно компилятивен. Так, история раскола и сектантства изложена по Н. М. Никольскому. Многое взято у М. Н. Покровского. В литературных определениях сильна зависимость от П. Н. Сакулина. С излишней доверчивостью Рожков цитирует мемуаристов, — и таких пристрастных, как Кс. Полевой, Вигель. Заимствуются не только факты, в чем нет беды, — но и формулы, и оценки, даже угол зрения, даже приемы анализа. Старые историки-либералы привыкли мыслить исторический процесс дуалистически; они делили исторические факты на «светлые» и «темные», считались с двумя силами: «правительством» и «обществом». «Темные» явления порицались, «светлые»—одобрялись. При этом историк постоянно впадал в психологизм, дидактизм, морализм. Этой дурной манерой старых либералов сильно заражен и Рожков. О петрашевце Спешневе он считает необходимым сообщить: «Высокого роста, красивый, с темнорусыми кудрями до плеч, с большими серыми грустными глазами, он производил большое впечатление на окружающих». В длинной тираде славянофилы характеризуются (по мемуарам С. М. Соловьева) так: К. С. Акса-

ков «был человек с львиной физиономией, силач, горлан, открытый, добродушный, не без дарований». «Юрий Самарин, человек замечательно умный, но холодный, несимпатичный господин, сделался сначала славянофилом по недостатку ученого образования, особенно в истории, потом укрепился в славянофильстве по самолюбию». Петр Киреевский — «доброе, простое, симпатичное существо». И так далее. А каково было хозяйственное положение славянофилов, сколько из них было аристократов, мелких дворян или разночинцев — об этом Рожков молчит. Когда он приступает к характеристике господствующей церкви, мы у него читаем об архиереях: «Смарагд отличался грубостью, резкостью и корыстолюбием. Аркадий, архиепископ пермский, был вкрадчив, приветлив, отличался благочестивой физиономией, постоянно воздыхал и вместе с тем был двоедушен, пристрастен, мстителен, жесток. Гедеон полтавский важничал с низшими, был завистлив к тем, кто пользовался успехом, и угодлив перед высшими». А вот хозяйственная жизнь церкви, ее земельные, городские угодия, капиталы, социальное происхождение и социальная политика ее главарей и низового состава, и т. д. — опять остаются в тени.

Обличительно-дидактические замашки проявляются у Рожкова всюду. Следуя М. К. Лемке, этому пиротехнику исторической публицистики, Рожков не находит слов, чтобы достаточно обличить Булгарина. «Пальма первенства по низости принадлежит, несомненно, Булгарину»... «Авантюрист с темным прошлым»... «Уличенный в краже пальто у одного офицера»... «Низкая зависть и грязное корыстолюбие»... Он «из зависти и корысти принял деятельное участие» — в «изящной литературе того времени» и т. д. Такими инвективами совершенно искажается исторический смысл Булгарина. Это был очень даровитый беллетрист, очень образованный человек, сумевший сказать много меткого против «Истории» Карамзина, в 30-х годах это был богатый издатель, крупный землевладелец лифляндской губернии. И суть дела не в низости и доносах, а в том, что этот энергичный журналист был поддержан в своей литературной деятельности не только Дуббельтом, но и большой социальной группой, разделявшей взгляды «Северной Пчелы», раскупавшей нарасхват его романы и т. д. Рожков это замалчивает, но — к доносам по начальству на собратьев-литераторов (на Полевого, напр.) были тогда прикосновенны и люди повыше Булгарина (см. об этом ценную книжку М. Ольминского: «Свобода печати»). В готовности подчинить свою журнальную деятельность «видам правительства» повинен и Пушкин. Булгарин и «Северная Пчела» — это Суворин и «Новое Время» тридцатых годов. И следовало осознать Булгарина не моралистически, а социологически. Здесь, как и во многих других случаях, Рожков оказался во власти архаической, либеральной традиции.

Рецензируемая книга является десятым томом огромной «Русской истории». Первые шесть томов уже выдержали два издания. Десятый том интересен не менее первых и наверное быстро разойдется. Во втором издании хотелось бы увидеть многие улучшения. Следует срезать многие припухлости, напр., ненужные элементарные биографические справки и психологические характеристики. Следует разработать подробнее историю промышленности и торговли. Надо более четко конструировать генезис, состав, идеологию русского разночинца. Необходимо освободиться от архаического морализма.

Книга, и теперь полезная, тогда много выиграет.

Н. Пиксанов.

Николай II и великие князья. Предисловие В. И. Невского. Вступительная статья В. П. Семенникова. Госиздат. 1925. Стр. 157.

Родственная переписка между Николаем II и великими князьями представляет буквально роковую книгу для царизма. Общеизвестно, что Россией правил не один Романов, а семья Романовых. Около полсотни великих князей с женами и детками, подобно полипам, присосались к русскому государственному кораблю и разъедали его, образуя плесень и гнилые грибки. Огромные удельные имения и дворцы, цивильный лист, доходы со всевозможных эффектных должностей вроде

ген.-инспекторов артиллерии, кавалерии, флота и т. п., наконец, громадные взятки, о которых дает такие пикантные сведения дневник Суворина — таковы были рессурсы романовской шайки. Достаточно указать, что у одного из великих князей — историка Николая Михайловича, по его же собственному признанию было в трех южных губерниях 75.000 десятин земли.

Какова же была внутренняя физиономия этих царственных помещиков, составлявших часто тот семейный ареопаг, где решались судьбы России? Переписка дает исключительную по яркости картину подхалимства, грубости, глупости и вырождения. Элементы психического вырождения так сильны, что некоторые письма буквально производят впечатление психиатрических документов. Вот, напр., пресловутый главнокомандующий, а позже наместник Кавказа Николай Николаевич (в интимной переписке Николаша), распинающийся в своей беззаветной преданности Ники и в то же время хлопочущий за своего друга и собутыльника Владю Орлова, в котором по собственному же признанию имеет свою «главу». Дело идет о совершенно противозаконной постройке железной дороги, которая прошла бы через имение «Влади», при чем Николай Николаевич подкрепляет свое ходатайство соображением, что «бывают особо исключительные обстоятельства, где одна монаршая воля может решить не по букве, а по духу».

Необычайно красочны письма другого кандидата на царский престол — Дмитрия Павловича. Это типичный гвардионец, саврас, пересыпающий свои письма непечатными выражениями, сальностями и армейскими остротами. «Дядя, дай мне черные штаны» или «с огромным нетерпением жду вашего приезда, чтобы сделать клопс-штос желтого в середину» — таковы пошлые каламбуры романовского выродка. Письма его наполнены мечтаниями о придворных балах, где он будет «сладострастно прижимать баронессу Фредерикс, забывая все кругом», сообщениями о погоде, что, как известно, составляло излюбленную тему самого Николая II, сведениями о курортных кокотках и т. п. и т. п. до бесконечности.

Более серьезное впечатление производят письма представителей другого клана великих князей, а именно Михайловичей. Исторический интерес представляют письма наиболее умного из них «августейшего историографа» — Николая Михайловича. Прекрасно сознавая умственное убожество Николая II, он старается подсказать ему ряд решений по важнейшим вопросам политики, напр., о подготовке к будущей мирной конференции, о программе аннексий по окончании мировой войны и т. п. Попутно великий князь не брезгает и родственными доносами против конкурирующих Николаевичей. Так он сообщает, что популярность Николая Николаевича «мастерски подготовлена в Киеве его женой Милицей, всеми способами — распространением в народе брошюры, лубков, портретов, календарей и т. п.; благодаря такой обдуманной политике, популярность не упала после потерь Галиции и Польши и снова возросла после кавказских побед». Письма Николая Михайловича и его брата Александра представляют особый интерес, так как, по признанию Витте, именно они являлись самыми «злополучными» великими князьями», подсказывавшими Николаю II ряд наиболее реакционных решений.

Крупное историческое значение имеет письмо Александра Михайловича (в начале 1917 г.), в котором он предупреждает о «верной гибели» династии, указывает, что само правительство подготовляет революцию, благодаря чему «мы присутствуем при небывалом зрелище революции сверху, а не снизу».

Остановить колесницу царизма, уже катящуюся в пропасть, однако, было уже не по силам даже родственникам Николая II, взывающим к нему не как к монарху, а как к главе семьи Романовых.

Переписка снабжена двумя дельными предисловиями (В. И. Невского и В. П. Семенникова), а также подробными примечаниями, комментирующими письма.

В. Гурко-Кряжин.

Падение царского режима по материалам Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного Правительства. Ред. П. Е. Щеголева. Т. II. Госиздат. 1925. Стр. 440.

Допросы и показания деятелей старого режима, данные в следственной комиссии временного правительства —представляют из себя исторические материалы, совершенно исключительного значения. Точно перед освещенной рампой проходят перед нами один за другим царские сановники: ген. Беляев, Добровольский, Щегловитов, всевозможные проходимцы и авантюристы вроде князя Андроникова или Манусевича-Мануйлова, одним словом вся та свора, которая была сброшена с бюрократических и придворных высот мощным дыханием революции. Благодаря стенографическим записям мы буквально слышим интонации их голоса, угадываем их жесты и физиономии, получаем до осязательности яркие автопортреты всех этих «павших» политических деятелей.

Вот перед нами проходит вылощенная и наглая фигура кн. Андроникова, доверенного человека Вырубовой, Сухомлинова и др., проходимца тершегося во всех салонах и министерствах, по служебному же своему положению — чиновника особых поручений... при святейшем синоде. Как восхитительно звучит его автохарактеристика: «Я — человек, гражданин, желающий как можно больше приносить пользы»... Польза, приносимая им, заключалась в пристраивании всевозможных бюрократов на тепленькие местечки, конечно, за изрядные куши; недаром этот «синодальный чиновник» проживал в год до 20.000 рублей. Великолепен метод, которым действовал кн. Андроников: всем назначенным министрам, имевшим с ним «личные отношения», он подносит иконы по установленной цене в 50 рублей. Государственные люди не забывали, впрочем, услужливого князя. Так, по его признанию, он много заработал на одном «оросительном предприятии», которое, правда, не было организовано, но давало лицам, участвовавшим в нем, «банковские кредиты».

А вот еще более яркая, зловонная фигура — знаменитый Манасевич-Мануйлов: журналист-нововременец, неофициальный сыщик и агент для особо-секретных поручений различных министров. По своему из ряду вон выходящему цинизму и своеобразной «криминальной талантливости» производит особенно живописное впечатление. Будучи доверенным человеком Распутина, Манасевич участвовал во всех министерских комбинациях последних предреволюционных лет. Рисуясь своей исключительной осведомленностью желая сыграть крупную роль даже в чрезвычайной комиссии, Манасевич набрасывает жуткую и отвратительную картину Петрограда 1915—1916 г.г. Известный распутинец—митрополит Питирим, знаменитый Илья Гурлянд — соперник Манасевича на арене сыска и «литературы», жена его, «с которой находился в интимных отношениях Штюрмер», директор департамента полиции Климович, следящий за «амурными похождениями Распутина», различные хозяева салонов, где бывали Распутин и верхушка бюрократии, вроде «темного человека и чуть ли не шпиона Миклоса или альфонса-Книрша» и т. д. — такова галлерея деятелей старого режима, обрисовывающаяся в показаниях Манасевича-Мануйлова. Что же его влекло в этот мир? Как оказывается, лишь желание «ознакомиться с ним и со временем написать воспоминание», о чем Манасевич «говорил своему приятелю... Бурцеву».

Чрезвычайно любопытны показания последнего председателя государственного совета И. Г. Щегловитова, метко охарактеризованного Распутиным: «мне сказали, что его называют Ванька Каин, у него и морда такая». Как опытный юрист, он и на допросах не теряется, больше отмалчивается и лишь когда его прижимают к стене, то глухо бормочет, что он сожалеет о допущенной им «незакономерности» и «правонарушении».

Достойным учеником Щегловитова является последний царский министр юстиции Н. А. Добровольский. Как известно, он был буквально назначен Распутиным, по рекомендации секретаря его Симановича и известного афериста «Митьки» Рубинштейна. Характерно, что даже Распутин заявлял, что у Добровольского «глаза мошеннические, он не может смотреть прямо и вообще это человек неважный». Но Рубинштейн настаивал, и тут шел вопрос о большом «материальном

вознаграждении». Дело в том, что Рубинштейн, сидящий тогда в тюрьме, дал 100.000 рублей за свое освобождение, которое и было устроено Добровольским.

Рецензируемая книга необычайно насыщена первоклассными историческими материалами: характеризовать их — это значит выписывать целые страницы. Несомненно, что когда выйдут все 7 томов Следственных материалов — они станут настольной книгой для всех изучающих гибель царизма и вчерашний день революции.

В. Гурко-Кряжин.

Ем. Ярославский. Как родятся, живут и умирают боги и богини. Третье издание (41—60 тысяча). Госиздат. М.—Л. 1925. 287 стр.

Эта книга, выросшая из небольшой, в 50 страниц, брошюры, представлявшей собой первое ее издание, носит на себе яркую и характерную печать созидания в огне анти-религиозной борьбы. Автор стремится ответить на многочисленные вопросы, возбуждаемые живой мыслью, освободить совесть и сознание от векового плена религиозных догматов и предрассудков.

Написанная остро, часто очень остроумно, работа тов. Ярославского стоит на уровне современной науки о религии и ее методов. Давая по содержанию много нового читателю, уже знакомому с рассматриваемыми здесь вопросами, она по изложению вполне доступна самым широким кругам читающей публики. Глубокое впечатление должна эта книга произвести и на самого предубежденного читателя, пробив неизгладимую брешь в его застывшем миросозерцании и заставив от многого отречься. Агитационное значение книги Ем. Ярославского — несомненно.

В первой части своей книги автор останавливается на общем изложении вопросов о происхождении религии и сущности первобытных элементарных форм выражения религиозной мысли; таковы главы: «Всегда ли люди веровали в бога», «Как возникают религиозные верования», «Боги-животные, боги-растения, боги-горы и реки и т. п. (тотемы)», «Культ природы». Эта общая часть заключается главой «Классовый характер религиозных верований».

Автор переходит затем к историко-сравнительному раскрытию и критическому разоблачению основных евангельских догматов. Дав очерк происхождения евангелий как историко-церковных памятников и выявив длинный ряд обнаруживаемых в них противоречий и несуразиц, тов. Ярославский разбирает по очереди историческое и бытовое значение важнейших составных частей евангельского легендарного цикла: легенду о непорочном зачатии и персонаже «матери божьей», мифы о звезде, голубе-духе святом, сыне божьем, агнце, избиении младенцев и бегстве в Египет, о рождении бога, далее, догматы св. троицы, причащения и крещения, верование в загробную жизнь и т. д.

Следующие главы посвящены краткому изложению религиозных систем Греции и Рима, еврейской религии и магометанства. В заключение автор дает яркую характеристику современного кризиса религиозной мысли.

В книге имеется ряд приложений. Здесь прежде всего содержательная полемическая статья Ем. Ярославского «Антирелигиозно ли коммунистическое движение?», представляющая собой ответ на перепечатанную здесь же заметку шведского коммуниста Хэглунда о позиции коммунистической партии в религиозном вопросе, отстаивающего принцип невмешательства по известной формуле — «религия — частное дело».

Очень назидательна составленная Ем. Ярославским и Ф. Путинцевым таблица, дающая сравнительное сопоставление жизнеописаний Христа и ряда других героев религиозных легенд разных стран и народов древности. Также в качестве приложений помещены самостоятельная статья Д. Ардина о шаманизме у бурят, отрывок о пасхальных приметах и поверьях, две руны Калевалы и проч. материал.

Наконец, весьма полезное приложение составляет довольно подробный библиографический указатель имеющейся на русском языке литературы о религии с краткими отзывами о каждой книге.

Таково разнообразное и богатое, несмотря на общий небольшой объем, содержание книги Ем. Ярославского.

Можно сказать, что автор вполне успешно выполнил поставленную им задачу — «показать человеческий характер всех религиозных понятий и представлений, путем сравнения показать, как при одинаковых условиях существования возникают у разных народов одинаковые верования и религиозные культы, как соприкасающиеся друг с другом народы перенимают эти религиозные верования один у другого, как одна религия очень часто является лишь видоизменением существовавшей до нее, как христианство является не чем иным, как приспособлением к новым условиям существования так называемых языческих древних народов». (Предисловие к первому изданию.)

Действительно, приводя массу фактов и сопоставлений, используя громадный материал, автор камень за камнем разрушает как всю постройку религиозной догмы, так и мнимую самобытность евангельской легенды.

Применяемый автором метод историко-сравнительного исследования дает самые показательные результаты. Параллели к евангельским догматам и мифам, заимствованные из различных религиозных систем древности, убедительно и наглядно обосновывают выводы автора. В некоторых вопросах желательно было бы привлечение к сравнению также материала из области примитивного мышления современных диких и так называемых полукультурных народов, что имело бы громадное научное значение.

Очень эффектным приемом автора и отличным анти-религиозным аргументом «от противного» являются метко выбранные отрывки подлинных богословских писаний.

В книге тов. Ярославского имеется, конечно, не мало спорных пунктов, правда, спорных вообще в еще весьма несовершенной науке о религии. В частности, не вполне удовлетворяет глава о возникновении религиозных верований. Но это именно наиболее трудный, сложный и спорный вопрос, по которому, впрочем, много интересного дает ряд новейших работ о примитивном мышлении, принадлежащих перу иностранных психологов и этнологов. Кстати сказать, знакомство с этими работами наших читателей, как и вообще постановку серьезной разра ботки у нас науки о религии надо считат назревшей потребностью. Ибо тот недс статок, который приписывает своей работ сам автор, считая, что в ней «недостаточн уделено внимания более полному мате риалистическому объяснению различног рода религиозных верований и религиоз ных систем» — есть общий и серьезны недостаток современной науки о религии находящейся на западе почти всецел в руках противоположных научных напра влений.

Именно у нас, в благоприятной атмо сфере смелости научной мысли, материа листическое исследование в области рели гии должно быть надлежащим образом поставлено.

Еще одно замечание. Большое значени в рецензируемой книге должны имет рисунки в качестве очень убедительной иллюстрации к тексту. Рисунков здес много, однако ряд их не увязан с текстом не объяснен и неудовлетворительно описан имеющимися под рисунками надписями К тому же ряд рисунков, выбранных удачно, воспроизведен скверно: некоторые, например, на стр. 17, представляют собой просто черное пятно. Подбор рисунков к этой книге стоит подработать, а Госиздату следует не поскупиться дать лучшее их воспроизведение (без повышения цены книги!).

Этот недочет должен быть устранен в следующих изданиях книги тов. Ярославского, которые она, несомненно, потребует. Тем более, что, помимо ее указанных уже достоинств, книга «Как родятся, живут и умирают боги» представляет собой незаменимый и богатый арсенал для анти-религиозной пропаганды.

М. Косвен.

Гуго Эферот. Библия безбожника. Перевод с немецкого. Второе дополненное издание. Госиздат. М. 1925. 367 стр.

«Эта новая «Библия», которая должна послужить противовесом поповской библии, с целью разоблачения поповских сказок, рождена великой мировой революцией против основ капиталистического мира, против его экономических фундаментов и против идеологических над-

строек, где, по темным углам буржуазных чердаков, ютятся ночные дряхлые, полуслепые, но все еще кровожадные и сильные упыри христианства».

В таких выражениях рекомендует и определяет цель выпуска книги Г. Эферота не подписанное предисловие Госиздата (стр. 3). К сожалению, и эта бурная рекомендация, и заглавие книги, — очень удачное само по себе, — обещают гораздо больше, чем в действительности дает ее содержание.

Работа немецкого автора распадается на четыре части. Первые две, озаглавленные «Книга о мире» и «Книга о человеке», содержат изложение очень широкого круга вопросов из области истории, астрономических представлений, современных научных взглядов на образование и судьбу вселенной, вопросов о месте земли в планетной системе, о единстве или двойственности мира, о происхождении жизни и сущности жизненных процессов, происхождении человека и эволюции человеческой культуры и т. д. и т. д.

Автор стремится взамен религиозных измышлений и мифов, по тем вопросам мироздания, разрешение или объяснение которых дает обычно религиозная догма, сообщить своему читателю положительное знание, изобразив одновременно историю борьбы науки с религиозными предрассудками. Работа Эферота не столько критикует, сколько излагает, как постепенно наука разрешает догму как религии, так и всякой метафизики.

Эта очень интересно поставленная цель, однако, не вполне разрешается главным образом вследствие чересчур суммарного и недостаточно отчетливого изложения слишком широких тем, которые затрагиваются автором. Для ознакомления с некоторыми вопросами читателю лучше бы рекомендовать существующую научно-популярную литературу. В частности, со взглядами Сванте Аррениуса и Геккеля, которые преимущественно пересказываются Эферотом, конечно, следует предпочесть ознакомиться в вполне доступном увлекательном изложении подлинников в существующих русских переводах.

Пожалуй, не достаточно и не необходимо связаны по содержанию с помянутыми двумя первыми частями книги две другие, озаглавленные «Книга о попах» и «Книга о сектантах».

Здесь мы находим очень сбивчивое изложение вопросов о происхождении религии, ее первобытных формах, происхождении христианства и характере примитивных христианских общин, и далее, главным образом, громадное количество фактов и справок из истории западной католической и лютеранской церквей, и, наконец, очерк различных религиозных сект. И эта часть работы Г. Эферота отягощена чрезвычайной пестротой фактов, цитат и ссылок.

Надо заметить, что изложение рецензируемой книги рассчитано на читателя уже подготовленного по части не только научной, но и по церковной истории, однако такому подготовленному читателю содержание дает не много нового.

Мы боимся поэтому, что эта сама по себе неплохая книга, рассчитанная на немецкого читателя и, должно быть, вполне доступная ему, в особенности в части, затрагивающей историю церкви, окажется трудной и неподходящей для нашего читателя. Надо считать, что в силу условий нашего религиозного быта и особенностей восточной церкви следует при издании анти-религиозной литературы избирать самостоятельные работы наших авторов.

Перевод книги Г. Эферота сделан превосходно, но вряд ли стоило ее переводить и издавать.

М. Косвен.

Редакционная коллегия: А. Воронский. В. Сорин. Ем. Ярославский.
Издатель: Государственное Издательство.

Адрес редакции: Москва, Мясницкая, Кривоколенный пер., д. № 14. Тел. 5-63-12.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР
ТОРГОВЫЙ СЕКТОР

МОСКВА, Ильинка, Богоявленский пер., 4. Тел. 2-22-24 и 2-65-31.
Телеграфный адрес: *Москва Торгсектор.*
ЛЕНИНГРАД, Ленинградское Представительство, Моховая, 36.
Телеграфный адрес: *Ленинград Ленпредгиз.*

П. МУРАТОВ и Б. ГРИФЦОВ

НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
УЛЬЯНОВ

★ ★ ★

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МОНОГРАФИЯ
БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ
с 18 репрод. на отд. листах
★ Ц. 10 р. ★
★

В. Д. ФАЛИЛЕЕВ

ОФОРТ и ГРАВЮРА РЕЗЦОМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА 1925 * * * Стр. 120. Ц. 1 р. 50 к.

ПРОДАЖА ПРОИЗВОДИТСЯ: в Торговом Секторе — Москва и Ленинград, в московских и ленинградских магазинах и в провинциальных отделениях.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР

МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Сергей ЕСЕНИН

СТИХИ

БЕРЕЗОВЫЙ СИТЕЦ

Стр. 104. Ц. 2 р.

ПЕТЕФИ, А.

ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Перев. и вступ. статья А. В. Луначарского („Революционн. поэзия Запада").

Стр. 96. Ц. 70 к.

НА-ДНЯХ ВЫХОДЯТ ИЗ ПЕЧАТИ:

А. СЕРАФИМОВИЧ

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК

НОВОЕ УДЕШЕВЛЕННО[illegible] [illegible]ОСТУПНОЕ ИЗДАНИЕ.

...„Когда попадает в руки „Железн[illegible] [illegible]оток" Серафимовича, прежде всего из груди вырывается невольный вздох [illegible]... Вот первый [illegible]начительный успех пролетарской литературы, и обусло[illegible] [illegible] он строго выдержанной классовой идеей пролетариата. В „Железном Потоке", в дикошумящем поток[illegible] идут и идут демобилизованные из царской ар[illegible]ии .. мобилизованные Советской властью, идут добровольно вступившие в крас[illegible]е войска в большинстве мелкие ремесленники, бондари, слесаря, лудильщики, столяры, сапожники, парикмахер[illegible], особенно много рыбаков. Все это перебившиеся с хлеба на квас... все это труд[illegible]вой люд, для которого приход Советск[illegible]й власти внезапно приоткрыл краешек над жизнью,—вдруг почувствовалось, что она мож[illegible]т быть и не такой собачьей, как была... Худ[illegible]жник ничего не скрыл, все показал без прикрас. Г[illegible]лые, рваные, с блохами, вшами, матерщиной идут с криками: „смерть" и крошат, направо и [illegible]алево, черепа противников... Повесть Серафимовича—яркий сгусток жизни, победившей и развертывающейся в новых условиях... Написана повесть в прекрасных реалистических тонах, хорошим языком, [illegible]ез всяких вычуров"...

(„Красная Новь". Кн. III. 1925). *В. Полянский.*

Вс. ИВАНОВ и В. ШКЛОВСКИЙ

„ИПРИТ"

Роман в 9-ти выпусках. Приключения братишки-матроса Пашки Сл[illegible]воохотова в разных с[illegible]ранах на суше, на море и в воздухе.

1. Негр, который не спит.
2. Траурный остров.
3. Пашка-Тарзан.
4. Три креста. [illegible]
5. Танна [illegible].
6. Гребенки в опасности.
7. Битвы над землей.
8. Золотой фонтан.
9. Конец в Геликонтере.

Продажа будет производиться во всех магазинах Госиздата, во всех газетных и книжных киосках. Ц. вып. 15 к. Оптовая запродажа в Торгсек. [illegible]осиздата.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ: В Торгсектор Госиздата,—Москва, Ильинка, Богоявленский пер., 4. ЛЕНИНГРАД, Моховая, 36 и во все отделения и магазины ГОСИЗДАТА.

Отдел Почтовых Отправлений Госиздата (Москва, Ильинка, Богоявленский пер., 4) высылает немедленно по получении заказа любую книгу наложенным платежом, почтовыми посылками или бандеролью.

КАТАЛОГИ и БЮЛЛЕТЕНИ высылаются по первому требованию БЕСПЛАТНО.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР
ПЕРИОДСЕКТОР

Москва, Воздвиженка, 10/2. Адрес для телеграмм: Москва—Периодсектор.

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ДВУХМЕСЯЧНИК
„КУЗНИЦЫ“

РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ

Ответств. ред.: В. БАХМЕТЬЕВ, Ф. ГЛАДКОВ, Н. ЛЯШКО, С. ОБРАДОВИЧ, Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Выходит 1 раз в 2 месяца.

НА-ДНЯХ ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Содержание:

Художественный отдел. Бибик, А. День причастия—рассказ. Обрадович, С. Явь. 2-я часть поэмы. Афромеев, Н. Слободка — повесть. Праскунин, М. Стихотворение. Крутиков, Д. Бабы — рассказ. Заходяченко, А. Эшелон. Крайский, А., Бердников, Л. Стихи. **Статьи.** Муралевич, В. Дополнительные факторы питания. Милонов, Б. Промышленная революция в Англии. Ревзина, В. Рабочий клуб. Гегечкори, М. Профработа на предприятиях. **Рабочий быт и производство.** Погодин, Н., Нечаев, Е., Устинов, И. 3 стихотворения. Жига, И. На фабрике. **Бытовые очерки.** Кожевников, А. На платине. Ратнер, А. Не по пути. Фомин, С. По стеклянным заводам. **Критика и библиография.**

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

на год — **6** руб., на 6 мес. — **3** руб.

Цена отдельного номера—**1** р. **20** к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Отделом Подписки Периодсектора, Москва, Воздвиженка, 10/2, в московских магазинах, в провинциальных отделен., в конторах и у уполномоченных Госиздата.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Василий Казин. Лисья шуба и любовь 3

СТИХИ: *Вл. Маяковского, Сергея Есенина, В. Наседкина, Мих. Голодного* . 19

Пантелеймон Романов. Видение. Рассказ . . 30
Август Явич. Григорий Пугачев. Рассказ . 50
Федор Гладков. Цемент. Роман (продолжение) 75
С. Орлов. История одного уклона. Рассказ 112

Я. А. Яковлев. Советы как органы пролетарской демократии 121
В. Сарабьянов. Промышленность к концу восстановительного процесса 132
Д. Ф. Сверчков. Георгий Гапон (продолжение) 144
И. Ильинский. Истоки правового индивидуализма 164
В. Гурко-Кряжин. Автопортреты героев юнкерской Германии 182

Г. Д. Красинский. Транс-арктические воздушные пути . 193
Проф. О. И. Бронштейн. Переоценка ценностей в современной патологии. 212

За рубежом

Г. Дмитров. История кровавого террора в Болгарии 225

От земли и городов

Родион Акульшин. Былое и думы 233

Литературные края

Г. Поспелов. К проблеме формы и содержания 245
А. Лежнев. Плеханов и современная критика 263

Критика и библиография

Рецензии: *Беленького, А. Лежнева, Ф. Жица, И. Сергиевского, Г. Поспелова, Н. Пиксанова, В. Гурко-Кряжина, М. Косвена.*

Объявления